

МАРК ХАРИТОНОВ

СПОСОБ СУЩЕСТВОВАНИЯ



**СПОСОБ
СУЩЕСТВОВАНИЯ**



Марк Харитонов. Портрет работы Г. Эдельман. 1996

МАРК ХАРИТОНОВ

**СПОСОБ
СУЩЕСТВОВАНИЯ**

НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Художник *Е. Поликашин*

В оформлении книги использованы работы художницы
Г. Эдельман

Харитонов М.

СПОСОБ СУЩЕСТВОВАНИЯ. Эссе. – М.: Новое литературное обозрение, 1998. – 416 с.

«Эта книга в основном... родилась из заметок, которые я веду много лет, чаще всего на мелких листках, напоминающих фантики, конфетные обертки, на чистой стороне которых любил записывать мелькнущую мысль или впечатление герой моего романа «Линии судьбы, или Сундучок Милашевича» – так пишет об этой книге лауреат Букеровской премии (1991) Марк Харитонов. На ее страницах он размышляет о своем времени и о человеческой жизни, об искусстве и литературе, вспоминает об ушедших друзьях – поэте и правозащитнике Илье Габбае, скульпторе Вадиме Сидуре, поэте Давиде Самойлове и других. Изданная в переводе на французский язык книга удостоена во Франции премии за лучшую иностранную эссеистическую книгу 1997 года.

© М. Харитонов, 1998

ISBN 5-86793-038-6

© Новое литературное обозрение, 1998

МУЗЫКА НАД НАМИ

(Речь при получении Букеровской премии 8 декабря 1992 года)

Последнее время часто вспоминаются стихи:

Нельзя дышать, и твердь кишит червями,
И ни одна звезда не говорит,
Но, видит Бог, есть музыка над нами...

Это написано О.Мандельштамом в 1921 году – времена посуровой нынешних. И относительно будущего поэт не обольщался. А главное, нечем дышать, и в небесах вместо звезд – черви.

Но видит Бог, есть музыка над нами,
Дрожит вокзал от пенья аонид,
И снова, паровозными свистками
Разорванный, скрипичный воздух слит.

Речь идет о знаменитом вокзале в Павловске под Петербургом, сооружении из стекла и металла, где в начале века устраивались музыкальные концерты. И, как можно понять, после революции тоже. Для меня только недавно сопоставилось: это тот же самый вокзал, что «загадкою сверкал» в поэме Б.Пастернака «Высокая болезнь» («Там, как орган, во льдах зеркал вокзал загадкою сверкал...»). И год, судя по некоторым приметам (упоминается Девятый съезд Советов), имеется в виду тот же: 1921.

Зима, разруха, стужа, метель – а где-то, среди снегов и льдов, сияет светом и музыкой стеклянный купол. Эта музыка отзывается в поэте, возникает знаменитый образ:

Мы были музыкой во льду.
Я говорю про всю среду,
С которой я имел в виду
Сойти со сцены, и сойду,
Здесь места нет стыду.

Сегодня меня вдруг задело это «мы»: живое, насущное ощущение среды, потрясенной, может быть, обреченной – но здесь, как в водолазном колоколе, еще держится воздух, которым можно дышать, здесь, вопреки всему, еще звучит музыка. Это особенно важно во времена, когда возникает чувство глухоты. «И ни одна звезда не говорит».

Литературная премия не просто поощряет чье-то личное достижение. Собрав здесь многих людей, она напоминает нам о понятии среды, о чувстве общей духовной задачи и, может быть, косвенным образом как-то скажется на состоянии нашей культурной атмосферы.

Писать же нам не поможет никто. В минуту слабости, усталости, растерянности возвращаешься мыслью все к тем же стихам. Чему бы нам поучиться у наших великих предшественников, так это способности слышать музыку сквозь все шумы и скрежет трудных времен, способности работать, не ссылаясь на обстоятельства, способности противопоставлять хаосу и распаду личное творческое усилие, каким бы оно ни казалось безнадежным.

Но, видит Бог, есть музыка над нами.





СПОСОБ
СУЩЕСТВОВАНИЯ

Эта книга в основном родилась – и продолжает рождаться до сих пор – из заметок, которые я веду много лет, чаще всего на мелких листках, напоминающих фантики, конфетные обертки, на чистой стороне которых любил записывать мелькнувшую мысль или впечатление герой моего романа «Линии судьбы, или Сундучок Милашевича».

А может быть, фантики Милашевича напоминают мои листки.

В романе я немало философствую над феноменом таких заметок. Сведенные воедино, они демонстрируют неожиданное для самого пишущего единство жизни и единство мысли. Заметки, разделенные годами и месяцами, как будто продолжают друг друга: ты думаешь над близким кругом тем и проблем, обнаруживаешь все те же пристрастия – в совокупности все это, помимо намерений, обрисовывает твою личность.

Вдруг обнаруживаешь, что близкие по теме записи можно сгруппировать вокруг заголовка. Так вокруг ниточки, опущенной в насыщенный раствор, вырастает оформленный узор кристаллов. Фрагменты начинают жить, если целое оказывается единым организмом.

КОЛЛЕКЦИЯ

Самая доступная коллекция: собрать хотя бы по календарю за каждый год жизни. Пусть это будут маленькие глянцевые карточки с рекламой страхования имущества на обороте, или рисунками из мультфильма, или курортным видом. Или крупные, в полстены, с заграничными названиями дней недели, японскими красавицами, репродукциями Боттичелли. Главная их ценность – цифирки, черные цифирки будней, красные цифирки выходных и праздников, постоянных, как Новый год, или переменных, как День Конституции. Триста шестьдесят пять сочетаний в обычных годах, триста шестьдесят шесть в високосных, соединяясь с цифрами очередного года, составят шифр ушедшей жизни. Можно вглядываться в каждую цифирку, пытаться оживить ее в памяти.

Отрывные календари, символ жизни, тающей с каждым листком, где на обороте идиотская басня Демьяна Бедного, народный юмор из журнала «Крокодил», цифры пятилетнего плана по химии, кулинарные рецепты или биография ученого Попова, который почти что изобрел радио.

Календари-ежедневники, расчерченные по часам, с пометками текущих дел. Среда 18 августа. Сходить к зубному врачу. Купить лампочки. 20.30 – свидание у кинотеатра. Наконец-то поцеловать ее. Пригласить к себе. Жениться. Родить детей.

Сделанное вычеркнуто.

Самый чудовищный ритуал – зачеркивать в календаре очередной прожитый день.

Затверделое, превращенное в бумагу, испещренное значками

и пометами вещество вычеркнутого времени – можно пощупать. Материальная и, если угодно, культурная ценность, полученная в обмен на годы.

Всякая коллекция – способ переработать время в вещество.

ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ

У Набокова кто-то ест, обжигаясь, поджаренные хухрики. Пахнет липой и карбурином. Что такое хухрики, что такое карбурин? Можем ли мы это почувствовать?

Описания фантастических, придуманных, инопланетных пейзажей, животных, запахов могут затронуть нас, лишь если ассоциируются с чем-то знакомым.

Запах сарсапарилы и гуайав (у Томаса Вулфа). Растения реальные, но слова ничего не говорят мне, человеку северному, – я запаха не ощущаю.

«Баннный шум в ушах». Поймет ли этот образ человек, никогда не бывавший в нашей бане, с цинковыми шайками, с гулками отзвуками?

У Вознесенского под крылом самолета «электроплиткой пляшут города». Но уже целое поколение не видело этих плиток с открытой раскаленной спиралью.

Московский немец возмущался лермонтовским переводом Гете. «Что это такое: *Горные вершины спят во тьме ночной?* Надо не так». – «А как?» – «Надо: *Auf allen Gipfeln weht Ruh* – вот как правильно».

Разные народы, разные культуры, разные поколения, разные слои общества, разные профессии. Женщины и мужчины порой

готовы казаться друг другу существами разной породы – до отчуждения, до гадливости.

...люди настолько разные, что, казалось, происходили не просто от разных предков, от разных пород обезьян, но от разных по составу порций первичного вещества, из которого зарождалась жизнь.

УЗНАВАНИЕ

Вы достаете из черного пакета очередную порцию фотографий и начинаете демонстрировать гостям: фрагменты летних впечатлений, отпечатки приключений, тени воспоминаний. Вот это я в трусах и с удочкой... видите, какая рыбища... как она чуть не сорвалась... Вот это мы вытаскиваем машину из грязи, заляпанные до ушей... помнишь, Маня?.. такая была потеха... А вот какой пейзаж удивительный, и тишина, тишина... а пахнет – не могу передать как. А это мы на водных лыжах целуемся...

Нет, это не вы – у вас, конечно, другие рассказы. Это кто-то другой показывает, а мы с вами вежливо слушаем, качаем головами, передаем фотографии из рук в руки. Любопытно ли нам? Пожалуй, хотя и в меру. Мы не слышали этой тишины, не вдыхали этого запаха; события, для кого-то влажно сверкающие, праздничные, для нас блекнут; намеки, так много говорящие участникам, заставляющие их улыбаться (как же, как же!), для нас ничего не значат. Нет, интересно, конечно: этих мест мы никогда не видели, посмотрим хоть на фотокарточки... Тем более, вот, заграничные виды... памятник... подножье замка...

Задевает нас, лишь когда мы узнаем свое: рыбацкую досаду, удовольствие путника, отогревающегося у костра, – когда мы подтверждаем, обогащая, собственное ощущение жизни.

Что могут сказать нам чужие сны? – ведь они так блекнут в рассказах. Чем нам интересны писанные истории из чужой жизни? А ведь интересны же: вся литература, включая мемуарную, исто-

рическую, детективную, есть такой рассказ. Нас интересуют приключения моряков и давно истлевших пиратов, жизнеописания воинов, наблюдения путешественников, биографии знаменитостей. Надо же, чего только не бывает на свете! У нас не случилось ничего подобного, да и случиться не может в нашем занюханном городишке. Мы с девяти до восемнадцати уходим на службу, а потом возимся по хозяйству – но, читая, переносимся в другой мир, другую жизнь, мы отождествляем себя с людьми другого опыта, другой судьбы, других эпох и других культур, мы переживаем их приключения, их глазами смотрим на диковины и чудеса, на неведомые пейзажи и строения, вместе с ними примериваем решения и мысли, переживая множество жизней, кроме своей.

Мы понимаем себя благодаря другим, сравниваем, находим черты сходства и различия, ощущаем свою принадлежность к роду человеческому и свое место в нем. Какая-то общая суть человеческой природы рождает отклик на чужую боль и чужие слезы, на взгляд и улыбку, на чужую жизнь и чужую смерть.

ОБ ИСПОВЕДИ

А зачем человек тянется рассказывать о себе? Ладно еще устно, обращаясь к определенному собеседнику (который заранее согласен слушать тебя и, может быть, откликнется, поможет); нам для практической жизни надо знать друг друга. Или в письме к известному адресату. Или членам семьи – оставляя жизнеописание в поучение детям и внукам. Нет, рассказывает, обращаясь куда-то в пространство, к собеседнику, как выразился Мандельштам, провиденциальному:

...я живу – и на земле мое
Кому-нибудь любезно бытие.
(*Е. Баратынский*)

Что значит эта потребность связи с другими, «сношения» с чужой душой – пусть и без отклика при жизни? Способ избавиться

от одиночества, самоутвердиться? Попытка противостоять исчезновению, оставляя память о себе, о своем имени – хотя бы в виде надписи на крымской скале: здесь был я? Желание лучше разобраться в себе, в своей жизни (на бумаге выходит четче)? Но для этого удобней дневник.

Есть еще исповедь – в идеале своем документ самопреодоления, преображения (Августин), по крайней мере – инструмент и попытка самосовершенствования. Но истинно религиозная исповедь – частное дело верующего перед Богом. Обнародование ее ради поучения, проповеди – акт уже в некотором смысле суетный. И при всем желании быть предельно правдивым, при всем даже самобичевании (а может, именно из-за него) здесь почти неизбежна – выразимся так: стилизация.

И дело не просто в сомнительности, даже какой-то противоестественности принародного саморазведения: сказать о себе напрямую предельную правду не просто трудно, а, пожалуй, в принципе невозможно: в момент обнародования она перестает быть истинной правдой. Достоевский глубоко это почувствовал на примере Ставрогина. Истинная правда целостна; всякая исповедь выхватывает, высвечивает лишь малую частность ее; всякий наш поступок, не говоря уже о помыслах, может быть понят лишь в совокупности со множеством других. Сам Достоевский о себе не пробовал так рассказывать – и потому мы знаем о нем куда больше. Мы глубже и полноценней узнаем Толстого по его романам, чем по его «Исповеди». Жизненной цельности не охватишь анализом, тут возможен лишь образ, который бывает неисчерпаем.

Перед судом искусства каждый заранее оправдан, не в юридическом – в высшем смысле: уже тем, что он здесь принят, понят, помещен на свое место в вечности.

Конечно, пишущий выдает себя сплошь и рядом, даже когда говорит вовсе не о себе, даже если пытается замести следы, оправдаться, сбить с толку, напустить тумана. Дошлый аналитик в

конец концов поймает его на оговорках, словечках, пристрастиях. И даже иногда, глядишь, угадает – попадет в точку. Хотя чаще наговорит такой чепухи, что уши вянут.

Вот ведь как: пока не начал разбираться в причинах, вызывающих к жизни рассказы о себе, все представлялось проще. Один рассказывает, другой слушает. Люди всегда этим занимались, и очень охотно. Возможно, каждому следовало бы написать историю своей жизни.

Хотя, если представить, что каждый действительно начнет рассказывать о себе, – что делать с этим потоком? Кто будет читать? Когда все говорят – найдутся ли слушающие?

Что может сделать наши воспоминания интересными для других? Подробности ушедшей жизни, истории, живой воздух времени. Каждая жизнь – модель жизни общей; описывая себя, мы описываем эпоху. Самые простые житейские свидетельства бывают в истории самыми драгоценными.

А что делает некоторые из них значительными? Значительность личности, судьбы, глубина взгляда на мир, сила мысли. Ведь и в писателе главное – его человеческая сущность.

Особ статья – воспоминания о знаменитостях. О них и сплетня заманчива. Как заметил наш гений, великого человека особенно соблазнительно увидеть «на судне». Но кроме того, о знаменитом человеке мы знаем что-то и помимо воспоминаний: его произведения, например. У нас уже есть какой-то цельный образ, подобный художественному, и частности вписываются в него, как художественные подробности.

Личность писателя нам интересна еще и как инструмент, преобразующий мир в строки, творящий для нас свой, небывалый мир. Здесь особенно наглядно таинство взаимопроникновения жизни и духа.

Как эти люди представляют от имени жизни, если даже их житейские перипетии и любовные истории кажутся нам близкими!

Я – голос ваш, жар вашего дыханья,
Я – отраженьё вашего лица...
Вот отчего вы-любите так жадно
Меня в грехе и в немощи моей.

А. Ахматова

К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ИНСТРУМЕНТА

Положа руку на сердце: меня никогда не тянуло рассказывать именно свою историю – череду событий, житейских сюжетов. Я пытаюсь через свою жизнь понять, уловить, почувствовать что-то более общезначимое. Только до сих пор делал это другими, непрямыми способами.

«Какое наслаждение для повествователя от третьего лица перейти к первому!» (О. Мандельштам).

Скажем так: «Я родился в семье персонального пенсионера». Чем не начало для автобиографии? Еще немного – и выстроится вокруг чья-то история, личность, судьба. Не моя, правда, – но и свое туда можно вместиť. «Свое» даст себя знать в подходе к теме, в стиле, в характере юмора. О чем бы я ни писал: о природе, о религии или об искусстве – я присутствую на этих страницах. Отбор тем, поворот взгляда, особенность ума – все говорит обо мне даже тогда, когда я сам этого не желаю.

В сущности, я давно уже рассказываю о себе.

Во всяком случае: к характеристике инструмента.

РОДСТВО

О РОДСТВЕ

Я не знаю у себя никого дальше деда, Иосифа Абрамовича. Отец же мой о своем деде ничего толком сообщить не мог.

С некоторых пор стало модно восстанавливать свою родословную, искать в ней корни, культурную и жизненную основу. Но это ведь лишь одна из возможностей самочувствия в мире. Есть другие.

Достоевский не зря стал писать о «случайных» семьях – семьях без родословной. Выходцы из таких семей начинали играть все большую роль в тогдашней жизни. (Про наше время и наши обстоятельства разговор особый). Не знал своей родословной Эразм Роттердамский: один из тех, чьи корни, чья кровь – в мировой культуре. Может, таким людям не случайно открывается какой-то новый взгляд на мир.

Дед был местечковым юристом в Уланове под Винницей. Что это значило? Он был грамотный, писал по-русски и составлял для окрестных обывателей и крестьян необходимые бумаги, жалобы, ходатайства, выступал третейским судьей. Платили за это обычно не деньгами, а приносили кто яичек, кто курицу.

Я помню его: с седенькой бородкой лопаточкой... но, возможно, тут память уже подменяют фотографии. Помню, как он набивал табаком папиросные гильзы при помощи специального никелированного приспособления; я ему помогал. Помню, как он провожал меня в школу. Как приехал в последний раз к нам в Белоруссию, в Добруш, куда папу послали работать после войны. Однажды увидел, как я, третьеклассник, читаю «Антирелигиозный сборник» («Апостол Петр, беда какая, вдруг потерял ключи от

рая»), и заинтересованно стал выяснять у меня, почему я считаю, что Бога нет (должно быть, уже в мыслях о близкой смерти), – но не спорил, не убеждал. Он умер в том же, 1946 году, вернувшись в Москву. От него остались еврейские книги, которые долго растрепывались по листам. Папа говорил, что в московской синагоге за ним было закреплено персональное место, с именем, вырезанным на сиденье скамьи.

Фамилия его первоначально была Харитон; окончание «ов» добавил либо он сам, либо какой-то писарь. Откуда в нашем роду греческое имя, не знаю. Как-то в еврейской истории Рота я вычитал, что эллинизированный иудейский царь Антиох поощрял соплеменников принимать греческие имена. Но вряд ли бы оно сохранилось в поколениях с тех пор.

Есть знаменитый академик-атомщик Харитон, но я, конечно, никогда не доберусь до него, чтобы спросить, не к общим ли мы восходим предкам и к каким.

В Москве пока нет улицы, названной моим именем, зато есть целых два переулка, Большой Харитоньевский и Малый.

До меня дошли только обрывки воспоминаний об исчезнувшем мире времен моего деда и моих родителей. Целая своеобразная цивилизация – я могу домыслить ее черты, ее воздух по рассказам Шолом Алейхема и Зингера. Мир тесной духоты и вкусных запахов, мир зеленых шагаловских евреев, где пасли коров, учили Тору и помогали беднякам, зажигали по праздникам свечи, где щуплый мальчишка – мой отец – капал свечным воском на бороду ребе, вздремнувшего в хедере за столом. Эта цивилизация погибла в концлагерях и газовых камерах, эти местечки стерты с лица земли – я сам никогда их не видел, лишь ловлю последние долетевшие до меня отголоски той жизни.

Вот, скажем, такой папин рассказ. Дедушка много лет кормил у себя по субботам бедняка, слепого портного; это была своего рода привилегия. Но однажды этого бедняка переманил к себе

сосед. Дедушка очень обиделся. Собрались старые евреи рассудить их. В местечке были две синагоги, большая, для почтенной публики, и маленькая, для менее почтенной. Соседа наказали, определив ему ходить в маленькую синагогу. После этого они с дедушкой перестали разговаривать. Начальник местной милиции – большой тогда человек – узнал, что два почтенных еврея не разговаривают, и посадил обоих в тюрьму. За что? Потом объясню. Женам велели принести еду. Посидели, посидели, но долго вместе не помолчишь – поневоле стали опять разговаривать.

Теперь этот тип отношений практически исчез – я застал остатки. Помню, например, как к нашему дому в Лосинке пришел освобожденный по амнистии 1953 года – просто узнал, где здесь живут евреи, и зашел попросить вещей ли, денег ли на дорогу; конечно, его и покормили. То был обычай доброты, не спрашивающей о подробностях, – традиция, помогавшая соплеменникам выжить среди всех бед и погромов. Что от нее осталось? Когда-то и в русских деревнях жалели несчастных.

Будучи местечковым юристом, дед не спешил выписывать метрики своим детям, он сам потом по надобности оформлял им паспорта, и даты рождения ставил задним числом, по весьма смутной памяти, а то и вовсе произвольно. Иногда они спорили с бабушкой: «Когда родился Лева?» – «В Пасху». – «Да что ты, в Пасху это Соня. Помнишь, нам как раз принесли шалахмонес?»* – «Ой, чтоб мне горя не знать, это была Дора!..» Так рассказывал папа.

Он сам оказался на два года младше своего паспортного возраста. Подгонять возраст в метриках приходилось, например, потому, что обычай не позволял выдавать замуж младших дочерей раньше старших, а жизнь порой заставляла.

Однажды дед сказал свахе: нужно выдать замуж Дору, мою дочь. Она хромая, но пока она не выйдет, другим приходится ждать. Сваха нашла жениха, согласившегося взять Дору за глаза, не гля-

* Шалахмонес – гостинцы, которые посылали друг другу в праздник пури́м (а не на пасху).

дя. Но он потребовал в приданое сто золотых пятирублевков – почему-то сумма была названа именно в таком исчислении. Дедушка обещал. Конечно, у него таких денег не водилось, но он знал, что делает. Когда сваха потребовала показать деньги, дед ответил с достоинством: «Будет жених, будут и деньги».

И вот приехали на смотрины из Бердичева жених (дядя Миша) с матерью. Сестер помоложе и покрасивее удалили из дома – чтобы жених попутно не загляделся на них и не переметнулся; выдать замуж хромоножку – вот была задача. На окнах бумажные занавески. Младшим детям (в том числе папе) дали в руки книги, чтобы приезжие видели, в какую попали образованную семью. И у невесты в руках была книга. Правда, папа уверял, что она держала ее вверх ногами – не столько от растерянности, сколько потому, что не умела читать. Жених, впрочем, вряд ли был грамотней, он этого не заметил. Больше того, он не заметил, что его невеста хрома, – она при нем не вставала, во всяком случае, не ходила. Так что после свадьбы это оказалось для него сюрпризом. Увы, не единственным.

Что до денег, то к приезду жениха дедушка одолжил сто золотых пятирублевков у богатого соседа, на два часа. Мать жениха первым же делом вспомнила о деньгах, потребовала показать. «Ты что, мне не веришь? – с достоинством спросил дед. – Голда, принеси». Бабушка принесла деньги, небрежно высыпала в большую тарелку. Женщины стали считать. Считали долго. До десяти они знали твердо, но дальше сбивались, приходилось пересчитывать заново. А дедушка на них и не смотрит – как бы даже высокомерно. Наконец, досчитали все-таки до ста. «Голда, унеси», – сказал дед бабушке. И та унесла деньги, только не в другую комнату, а прямо к соседу.

Между тем разбили, как положено, тарелку, скрепили договор – назад пути не было.

Когда сыграли свадьбу, мать жениха напомнила про деньги. «Откуда их у меня? – ответил дед. – Ты хотела посмотреть на такие деньги, я тебе их показал». Все-таки не зря он читал Библию – последователь Лавана, которому надо было пристроить не только красавицу Рахиль, но и старшую Лию.

Так и получил Миша Дору без копейки, но с хромотой. Однако всю жизнь она ему повторяла: «Что бы ты без меня делал? Ты пропал бы без меня». И убедила его в этом.

Из-за этой Доры, между прочим, я и родился в России. Перед первой мировой войной дед отвез старшего сына в Америку, а сам вернулся, чтобы перевезти остальную семью. Всех готовы были пустить, и только Доре иммиграционные власти отказали из-за ее хромоты в праве на въезд. А оставить ее одну дедушка не захотел. Это обстоятельство позволило моему отцу встретиться с мамой.

Про то, что у меня в Америке есть (или были) дядя и двоюродные братья или сестры, я узнал совсем недавно. В 20-е годы они еще писали, потом связь с ними стала опасна. Попытки папы разыскать их сейчас через Красный Крест оказались безуспешны. Какие у них теперь имена?

Так же недавно я узнал про другую семейную линию – детей дедушкиного брата, купца первой гильдии, которые переехали в столицу и стали крупными деятелями революции, впоследствии репрессированными. Я познакомился потом с одним, реабилитированным старым большевиком, даже одно лето жил на казенной даче, которую он нам устроил по своей линии. Но это не моя история.

С отцовской стороны у меня было семь дядей и тетей. Во всяком случае, стольких я знаю. Дядя Лева-фотограф, тетя Соня, Таня, Рая, Нюра (это московские), Геня из Ташкента, хромая Дора со станции Минутка под Кисловодском. Семеро. О восьмом, американском, дяде я только слышал. Девятым ребенком был мой отец. А всего у бабушки с дедушкой было двенадцать детей. Трое умерли в детстве.

Большинство из них никакого образования не получили – но детям высшее образование дали почти все: почтение к образованности у нас в крови. От детских лет у меня много по тем временам фотографий. Объясняется это просто: сразу два папиных

родственника работали фотографами. Дядя Лева большой (муж папиной сестры) и дядя Лева маленький (папин брат). Первый был фотограф умелый и богатый, второй едва сводил концы с концами и потом ушел продавцом в магазин. А женщины были по большей части домохозяйками, лишь когда прижимала нужда, кто-то устраивался на время работать.

Детство я провел среди них, хлопотливых, добрых, малообразованных, чадолюбивых, мастериц вкусно готовить. Они съезжались на семейные праздники, неумелыми голосами пробовали петь непонятные мне еврейские песни. Чем дальше, тем больше я удалялся от них. Я не сумел написать о них с тем родственным юмором, с каким написал Фазиль Искандер о своих простоватых и добрых родственниках. С возрастом усиливалось чувство, что у меня с ними мало общего.

И лишь недавно я стал думать: так ли мало? Может, эта доброта и хлопотливость, это желание вкусно накормить и умение вкусно приготовить, это чадолюбие, гостеприимство, эта семейственность – наложили на мое подсознание отпечаток большой, чем сам я готов осознать?

Свое родство и скучное соседство
Мы презирать заведомо вольны.

Это сказал О. Мандельштам, человек русской, европейской, эллинской, христианской культуры. Его заметки о еврейской родине, о «хаосе иудейском» отстраненны и ироничны. Но он же, противопоставляя себя вороватому «литературному племени», вспомнил свою кровь, «отягощенную наследством овцеводов, патриархов и царей». Что это за наследство? Реальна ли эта субстанция в крови?

Мне еще предстояло осознать и принять свое самочувствие и положение: самочувствие еврея и русского писателя.

1964 – 1987

ОТСТУПЛЕНИЕ НА ТЕМЫ ЭТНОСА

Согласно известной концепции, этническое самосознание – то есть безотчетное чувство противопоставленности себя другим – вот что делает евреев евреями, американцев американцами. Единство происхождения, культуры, языка, государственности само по себе тут ничего не решает.

Об этой природной склонности и способности без усилия, помимо рассуждений предпочитать представителя своей группы, стаи, племени в противоположность прочим говорят не только этнологи, но и этологи – специалисты по поведению животных.

Ученые знают, что говорят. Кому не случилось ловить себя на невольном, порой постыдном сочувствии «своим»? – даже когда знаешь, что они не правы, что они причиняют страдания другим. Что нам чужие страдания, чужие жертвы?

Я шел мимо переулка у синагоги. Толпа собиралась на праздник. Я смотрел на лица людей, и многие казались мне прекрасными, особенно молодые. Мужчины с бородками шолом-алейхемовских и шагаловских персонажей, большеглазые женщины. Мне казались близкими их улыбки и голоса. Я даже не знал, как назывался этот праздник – что мне было до него? Я русский писатель, я шел из Исторической библиотеки, где читал о русской истории – и это была моя история. Что же значит эта нежность, какая память живет в сердце – или все-таки в крови?

Вдруг мне как-то пришло в голову: не так ли долгое время щемило и вздрагивало сердце, когда я слышал о проигрыше или выигрыше «Динамо» – команды, за которую в детстве стал почему-то болеть? Совсем уж область иррационального – в пору стыдиться. Я давно не хожу на футбол, уже и по телевизору почти не смотрю, слежу разве что по газетам, и игроков-то новых не знаю – что мне эта куча молодых парней, чуждых мне по всей сути? Но легло когда-то на сердце глупое слово, звук – и я за него болею, сам над собою смеюсь. Психическая аномалия. Ум с сердцем не в ладу.

Нет, я, разумеется, понимаю, это похоже на ересь: нации – и вдруг такое снижение. Я ничего не утверждаю, просто размышляю вслух. Ведь разве какие-то критерии, какие-то ощущения тут не совпадают? Разве не дожили мы до времен, когда объединения футбольных болельщиков стали самоутверждаться вплоть до сражений с чужаками? У них свои вожди и свои идолы, свои традиции, знамена, символика, предания, фольклор.

Или разве не говорит, скажем, Солженицын об обитателях гулаговского архипелага как о туземцах, объединенных и уже обособленных своей судьбой, своей историей и психологией, памятью и языком?..

Так уж сложилось, что самой общезначимой и общеизвестной моделью этой темы во всем мире (по крайней мере, христианско-европейском) стала проблематика еврейская. Ее осмысливали, особенно в нынешнем веке, по-разному и с разных сторон. Все, что приходило мне когда-нибудь на ум по этому поводу, оказывалось кем-то уже пережито и продумано.

Самоощущение израильского уроженца, для которого чувство национальной принадлежности с пеленок естественно и бесппроблемно.

Самоощущение человека, который стал ощущать себя евреем, лишь когда ему об этом напомнили – неприятно, преследованиями, погромом, Освенцимом.

(И при этом ощущение несвободы, когда сами мысли на эту тему все-таки навязываются обстоятельствами, средой – вне личного выбора, вкуса, убеждений, а то и вопреки им.)

Сознательный выбор тех, кто объявил себя евреем из солидарности с преследуемыми и гибнущими.

Призыв пастернаковского героя к евреям освободиться, наконец, «от верности отжившему допотопному наименованию» и «бесследно раствориться среди остальных».

Еврейство не как национальное чувство, а скорей как ощущение напряженности с окружением. В этом смысле евреем можно быть только среди неевреев. Экзистенциальное измерение этой проблематики полнее других обобщил Кафка. Макс Брод волен толковать многих его персонажей как евреев, чувствующих себя чужаками среди других. Но ведь сам Кафка нигде в прозе не упоминает даже слова «еврей». Стоит только это представить, чтобы ощутить, как все вдруг мельчает и становится частностью.

Зато эта тема естественно переплетается с темой избранничества, пусть даже невольного, нежеланного, как от рождения унаследованное клеймо, с темой личности и толпы, противостояния, которое вряд ли приносит счастье, но способно духовно возвысить, и с темой приспособленчества, когда тянет стать неотличимым от большинства.

«Гетто избранничеств, – сказала об этом Марина Цветаева. – В сем христианнейшем из миров поэты – жида».

Жида – потому что поэты. Поэты – потому что жида.

(Хотел бы я, между прочим, знать: когда Пушкин видел у прихотливых сановников слуг-арапчат – вглядывался ли он в них с особым, не как у других, интересом? И вздрагивало у него сердце при мысли о странном родстве? Свидетельств об этом нет и, наверное, быть не может – он сам бы себе в этом не признался.

Впрочем, в письме П. Вяземскому от 24 – 25 июня 1824 года пущено вскользь замечание «о судьбе моей братьи негров» – как бы и не вполне всерьез, но все-таки...

Негритянская кровь предков была ему, видимо, не совсем все-таки безразлична. Когда любой подлец мог тебя попрекнуть тем, что твой прадед был куплен за бутылку рома, это создавало то самое напряжение, поэт откликнулся. О Гавриле Пушкине он упомянул мимоходом, а об арапе Ганнибале начал писать роман. Уязвимость делает тоньше.)

Меня, к слову сказать, оскорбляли и как еврея, и как русского (в Прибалтике и в Праге). А однажды в Крыму я едва разминулся с группой парней, которые шли бить «москвичей». Тоже, считай, этнос.

Один герой у Борхеса «имел обыкновение порицать сионизм, который превращает еврея в человека заурядного, привязанного к одной традиции и одной стране, лишенного тех сложностей и противоречий, которые сейчас обогащают его». Тоже известная тема.

Да, уж в этом смысле выбор теперь есть. Существование Израиля вроде бы дает, наконец, возможность желающим стать такими, как все. Что, наверное, более естественно.

Только проблема-то ведь все равно останется. Хотя, возможно, она будет обозначаться когда-нибудь другим именем.

1977 – 1988, 1994

В СТОРОНУ МАМЫ

Волосы моих дочерей, волосы моей мамы, наследственная красота древней расы. Вдруг представил их прародительниц где-нибудь в Европе, в Испании, и еще раньше, в Палестине, расчесывающих и украшающих такую же вьющуюся гриву... увидел их зримо, и защемило сердце от ощущения великой незримой связи во временах.

С маминой стороны у меня родственников практически нет. Отца ее, Менделя, моего второго деда, убили в 1918 году. Кто – неизвестно. Одна из тогдашних банд. Постучали в дверь, велели выйти и застрелили у колодца. Мама помнит, как его мертвого внесли в дом. Он считался знающим лошадиным, работал когда-то у помещика, а потом подрабатывал где мог, в основном на торфоразработках. После его смерти моя вторая бабушка – ее звали Хая – кормила семью как портниха. Она шила нечто вроде пиджаков из так называемой «чертовой кожи» – плотной хлопчатобумажной ткани, получала за штуку 50 копеек. Но, будучи держательницей патента, числилась лишенкой, это закрывало детям дорогу к высшему образованию. «Мне надо умереть, чтобы ты получила образование», – говорила она маме.

Из рассказов мамы:

– Я училась в третьем классе, но уже репетировала – занималась с дочерью местного мануфактурщика, владельца мануфактурной лавки. Она была моя ровесница, но очень тупая. До сих пор помню рисунок материи, которую он дал мне в уплату, на платье...

Я очень хорошо рисовала, у нас был замечательный учитель рисования. Вообще были замечательные учителя. Столько лет прошло, а я всех помню. И была прекрасная библиотека в школе, мы входили в нее, как в храм. А к пианино я только подходила и смотрела, как играют другие. Меня не учили.

Мама умерла в 1929 году, 36 лет, от стрептококковой ангины. Я только что кончила школу. Отчим нас бросил, причем забрал все вещи, не только свои, но и часть наших. И уехал в Киев. Я осталась с братом Ароном и бабушкой. Бабушка испугалась, как бы у нас не пропало и остальное. Она собрала мамино приданое, несколько золотых вещей: мужские золотые часы, золотую цепочку с дамскими часиками, два кольца, – завернула все в узелок и дала спрятать моему дяде. А он был торговец. Через два дня пришли к нему с обыском, за золотом. У него ничего не нашли, а все наши золотые вещи забрали. Без протокола, потом следа не могли найти. Я писала в Харьков, тогдашнюю столицу, что это вещи мои. Как в воду канули. Их не было ни в каком протоколе, власть присвоила – ищи-свищи.

Меня устроили работницей на сахарный завод, помогали всем миром, следили, чтоб я не работала больше четырех часов. Тогда за этим смотрели строго, профсоюзы много значили. Я уходила в половине шестого, первая смена начиналась в шесть часов. Мешки таскала. Получала 14 рублей в месяц и как-то хватало на троих. Конечно, без бабушки мы бы не выжили, она умела эти гроши превратить во что-то. Другие дети жили в семьях, но меня им ставили в пример. Когда я вышла замуж, я впервые оказалась в семье, это была моя семья. А брат Арон поступил в Киевский университет, на английский факультет. В 41-м их послали под Харьков убирать урожай, там же дали оружие, и он пропал без вести. То есть погиб.

На фотографии 1928 года – миловидная нежная девушка с лучащимся взглядом. Почему ей надо было пережить то, от чего избавлены были другие в мире? Зачем в гражданской войне она должна была потерять отца, а в следующей брата, терпеть из года в год лишения? Сейчас оглядываешься: как много страшного, нечеловеческого довелось пережить нескольким поколениям, сколько страхов, унижений, бедности, от которых избавлены были обитатели более счастливых стран... Но мои родители тогда этого не чувствовали: они находили в днях своей жизни всю полноту счастья.

– Питалась я на фабрике сахаром с патокой, из дома с собой брала помидор да луковицу – как было сладко! В хате у нас были глиняные полы, я любила их разрисовывать в шахматную клетку, каждую украшала особо, рвала траву пахучую, чтобы положить на пол. Только получив деньги, настелила полы дощатые.

А как тогда вообще голодали! Моя подруга в тридцать первом – тридцать третьем училась в медицинском техникуме. Она приезжала летом опухшая от голода буквально – вот такие ноги. Как прожили – даже не понять.

Коллективизацию помню. Мне было лет шестнадцать, мы ходили по избам, мужчины с наганами, искали хлеб. А потом этот хлеб ссыпали в синагогу, и я – ты не поверишь – стояла с винтовкой, охраняла. Скольких выслали! А какие там были кулаки – беднота! У моего соседа была корова и три лошади, четверо сыновей. Объявили кулаком, всех выслали. А сейчас у людей машины – да за каждую можно купить тогдашнюю Андрушовку и Уланов, вместе взятые, и еще бы осталось. Перед хатами лежали умершие от голода. Одна крестьянка просила оставить ей корову, ее отталкивали: «Уйди, куркулька!»

Уже в позднем возрасте я узнал, что нянька моя, Вера, была из раскулаченных, потому и попала к нам в дом. Она была из деревни в четырех километрах от Андрушовки. В 30-м отца ее выслали, на время ее пристроила у себя, как бы в домработницах, тетя Таня, но в Андрушовке ей было жить нельзя, и мама, уехав в Москву,

взяла ее с собой. Так в родительской комнатухе появилась домработница. Не знаю, из каких шишей они могли ей платить, – она жила фактически на правах члена семьи. Наверно, многие московские домработницы той поры появились вот так, даже в небогатых семьях. В войну она эвакуировалась с нами, работала в госпитале, там встретилась с раненым офицером, вышла за него замуж. Сейчас он секретарь райкома на Алтае.

Среди впитанного в младенчестве – ее украинская речь, украинские песни. До сих пор что-то шевелится в душе, когда я бываю на Украине.

Семейные фотографии на твердом картоне с силуэтами Дагера, Тальбо и Ньепса на обороте. Ушедшая жизнь, незнакомые люди, но, оказывается, тоже связанные со мной. На одной фотографии – мамин дядя Соломон. Вначале он был художник, верней, маляр, а во время нэпа открыл в Одессе, на главной улице, Дерибасовской (улица Троцкого, – уточнил папа), магазин готового платья и при нем пошивочную мастерскую. Или, может, наоборот, пошивочную мастерскую, а при ней магазин, потом еще второй, магазин тканей. Мама вспоминала, что он был жаден, бедным родственникам не помогал. Как-то приехал в гости, привез маминому брату отрез на брюки, так егохватило только на короткие штаны.

Потом его прикрыли, посадили, потребовали *стакан* золота (именно такую мерку). Он сдал, его на время выпустили. Потом потребовали еще стакан. Больше у него не нашлось. С 1930 года его арестовывали трижды. Он побывал в Соловках, строил Беломорканал, а к началу войны вернулся в Одессу, да так и остался, прятался. Там стояли тогда румыны, они не очень усердствовали в поисках евреев. Но за два дня до прихода наших ему стало плохо с сердцем, он выбрался к соседям, за грелкой, кажется, и они его выдали румынам. Пришлось тем его расстрелять. А жена выжила, и дочка Соня (ее я хорошо помню). Соня тоже пряталась всю войну в подвале у своего русского мужа, но он тем временем наверху сошелся с другой и после освобождения сказал: жизнь я тебе спас, но дальше придется врозь...

Такие вот семейные истории.

Оказавшись впервые в Москве, мама думала, что все номера трамваев – порядковые. Ей нужен был сороковой трамвай, и, когда появился двадцать четвертый, она поняла, что надо ждать еще 16 номеров.

Это стоит истории папы, который знал в Москве единственный общественный туалет на Киевском вокзале и спешил туда с любого конца города.

1981 – 1988

ИЗ РАССКАЗОВ ПАПЫ

Думая про позднейшие свои невзгоды, папа с удивлением вспоминал, как приехал в Москву в галошах на босу ногу, подвязанных шнурками, – и ему было хорошо. Он любил вспоминать тогдашнюю Москву, чайные, где извозчики заказывали «пару чаю», – жизнь, в общем, близкую провинциалу.

– Я приехал в Москву в 1928 году, стал ходить на биржу труда. Если не было работы, нам в день давали рубль. Однажды сказали, что есть работа грузчика. Я пошел работать на Житную улицу, там был филиал киностудии, которая находилась на Потылихе.

Я работал грузчиком, а жил в Кускове, снимал там угол у одной татарки. Она меня называла «жиденок» и говорила: после десяти не приходи, не пущу. И я знал, что не пустит. Если задерживался, я шел на Киевский вокзал, там были такие большие окна, можно было лечь на подоконник или на скамейку и спать. В пять утра приходила уборщица, тормошила: вставай. Я дождался, пока она уберет, потом ложился досыпать.

Поработал четыре месяца, мне говорят: теперь ты можешь вступать в профсоюз. Это была большая честь – не то, что сейчас. Я подал заявление, меня спросили: а твой отец не лишенец? Нужна была справка. Я съездил к себе на Украину, три дня туда, три обратно, привез такую справку...

Смутный эпизод: он работал на киностудии кем-то вроде лаборанта, да еще при самом Эйзенштейне, – фамилию запомнил, но цену ей узнал только потом; от искусства был далек.

– Когда в Москве шел процесс Рамзина, мы ходили к Дому союзов с факелами и кричали: «Смерть Рамзину!» Я понятия не имел, кто такой Рамзин, но кричать старался громче, за этим следили. Кто плохо кричал или тем более отлынивал, посмеивался, могли арестовать. Говорят, многих арестовали.

Однажды меня как комсомольца назначили фининспектором на Сухаревский рынок. Что это был за рынок, ты сейчас и представить не можешь. Смотрю, а у меня в кармане пиджака откуда-то деньги. Три рубля, пять рублей. Я поработал три дня и говорю: я боюсь. Я не могу здесь работать. Но мне доверяли, я был очень честный. Как-то я сказал начальнику, что хочу съездить к маме и что она просит привезти шерстяной платок. Откуда-то и про это узнали: вдруг она получает в подарок шерстяной платок. Кто послал – неизвестно...

(Чем кончилась история, не знаю; она была рассказана после пьяного тоста дяди Левы: «Хотя мой брат в 30-м году чуть не арестовал меня...»)

– Году в 31-м (или 32-м, сейчас не помню) я из энтузиазма вызвался раньше срока в армию. Два года, прибавленные отцом в метрике, позволяли. Тогда это было дело чести, не всех брали, нужна была справка, что твой отец не лишенец, то есть не лишен избирательных прав. А это было переменчиво: сегодня не лишен, завтра лишен. Я как раз проскочил.

Послали меня почти в родные места, в местечко под Винницей, у тогдашней польской границы. Я ходил в обмотках, потом получил кирзовые сапоги, а потом папа прислал даже хромовые. На шинель я как-то сзади пришил много мелких пуговиц – для красоты. И в таком виде пошел в клуб, на танцы. Там меня увидел начальник штаба, но ничего не сказал. А на другой день вызвал из строя: два шага вперед! Подошел сзади с ножницами и все пуговицы срезал.

Где-то на втором году службы увидели, что у меня хороший почерк, и взяли писарем в штаб. И вот как-то я шел по Виннице. Мне казалось, что все должны на меня смотреть. Новая шинель. Хромовые сапоги, хоть я не имел права их носить. Кобура, хоть и пустая. И вдруг меня окликают. Оказался знакомый из местечка, некто Ройтман. «Как ты оказался в армии? Откуда у тебя наган?»

Словом, через несколько дней в часть пришло заявление: как это обманным путем сумел проникнуть в Красную Армию, да еще у самой границы, сын адвоката, лишённого избирательных прав? Адвоката! Бедняк, у которого было двенадцать детей! И кто это написал? Человек, у которого отец владел крупорушкой. Я в 13 лет ходил к нему работать, гонял лошадей, он вечером расплачивался со мной за это крупой, то есть кормил кашей. Все зависть, смешная местечковая зависть: ишь, ходит с наганом, как будто лучше нас.

Меня вызвали в штаб, сначала накричали, потом начальник штаба – он был умный человек – говорит: поедем к вам в Уланов. Запрягли лошадей, поехали. Созвали собрание в клубе. Все пришли. Начальник штаба говорит: вот, пришло такое заявление, пусть, кто написал, выступит. И вот этот Ройтман выходит и все повторяет: что отец – адвокат, хотя налогов не платит, но получает деньги за практику. А какие деньги? Крестьяне приносили кто яиц, кто курицу.

Тогда выступил один фельдшер, он недавно туда приехал. Спрашивает этого Ройтмана: «А вы сами кто?» – «Я? Кровельщик». – «И работаете в артели?» – «Зачем? Сколько сделаю, столько получу». – «Значит, сами частник?.. Да как вам не стыдно! Вы все тут бедняки. Человек с 17 лет работает, комсомолец. Вам бы гордиться, что один из вас удостоился такой чести, служит в армии, а вы завидуете, пишете заявления».

Тут я тоже взял слово. Говорю: «А кто был твой отец? Кто на вас работал, когда мне было всего 13 лет, а вы со мной расплачивались кашей?..»

В общем, проголосовали: кто за то, чтобы я остался служить в армии? Все подняли руки.

А Ройтман потом приходил ко мне в Москве, извинялся. Он

стал директором магазина. У него были дочери, он знал, что у меня сыновья, приходил посмотреть. Потом обижался, что его дочерьями пренебрегли...

– Были самые голодные годы, когда я служил в армии. Я тайком носил хлеб одной еврейской семье. Распорол подкладку шинели, совал туда хлеба, а то прямо туда, за подкладку, сыпал кашу. Однажды встретил меня начальник штаба. «Что у вас в шинели?» – «Так и так», – объясняю. – «Вернитесь, выложите все и скажите командиру, что вы арестованы на пять суток». Я еду все-таки отнес, они совсем голодали. Потом доложил, как положено, сдал пояс, оружие, отсидел пять суток. А потом прихожу и подаю начальнику штаба рапорт для передачи командиру полка с жалобой на него. (Прямо высшему начальству я жаловаться на своего командира не имел права.) Он прочел, велел мне рапорт порвать. Я отказался. Он еще трижды меня вызывал, сначала приказывал, потом просил отказаться от жалобы. Он боялся: на него уже многие жаловались, грубиян был. Но не антисемит, антисемитизма тогда, между прочим, такого не было, как сейчас. За это судили... В общем, разрешил отдавать им мой хлеб. Потом его, говорят, расстреляли, как врага народа.

– Я тогда глупый был, комсомолец, во все верил. Однажды стояли мы в охране у тюрьмы. Нас послали в подвал. А там сидят двое, муж и жена, на шее у них такие деревянные колодки, вроде хомута, чтоб не могли шевельнуть головой и лечь не могли. Требуют, чтоб они отдали золото. Кормят селедкой, а пить не дают. Они сидят, плачут. Нас послали, чтоб мы поговорили, как евреи с евреями. Я был глупый, во все верил. Я говорю: «Слушайте, зачем делать глупостей? Отдайте им эти деньги, стоит из-за них мучиться?» Они плачут, им же больно: «Откуда у нас золото? Были две пятерки, их забрали, а больше – откуда?» Потом их отпустили, у них действительно не было. А другие отдавали. Одна женщина, говорят, стала кричать: «Нет у меня золота!» – и так затрясла головой, что у нее распустились волосы и оттуда посыпались пятирублевки... А что, этими золотыми когда-то жалование выдавали. Я думал, так надо.

Папа считался в семье самым умным, образованным и удачливым. Если бы он после армии вернулся на киностудию к Эйзенштейну, я мог бы родиться в непростой семье. Но уже появилась жена, надо было думать о заработке. Он кончил лесной техникум и всю жизнь проработал в деревообрабатывающей, бумажной и полиграфической промышленности.

Нищая московская молодость. Чтобы брюки выглядели глаженными, их клали под матрац. (Еще я пользовался этим уроком.) На свидание с мамой папа одолживал пиджак приятеля.

Фотография. У папы значки Осоавиахима и Ворошиловского стрелка (скорей всего чужие, одолженные вместе с пиджаком). Мама в берете чуть набекрень.

Как-то он угостил маму пирожным, и у них не осталось 40 копеек на трамвай. Пошли пешком. Вдруг он увидел на земле красненькую – тридцатку. Отмыл ее, они пошли в магазин, купили курицу, всякой снеди. И на трамвае поехали домой.

– Как-то году в 37-м меня послали в арбитраж, я должен был там встретиться с Н. Вот мы встретились, ждем арбитра. Н. говорит: еще есть время, я выйду на минутку, покурю. И вышел. Проходит минута, другая, третья, является арбитр – а его нет. Ждем. Наконец, я говорю: сейчас выйду, поищу его. Ищу – нигде нет. Что делать? Звоню своему директору: так и так, Н. исчез. Пришлось перенести арбитраж. А через три дня Н. является, весь черный, отощавший. Оказывается, он во дворе стал прохаживаться, глядеть на окна. А там было германское посольство. К нему подошли: что вы тут делаете? Посмотрели бумаги в портфеле. А у него почерк был такой, что сам не мог прочесть. Ну, поддержали и выпустили все-таки.

Тогда брали кого-нибудь каждый день. Как-то я пошел в свой наркомат. Хотел перейти улицу, вдруг вижу – машины черные, одна за другой. Я остановился посмотреть. Тут кто-то сзади: «Ваши документы!» Я говорю: «А вы кто такой?» Показывает книжечку. Я

говорю: «У меня паспорта нет, только пропуск». – «Покажите». Забрал пропуск. «Пройдемте». Я говорю: «А в чем дело?» – «Там узнаете». Привели, там в коридоре сидит человек пятнадцать. «Сидите ждите». Не помню, сколько я ждал, наконец вызывают: «Харитонов!» – «Я!» – «Вот ваш пропуск, идите. Только больше не смотрите куда не следует». – «А что я такого сделал?» – «Подумайте».

Потом я узнал, что там проезжал Сталин.

Это восприятие человека, который мало что понимал и ничего не хотел, только чтобы его не трогали.

– Однажды вызывает меня председатель фабкома, предупреждает, что о нашем разговоре никто не должен знать, и говорит: «Директор фабрики – не наш человек. Ты слушай, что он говорит, и все мне докладывай». Я так испугался, что попросил увольнения и на два месяца уехал к маме в Уланов. Директор меня отпустил, он все понял. Ему то же самое говорили про меня, чтобы он доносил. Тогда всех стали забирать. Одно время брали поляков, всех подряд. Потом наше начальство. Нашего наркома, говорят, арестовали прямо в лифте...

Приближалось время, когда на свет должен был появиться я.

1978 – 1987

РОДИВШИЙСЯ В ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОМ

ГОРОСКОП

Год моего рождения – 1937 – вызывает у многих моих соотечественников чувства особые. Это был год, когда террор достиг вершины, год арестов, пыток, расстрелов, год общего страха.

Этот страх погнал мою маму из Москвы: когда пришла пора меня рожать, она уехала подальше от столицы, в Житомир, к тете.

Я порой думаю: не сказалось ли это на мне, не вошло ли что-то из тогдашнего воздуха в мою душу и кровь? Есть ведь такое ненаучное мнение, что впечатления, полученные женщиной при беременности, сказываются на потомстве. Нечто подобное экспериментально подтвердил библейский Иаков, добываясь пестроты овечьего стада. Во всяком случае, состояние земных дел в день рождения влияет на судьбу новорожденного не меньше, чем расположение звезд. Известен вид гороскопа: восстановить, хотя бы по газетным сообщениям, что происходило в этот день – 31 августа 1937 года.

По-украински – 31 серпня. Вторник. В этот день в Москву вернулись стратонавты Я. Украинский и В. Алексеев, совершившие полет на субстратостате. Летчик Задков вылетел с мыса Барроу к ледоколу «Красин». По местному радио – передача для домохозяек: передовая газеты «Правда» («Прогрессирующими, невиданно быстрыми темпами растет культурный уровень многочисленных трудящихся масс Советского Союза»), концерт из произведений Чайковского и Танеева. А накануне покончил жизнь самоубийством председатель украинского Совнаркома Любченко – «запутавшись в своих антисоветских связях и, очевидно, боясь ответственности перед советским народом за предательство интересов Украи-

ны». В тот же день назначен его преемник Бондаренко. В Испании мятежники атаковали Эль Пардо и Университетский городок. В Китае японские войска взяли крепость Усун. В Подвысоцком районе разоблачена контрреволюционная организация во главе с секретарем райкома. В этот день произведено 200 штук грузовых и 5 штук легковых автомобилей ЗИС. Академик Лысенко объявил о получении новой формы пшеницы, «равной которой нет во всей мировой коллекции». Продолжался разбор Страстного монастыря в Москве. В деревне Златополье на Украине арестован священник Сергей Ивахнюк, восхвалявший немецких фашистов и троцкистов. Тухачевская Марья Николаевна, 1907 г.р., решила поменять свою фамилию на Юрьеву. В Театре Вахтангова шла комедия «Много шума из ничего».

Я выделял для себя эту дату, 31 августа 1937 года, в чужих воспоминаниях, дневниках и рассказах, пытаюсь представить одновременное состояние жизни разных людей в разных местах.

В этот день генетик Владимир Павлович Эфроимсон был выгнан с волчьим билетом «за бесполезность работы», а подготовленный им материал по генетике шелководства уничтожен. Томас Манн в швейцарском городке Кюснахт работал над очередной главой «Лотты в Веймаре», потом гулял с женой в лесу. Было ветрено. В. Н. Горбачева, жена поэта С. Клычкова, получила в этот день телеграфное уведомление о том, что поэта Н. Клюева нет больше в Томске, – возможно, перевели в тюрьму. Но был ли он вообще к тому времени жив?

О чем думал 31 августа 1937 года Д. Хармс? Я знаю, что он писал 12 августа:

Я плавно думать не могу –
Мешает страх.

Может, в тот день им было написано вот это, с непроставленной датой:

Как страшно тают наши силы,
Как страшно тают наши силы...

Или вот это: август 1937-го, без числа:

Довольно ныть. И горю есть предел.
Но ты не прав. Напрасно ноешь.
Ты жизни ходы проглядел,
Ты сам себе могилу роешь...

ДОМ

Едва оправившись, мама вернулась со мной в Москву. Так что на своей родине, в Житомире, я, собственно, никогда не бывал – если не считать нескольких недель после рождения. Но этого я не могу помнить, как не могу гордиться великими земляками. Кажется, их и не было – черта оседлости, не более.

Мы жили в общежитии при деревообделочной фабрике на улице Сайкина. Это был барак в виде буквы П: в одном крыле шестнадцать дверей, в другом шестнадцать, посередине туалет. Вот этот туалет, метров шесть, родителям разрешили приспособить под жилье. А кухня была в особом бараке: огромная плита с двумя топками, не то что на тридцать две – на сто кастрюль. Но мама готовила у себя, на плитке, – и вот ведь свойство молодости: это время вспоминалось ими потом как счастливое.

А в 1938 году дед купил у цыганского табора халупу в Нижних Котлах и позвал построить рядом любимого сына, моего папу. Папа сумел раздобыть у себя, на деревообделочной фабрике, стройматериалы по государственной цене – по тем временам (как и по нынешним, впрочем) это было большое дело. Деньги дал родственник, вошедший в долю. Дедушка выхлопотал разрешение на постройку сарая – дом в таком месте никто строить бы не разрешил. Нашли плотников, и они за воскресенье и две ночи подвели дом под крышу. Более того, в этом едва готовом доме печник тут же сложил печь. А существовало, оказывается, правило, не знаю, писаное или неписаное: если в доме есть печь, то это уже жилье, и сносить его нельзя. В понедельник в этот едва готовый дом въехала вся семья вместе со мной. Потом были дол-

гие конфликты с пожарной охраной и разными другими инстанциями, дело разбиралось в суде, родителей оштрафовали за самовольное строительство на 25 рублей, но дом уже стоял, и тот же суд внес его в реестр жилых владений Москвы под номером 5 а.

Знаменитые москвичи любят в интервью вспоминать Москву своего детства – существенный элемент самой начальной духовной пищи; это запечатлевается на всю жизнь. «Что для вас значит Москва? – спрашивают их. – Какое место памятно вам больше всего?» И те вспоминают арбатские двory, Чистые пруды или, допустим, Хамовники. Я этой Москвы в детстве почти не видел. Места моего детства даже трущобами не назовешь.

Сейчас таких домов в Москве, пожалуй, и не осталось. Я вспоминаю его, когда вижу некоторые старые фотографии, вид сверху с какого-то высокого этажа: скопище деревянной убогой рухляди. Это воспринимается уже как этнография, как про индейцев Амазонки. Что утварь, что жилище, что одежда. А речи, разговоры! А газетные статьи, а эстрадные шутки по радио! Морок, ужас.

Но это была наша жизнь. И мы вовсе не считали ее плохой.

Дом с трех сторон был окружен стенами и заборами заводов: эмалекрасочного и шлакобетонного. А может, только одного эмалекрасочного, а шлакобетонный располагался напротив, уже не уверен. На ближней свалке постоянно валялась бракованная продукция вроде эмалированных металлических табличек для домашних номеров и названий улиц; здесь же можно было подобрать и гвардейские значки, и, говорят, даже ордена. Орден я не видел, а гвардейских значков у меня было несколько: игрушки военных лет. Повешенное для просушки белье здесь чернело от копоти, когда начинала дымить труба. Еще одну металлическую трубу поставили уже при мне вне заводских стен, прямо у спуска к нашим домам. Она была горячая, и от нее всегда пахло испарениями горячей мочи, поскольку проходим, особенно мальчишкам, интересно было наблюдать, как с шипением испаряется, прикоснувшись к трубе, ароматная струя.

Я сказал: у спуска к нашим домам. Они действительно стояли как бы в яме, и от дороги к ним надо было спускаться. Поэтому их часто заливало. Иногда проступали подпочвенные воды. Как-то

мама вымыла пол, отошла к керосинке, где жарилась рыба, смотрит: на полу лужа. Она решила, что плохо вытерла, сделала это тщательней, но вода проступила опять, а потом поднялась так, что приходилось ходить по доскам, положенным на кирпичи.

За водой мы ходили «на гору», к колонке у Варшавского шоссе. Смутно помню, как в самом начале войны мы туда же, на гору, карабкались в бомбоубежище. Подъем был скользкий, кругом темно. И само бомбоубежище помню: тусклый свет, лица, ощущение пыли, земли над головой...

Зато внизу, в другую сторону, была Москва-река, речной порт, песок на берегу, не природный, сгруженный с барж. Купаться там было нельзя – вода в нефтяных разводах; но, помнится, купались. А самые памятные впечатления – когда спускали и поднимали водолазов, привинчивали и отвинчивали им шлемы скафандров. Я часто туда бегал...

Черт побери, и это город моего детства? Пожалуй... Редко доезжал я на трамвае дальше Даниловского рынка или Большой Полянки, где был Дом пионеров. Помню в окрестностях целые кварталы разрушенных в войну домов. Если и видел что-то еще – это в память не запало.

Но в том-то и дело: и дымящуюся черную трубу, и пустырь напротив, и трехцветную речку Вонючку (о которой чуть дальше) я вспоминаю с тем же добрым чувством, с каким Эрих Кестнер, допустим, вспоминал волшебно-прекрасный Дрезден своего детства: «Если я действительно обладаю даром распознавать не только дурное и безобразное, но также и прекрасное, то потому лишь, что я вырос в Дрездене. Не из книг узнавал я, что такое красота. Мне дано было дышать красотой, как детям лесника – напоенным сосной воздухом».

Снова и снова вглядываюсь в себя, стриженного под ноль, тощего, дышавшего многие годы детства запахом горячей мочи от черной трубы, копотью от уродливых заводов, вонью реки Вонючки... Как это отпечаталось на моем человеческом устройстве, вкусах, характере? Что-то тут не так просто. Надо подумать.

ПЕЙЗАЖИ МОЕГО ДЕТСТВА

Что было для меня в детстве природой? Откос окружной железной дороги, поросший вьюнками; мы называли их граммофончиками (сюда приходили, чтобы помахать рукой машинисту). Пустырь напротив; цветы и травы, прораставшие там среди камней и мусора, до сих пор знаю лучше, чем всю флору последующих лет: подорожник, белый клевер, который мы называли кашкой, куриная слепота (было известно: если сок попадет в глаз – ослепнешь; никто, впрочем, не проверял), ромашка, полынь; в канавах лебеда, лопухи, крапива. А во дворе событием стал однажды проросток картофеля у заводского забора: белый, мертвенный, хрупкий.

Недалеко от наших домов в Москву-реку впадала река Вонючка. Я видел это название и на одной городской карте, на всех других река звалась Котловка; сейчас она упрятана в трубу. Эта река действительно благоухала изрядно и каждый день меняла свой цвет: буро-зеленый, буро-желтый, буро-красный. Воду красил кожевенный завод, стоявший повыше.

И все же это была природа, такая же значительная, как настоящие леса, луга, сады и реки, в которых можно было купаться.

Да, удивительней всего, пожалуй, убедиться, что это тоже, оказывается, могло питать душу, что качество этой духовной, так сказать, пищи вовсе не однозначно сказывается на свойствах организма.

Мне вспомнились рисунки детей из концлагеря Терезин. Даже сейчас, когда он превращен в музей, там, кажется, можно сойти с ума. А они рисовали цветы, и солнце, и игры – все, что рисуют дети в другой, нормальной для человека жизни. Воспитатели, поощрявшие их рисовать, надеялись, что они, если выживут, смогут стать полноценными, неискаленными людьми. И, может, не зря надеялись*.

* Совсем недавно я еще раз увидел эти рисунки в Пражском еврейском музее и впервые обратил внимание на возраст рисовавших. Иные 12 – 14-летние рисовали, как рисуют 6 – 7-летние. Может быть, они (не все, но некоторые) оказались задержаны в развитии, и солнце, травы, цветы на их рисунках были попыткой вернуться, остаться в утраченной жизни? Может, правильнее было не приспособливаться к ужасу, а взбун-

Решает все-таки способность души усваивать и перерабатывать внешние впечатления, как перерабатывает организм во что-то полноценное даже скудную телесную пищу. Здесь нет прямой зависимости: чем питаешься – то из тебя выйдет. Если, конечно, не доводить до крайности, за которой начинается рахит, цинга, чахотка и психозы.

Ведь и духовный пейзаж тех лет никак не назовешь полноценным. Мы просто не знали многого и важнейшего в своей культуре. Для детей той поры не существовало даже Достоевского, Есенина, не существовало иконописи и мировой живописи, Пастернака и Манделштама, Цветаевой и Булгакова, Платонова и Бабеля. Ахматову мы знали только по характеристикам ждановского доклада: полумонахиня, полублудница, Зощенко присоединился там же какой-то полуобезьяной; моему тогдашнему пионерскому разумению не совсем было понятно, почему оба оставлены в живых (врагов полагалось расстреливать). Зато в пятом классе мы должны были проходить по учебнику Бабаевского «Кавалер Золотой Звезды» (при всем своем добронравии отличника я этой книги, правда, не прочел до сих пор. Но что-то читал, и почище). Помню, учительница демонстрировала нам образец потешного символизма: «И перья страуса склоненные в моем качаются мозгу». Мы от души ржали, учительница грустно улыбалась: она когда-то любила это. В Музей изобразительных искусств я сходил однажды на выставку подарков Сталину: запомнился бисерный кошелек, изделие безрукой женщины, она вышила его пальцами ног; портрет Сталина, выгравированный на зернышке риса, – его надо было смотреть в микроскоп... Боже, Боже! А песни из репродукторов, а карикатуры в журнале «Крокодил»! А незабываемая первая учительница Мавра Алексеевна – та, что била первоклашек линейкой по пальцам и по «кумполу» (меня, впрочем, не била, я был добронравный).

товаться, даже ценой жизни?.. Нет, это вопрос не к детям концлагеря, они и взбунтоваться не могли; перед их памятью можно только склониться горестно. Это о нас. Наше развитие в самом деле оказалось, пожалуй, задержано или искажено как-то иначе. В каком-то смысле мы долго еще оставались незрелыми.

Что мне запомнилось из ее науки? Два рассказа. Один – про то, как какой-то ее знакомый поднял своего сынишку за голову – и оборвал шейные позвонки, так что мальчик умер. Это засело как практическое знание: нельзя поднимать человека за голову. А второй: как евреи едят лапшу. Она у них длинная-длинная, так что они наматывают ее на что-то вроде колодезного ворота, только поменьше (так я понял), и затягивают постепенно в рот. Этот рассказ, помнится, меня смутил. Потому что про евреев я все-таки немного знал, но никогда не видел ни такой длинной лапши, ни таких приспособлений. Позже я подумал, что так в ее мозгу преобразился слух об итальянских спагетти.

Но вот ведь выучился, кое-что знал даже после нее. Сейчас этому впору удивляться. Насколько мы все-таки зависим в своем развитии от внешних условий?

(Вот сейчас уже появляются воспоминания людей, которые выросли при телевизоре, которым доступна стала литература, не существовавшая для нас. Но она не затронула и их: новые времена – новая бездуховность.)

Конечно, развитие многих из нас оказалось задержано. Интеллигенты в первом поколении, мы не имели наследственных библиотек – свою первую этажерку я заполнил сам. У прежних аристократов, у интеллигентов потомственных сословная и семейная традиция облегчала личный поиск – основные, первоначальные понятия, вкусы, правила были заданы едва ли не от рождения; отсюда ранняя зрелость и Пушкина, и Пастернака. Мне все это пришлось вырабатывать долго, непоследовательно, порой мучительно, все подвергая переоценке.

Но, может, эта потребность в усилении значила для души не меньше, чем доступность пищи? Может, главное было в этом усилении, в этом душевном труде? А вот готовность к нему, наверное, задается отчасти природным устройством, отчасти воспитанием. В семье нам все же привили понятия о честности, совестливости, доброте, труде. И была, в конце концов, классика – первостепенная духовная пища. Были Пушкин и Лермонтов, Толстой и Чехов, и по репродуктору звучала великая музыка.

ПОКОЛЕНИЕ

Я поздно осознал свою принадлежность к поколению, даже как бы сопротивлялся чувству этой принадлежности, как сопротивлялся духу времени, моде. В этом сопротивлении есть, наверно, что-то «неблагочестивое» (слово, которым Томас Манн обозначал позицию священнослужителей, не откликавшихся на потребность времени в религиозном обновлении). Впрочем, время само, помимо моего желания, лепило и лепит меня, мой образ мира.

Поколение – это, между прочим, те, чье сердце откликнется на песенки Утесова или Шульженко, для кого «Под звездами балканскими» или «В лесу прифронтовом» пахнут воспоминаниями, талым снегом, керосиновой лампой, вкусом лекарств, первой влюбленностью. Любители нынешних певцов и ансамблей поймут друг друга через много лет лучше, чем я их.

Или вот это: в 1946 – 1947 годах мальчишки начинали во множестве болеть за «Динамо», самую популярную – после сенсационных гастролей в Англии – футбольную команду; годом позже – за ЦДКА. Болельщиков «Спартака» и «Торпедо» среди моих одноклассников были единицы, их время пришло еще лет через пять. По этой примете можно определять если не возраст, то болельщический стаж.

Я помню, как впервые услышал о баскетболе, – в Белоруссии, в городке Добруш, куда моего отца послали после войны работать на бумажную фабрику. Приятель Марик Веберов, сын портного, приехал из большого города – из Гомеля – и рассказывал про необычную игру, где мяч забрасывают в корзину, висящую на столбе. Я мог понять все, кроме одной подробности: почему у этой корзины не было дна? Уж если забросили – так чтоб не вываливалось, чтоб видно было.

В волейбол у нас уже играли, а баскетбола не видели никогда.

Я помню фантастические рассказы про телевидение. В одном из таких рассказов человек заметил, что за ним следят с помощью телевидения, и разбил подглядывающий объектив. Представление об этом объективе (или экране) было неожиданным, мне казалось, что телевидение – это способность видеть на рас-

стоянии как-то просто так... не знаю. О приборах я не думал.

(Дивный сон о книге с движущимися картинками – он обернулся нынешним ящиком.)

Как будут вспоминать мои дети свой нынешний дом – с телевизором, но без закутков, чердаков, чуланов, крылечек? Квартиру без печки, окна без морозных узоров на стеклах, без ваты и обломков елочных шаров между рамами? Воздушные шары, уже не способные взлетать, – когда-то предмет восторгов и переживаний, тема фольклора и поэзии. «Девочка плачет: шарик улетел». Теперь это из кино – почему-то нынешние шары у нас не летают.

Может быть, какое-то следующее поколение, поколение бескнижной, электронно-компьютерной цивилизации, уже вообще не сможет нас понять. Да мы будем ему и не очень интересны.

Возможно, наше поколение останется последним, которое пережило войну и застало конечную фазу кровавой диктатуры.

Помните, сверстники, как прятались в бомбоубежище, как по военным московским улицам женщины вели огромные колбасы-баллоны с газом для аэростатов воздушного заграждения? Этих аэростатов было много в вечернем небе над химзаводом имени Карпова. Помните газеты, которыми были оклеены стены? Те, что над кроватью, читаны–перечитаны, прямо и вверх ногами: поздравления товарищу Сталину с 70–летием, речь товарища Вышинского на Генеральной ассамблее ООН, военные действия в Корее, футбольный матч «Динамо» – ЦДКА – здесь нижний край был оборван, открывалась грязно-желтая, в клопидных точках, фанера... с каким же счетом закончился матч?..

Помните хлебные карточки, очереди, хлеб с довесками? Как-то Марик Веберов, придя ко мне, упал в обморок – от голода. Мы-то сами не голодали.

Я помню, как к нашему дому приходили нищие – не те нищие, которых встретишь теперь в электричке, пухлые от запоя инвалиды, а настоящие, они благодарили за горбушку хлеба; я видел, как они потом перебирали, вынув из мешка, черствые, заплесневелые сухари. Это была настоящая нужда, настоящий голод. Иногда находилось для них и что-нибудь из вещей. Остаток рубахи, тряпицу, годную к употреблению, – все брали с благодарностью. Сла-

ва Богу, теперь не побираются ради куска.

В Добруше был лагерь для военнопленных немцев, их водили на работы. Они раскрасили фабричную Доску почета под мрамор – не отличишь от настоящего – и, как рассказывали, умели делать замечательные кольца из тюбиков для зубной пасты. Я иногда смотрел, как они под охраной играли в футбол на фабричном стадионе. Это была потеха: стукнет по мячу – и сам падает. От слабости, как я понял потом. Однажды я столкнулся с ними по пути из магазина, где только что выстоял с карточками долгую очередь за хлебом. Группу вела низкорослая женщина с винтовкой, пленные шли нестройной толпой, и такой у них был жалкий вид, что помню свою презрительную мальчишескую мысль: «Вояки! А весь мир покорить хотели!» Один, поравнявшись со мной, жалобно попросил: «Брот, брот! Хлеба!» И я ему кинул маленький довесочек.

Я-то под немцами не жил, враги были для меня абстракцией, и ненависть к ним была отвлеченной.

А несколько лет спустя на станции Лосиноостровская, куда мы к тому времени переселились, я видел других заключенных: на путях остановился состав с зарешеченными товарными вагонами. Из-за решеток смотрели лица, и я смотрел на них с любопытством. Преступники. Уголовники. Представление об иных заключенных тех лет в моем сознании отсутствовало начисто – родители сумели отгородить меня от этого знания. Сейчас даже удивительно, как это удалось – им, школе, обществу.

Наша ностальгия по детству отравлена нечистой совестью. Когда мои сверстники, а тем более люди постарше перебирают сладостные московские впечатления о первом послевоенном мороженом или о «микояновских» творожках в лубяных коробках, пионерские восторги и мечты о полюсе – трудно теперь отвлечься от мысли, что в то же время, в те же дни, часы и ночи, почти по соседству, люди страдали и умирали от пыток, истощения, голода, издевательств.

Я помню, как с удовольствием принял известие об аресте врачей. «Берия взялся за дело», – сказал я, мальчик, читавший газеты и знавший, что Берия только что объединил под своей влас-

тью МГБ и МВД. Я не понял тревоги мамы – она только покачала головой и проговорила: «Что теперь будет?»

Мне было пятнадцать с небольшим, и я мог бы сказать с полным правом, что ничего не знал, ничего не понимал. Даже в семьях, где были арестованные, ухитрялись держать детей в неведении. В каком же смысле можно говорить сейчас о своей вине, об ответственности поколения за происходившее при нас?

Ссылка на неведение в таком возрасте вряд ли может все объяснить. Чтобы настолько ничего не замечать и ни о чем не задумываться, нужны были какие-то личные качества: несмелость ума, податливость совести, бессердечность, жестокость, трусость; тут уж не отвертеться. Разве не бессердечным (по меньшей мере) было мое удовлетворение арестом врачей? И постыдней незнания – что при виде арестантов не шевельнулось у меня ни жалости, ни сочувствия; любопытство, с каким я на них смотрел, было холодным, отчасти брезгливым; было жестокое чувство справедливости происходящего и своего превосходства: я-то был не преступник.

Не говорю о старших своих современниках, которым стоило бы глубже копнуть подоплеку своей бесспорно имевшей место искренности и убежденной веры. Не говорю о варианте откровенной подлости, лживости, трусости, шкурничества. Но с какого-то возраста и наше детское алиби перестает срабатывать.

Однажды ночью в нервном отделении Морозовской больницы, где я лежал с туберкулезным менингитом, поднялся необычный переполох, от которого я проснулся. Мимо наших стеклянных боксов проносили новенького мальчика. Его сопровождала мать, молодая яркая дама, и отец, особенно мне запомнившийся: очень маленький, в мундире серо-стального или мышиного цвета, с безжизненно-серым, каким-то ночным при свете включившихся ламп, ничего не выражающим и в то же время пугающим лицом. Такое лицо я видел единственный раз, но потом не раз представлял его, когда слышал о лицах ночных людей из МГБ. Он был оттуда. Мальчика срочно привезли с подозрением на серозный менингит. Диагноз не подтвердился, на другое утро его от нас перевели. Все очень хвалили спокойствие и достоинство, с каким дер-

жалась наш дежурный врач Вера Васильевна.

Это был 1949 год. Я написал в больничную стенгазету стихи к 70-летию Сталина. Спасибо Вам, товарищ Сталин, за то, что каждый день и час всегда Вы думаете и всегда заботитесь о нас.

В соседнем боксе лежала тринадцатилетняя девочка, больная хореей. Во время припадков она раздевалась догола – я смотрел на нее через стеклянную перегородку, на ее начавшую развиваться грудь, новое непонятное любопытство томило меня...

Но тут уже другая тема.

1976 – 1988

АНКЕТА МАРСЕЛЯ ПРУСТА

ШТРИХИ К АНКЕТЕ

Уже несколько лет я с интересом просматриваю анкету, которая публикуется в еженедельном приложении к немецкой газете «Франкфуртер альгемайне». Она известна как «Анкета Марселя Пруста», хотя великий француз был далеко не первым, кто принял участие в этой популярной салонной игре прошлого века. Сам подбор вопросов, кстати, отмечен духом этого века: что вы считаете счастьем, а что несчастьем, кем вы хотели бы быть, какие черты особенно цените в мужчине и женщине, какой недостаток кажется вам самым простительным, кто ваши любимые герои и героини в жизни и в литературе, где вы хотели бы жить и как вы хотели бы умереть, ваш любимый художник, композитор, поэт, писатель, ваше любимое имя, ваш любимый цвет, цветок, птица? – и в том же роде.

Что впечатляет, пожалуй, больше всего – так это бесконечное разнообразие ответов. Редкие бывают хоть отдаленно схожи. Среди называемых композиторов, поэтов, художников множество таких, о которых я, например, никогда и не слышал. Анкета напоминает об ограниченности любого отдельного опыта. Она свидетельствует о том, что нет единственно «правильных», единственно «высоких» вкусов, единственно «правильных» взглядов и представлений, «правильного» образа жизни – как нет «правильного», единственно красивого типа лица и «правильной» фигуры.

(Вспоминается другая анкета, верней, психологический тест времен моего детства: на вопросы надо было отвечать сразу, не задумываясь. «Великий русский поэт?» – «Пушкин!» Это выпаливалось автоматически едва ли не всеми, как отзыв на пароль, под-

тверждая лишь силу прочно вдолбленных стереотипов. Да ведь, кстати говоря, в тогдашней, отгороженной от мира жизни мы просто и не могли знать многих имен. И как нам было отвечать на вопрос: «Где бы вы хотели жить?» – если мы не видели других стран и городов, просто не представляли реально других возможностей жизни?)

Но вот что меня всегда занимало особенно: существует ли между ответами одного человека какая-то взаимосвязь, характеризующая его личность, темперамент, свойства ума? Иными словами: закономерно ли соотносятся между собой литературные, музыкальные, человеческие пристрастия и предпочтения, а все вместе – с представлением, скажем, о счастье и несчастье, о недостатках и достоинствах? Составляется ли из этих ответов, как из фрагментов мозаики, какое-то неслучайное целое?

Сходными вопросами задавался в свое время герой моего романа, пытавшийся по разрозненным фантикам составить представление о личности и судьбе незнакомого человека. «Всякий ли нос ко всякому ли подбородку приставишь?.. А если уж соединился такой нос с таким подбородком, то это определяет устройство гортани, а может, и пищевода, зубов и желудка».

Ответы уклончивые, шутливые, неполные, неискренние – в любом случае они что-то скажут о человеке, даже помимо его воли. Даже нежелание или неспособность отвечать могут быть по-своему красноречивы. Меня, например, иные вопросы ставят в тупик. Каков, скажем, мой любимый цветок? Перебираю в уме: все по-своему нравятся. Зависит иногда от букета, от обстоятельств. Любимое имя? Я помню, как долго мы выбирали имена своим детям – но, остановившись на одном, тотчас к нему привыкали, оно связывалось с конкретным, именно этим человеком, я любил теперь это имя вместе с ним.

Но, может, эта неотчетливость пристрастий тоже по-своему меня характеризует – и связана с некоторыми другими моими чертами? С моей нелюбовью, например, к «жесткой» одежде, к стоячим воротничкам, к заскорузлой складке, с тем, что я пред-

почитаю пиджаку – мягкую куртку, а чемоданчику-«дипломат» – сумку, которую можно смять и засунуть в карман?..

Хотя о вкусах в одежде не мне рассуждать. Неумение быть модным лишь отчасти связано со свойствами характера – больше с обстоятельствами жизни. С детства мне слишком часто приходилось носить одежду, покупаемую на вырост, и до сих пор я неохотно расстаюсь со старыми вещами, если их еще можно носить.

Странное опять же дело: никак не получается ответить кратко и однозначно, все тянет оговориться, взглянуть с одной стороны, с другой... Тоже характеризующая черта.

Скажем, что я думаю о своих недостатках? Как-то взялся их у себя перебирать: оказалось, мне присущи едва ли не все воображаемые, хотя и в разной степени. Кроме, пожалуй, глупости – но кто всерьез жаловался на свой ум? Разве что из кокетства. Если не считать патологических отступлений от нормы, абсолютно глупых людей, может быть, вообще нет. Можно быть недовольным своей памятью или математическими способностями – это другой разговор. Можно быть не способным к какой-то сфере деятельности, но оказаться весьма способным в другой. В уходе за животными своего стада, например. Или в домашних, семейных делах. «Чтобы иметь детей, кому ума не доставало?» Вот именно.

Глупость – свойство скорей социальное, чем индивидуальное. Глупеет человек в толпе, поддавшейся демагогии идеолога. Глупеет всякий, позволивший идеологии подменить собственный ум, опыт, здравый смысл. Глупеет человек, оказавшийся не на своем месте, занятый не своим делом.

А вообще, в каждом из нас заложены, наверное, зачатки всех мыслимых человеческих свойств. (Писатель – тот уж просто обязан знать любую человеческую слабость по самому себе.) В заскоках воображения ты способен видеть себя насильником, тираном, вором, предателем – да кем угодно. И если не становишься им, то просто ли потому, что не представилось возможностей?

(Так можно приставить к туловищу одного существа голову другого и ноги третьего, тогда возникнет химера, гротеск, отве-

чающий комбинаторной способности человеческого ума. Но любой ли поворот в любой ли судьбе можно вообразить? Или зародыш судьбы до какой-то степени уже заключен во внутренней сути, в структуре личности каждого? – а обстоятельства лишь позволяют или не дают ей реализоваться?)

Известен эксперимент, показывающий, что определенный (весьма небольшой) процент подопытных животных реагирует на чужие страдания и стремится их прекратить. Животные способны и к самопожертвованию ради других; эта способность генетически запрограммирована, она служит сохранению рода – только ею тоже не все наделены в равной мере.

Люди от природы бывают более или менее чувствительны, совестливы, агрессивны. Даже, может быть, более или менее предрасположены к счастью. И попробуй пойми почему.

Не это ли чувство внутренней предрасположенности заставляет нас с интересом прислушиваться к версиям о прошлых существованиях. «Кем вы были в прошлом рождении?» – кому-то, возможно, показалось бы нелишним дополнить анкету и таким вопросом.

1988 – 1994

МОЯ ПРОВИНЦИЯ

Вопрос анкеты: *Где бы вы хотели жить?*

Сначала имеет смысл разобраться: а где я живу? То есть как где? Конечно, в Москве. Но что значит для меня этот многомиллионный, многокилометровый город, в незнакомых кварталах которого я, как любой приезжий, спрашиваю дорогу, а в большинстве районов, даже на многих станциях метро, вообще никогда не бывал? Я этой Москвы не знаю, не воспринимаю. Москва для меня – окрестности моего дома, прекрасный Ростокинский акведук, Лосиный остров, в котором я стараюсь гулять каждый день, зимой и летом. Большинство москвичей не узнают по этим приметам своего города, как я не узнаю их.

Ну, конечно, есть общий для всех Кремль, есть соборы, театры, музеи, река – я восхищаюсь ими, показывая город приезжим гостям. Этот город мне нравится. Но я в нем не живу. В театрах и музеях я бываю не чаще иных приезжих, и Кремль воспринимаю на ходу, рассеянно, попутным, привычным взглядом. Так проходит, наверно, римлянин в магазин мимо Колизея.

По складу характера я не человек мегаполиса, которому нравится многолюдье, атмосфера кафе, напряженность культурной или деловой жизни. Я предпочел бы жить в небольшом благоустроенном городке, близ леса, но чтобы при желании от дома легко было добраться до концертного зала, до друзей, до редакции или издательства, от которых зависит мой заработок, в городке обзримом, соизмеримом с человеческим масштабом.

Близкими к идеалу мне иногда казались некоторые маленькие городки на Западе.

А за недостижимостью идеала я выделил себе провинцию в окрестностях своего дома, где живу на свой лад, чаще гуляя по лесу, чем выезжая в Москву.

25.1.1992

ОПЫТ СМЕРТИ

Вопрос анкеты: *Как бы вы хотели умереть?*

1

Раз-другой в жизни я как бы примерял смерть – и не помню страха.

Однажды во время игры в городки чьей-то сорвавшейся битой мне угодило в висок. Я понял это, лишь когда очнулся. Даже боли не успел почувствовать, но четко помню, как подумал: ну вот я и умираю. Затихал гул – как будто удалялся самолет, потом я открыл глаза, увидел над собой перепуганное лицо приятеля. Он был мне так благодарен за то, что я остался жив.

Было беспамятство от наркоза при операции. Вполне мог бы после нее не проснуться – легкая смерть.

Однажды я плавал в шторм, огромная волна вдруг захлестнула меня, увлекла вглубь, перевернула. Я помню, как подумал безо всяких отчетливых чувств: только бы не стукнуло головой о камень. Накануне на соседнем пляже разбился и утонул один военный.

А потом долго еще томился по испытанному тогда ощущению, по растянутому мигу, когда меня охватила, влекла и переворачивала страшная и в то же время нежная сила, с шершавыми бурлящими пузырьками по коже...

Но нет, это все как бы еще ненастоящее. Что мы можем на самом деле знать об этих мгновениях, когда ты – лишь поле борьбы небытия с бытием, и даже не совсем уже ты, вот что главное?

Но ведь, в конце концов, все с этим справлялись.

Писательское желание: умереть так, чтоб можно было осознать и описать миг перехода.

2

Говорят, никому не дано правдиво описать смерть: все будет умственная реконструкция. Но вот как это делает Платонов:

«...Никакой смерти он не чувствовал – прежняя теплота тела была с ним, только раньше он ее никогда не ощущал, а теперь будто купался в горячих обнаженных соках своих внутренностей... Наставник вспомнил, где он видел эту тихую горячую тьму: это просто теснота внутри его матери, и он снова всовывается меж ее расставленными костями, но не может пролезть от своего слишком большого старого роста... Видно было, что ему душно в каком-то узком месте, он толкался плечами и силился навсегда поместиться» («Происхождение мастера»).

Или в «Чевенгуре»:

«Дванов увидел вспышку напряженного беззвучного огня и покатился с бровки на дно, как будто сбитый ломом по ноге. Он не потерял ясного сознания и слышал страшный шум в населенном веществе земли, прикладываясь к нему поочередно ушами катящейся головы... Он сжал ногу коня обеими руками, нога превра-

тилась в благоуханное тело той, которой он не знал и не узнает, но сейчас она ему стала нечаянно нужна. Дванов понял тайну волос, сердце его поднялось к горлу, он вскрикнул в забвении своего освобождения и сразу почувствовал облегчающий удовлетворенный покой. Природа не упустила взять от Дванова то, зачем он был рожден в беспамятстве матери: семя размножения, чтобы новые люди стали семейством. Шло предсмертное время – и в наваждении Дванов глубоко возобладал Соней. В свою последнюю пору, обнимая почву и коня, Дванов в первый раз узнал гулкую страсть жизни и нечаянно удивился ничтожеству мысли перед этой птицей бессмертия, коснувшейся его обветренным трепещущим крылом».

Правда ли это? Тут больше, чем правда. Такого не мог бы рассказать сам вернувшийся к жизни Дванов.

Или вот: «Мир тихо, как синий корабль, отходил от глаз Афонина: отнялось небо, исчез бронепоезд, потух светлый воздух, остался только рельс у головы. Сознание все больше сосредоточивалось в точке, но точка сияла спрессованной ясностью. Чем больше сжималось сознание, тем ослепительней оно пронизало в последние мгновенные явления. Наконец сознание начало видеть только свои тающие края, подбираясь все большее к узкому месту, и обратилось в свою противоположность» («Сокровенный человек»).

С этим можно сравнить только вершины Фолкнера:

«Он был еще жив, когда начал падать с седла. Сперва он услышал грохот, а еще через миг понял, что, вероятно, почувствовал удар, прежде чем услышал выстрел. И тут обычное течение времени, к которому он привык за тридцать три года своей жизни, нарушилось. Ему показалось, что он ударился о землю, хотя он знал, что еще не долетел до нее, еще падает, а потом он перестал падать, очутился на земле и, вспомнив все раны в живот, какие ему довелось видеть, подумал: «Если я сейчас не почувствую боль, значит, конец». Он жаждал почувствовать ее и никак не мог понять, почему она медлит. Потом он увидел провал, бездну где-то

над тем местом, где должны быть его ноги, и, лежа на спине, он видел, как через эту бездну тянутся оборванные и спутанные провода нервов и чувств, слепые, как черви, тоньше волоса, они ищут друг друга, чтобы снова соединиться, срастись. Потом он увидел, как боль, словно молния, прочертила пустоту. Но она пришла не изнутри, а откуда-то извне, из такой знакомой, уходящей от него земли. «Постой, постой, – прошептал он. – Подступай потихоньку, не вдруг, тогда я, может быть, тебя вынесу. Но она не желала ждать. Она с ревом обрушилась на него, подбросила его и скорчила... И тогда он вскрикнул: «Скорей! Скорей же!» – глядя из кровавого рева вверх, на лицо, с которым его навеки связал, сочетал этот выстрел» («Деревушка»).

Сравним это с описаниями классиков прошлого века. Вот Толстой:

«И вдруг ему стало ясно, что то, что томило его и не выходило, что вдруг все выходит сразу, и с двух сторон, с десяти сторон, со всех сторон... Он искал своего прежнего привычного страха смерти и не находил его. Где она? Какая смерть? Страху никакого не было, потому что и смерти не было.

Вместо смерти был свет.

– Так вот что! – вдруг вслух проговорил он. – Какая радость!

Для него все это произошло в одно мгновение, и значение этого мгновения уже не изменялось. Для присутствующих же агония его продолжалась еще два часа» («Смерть Ивана Ильича»).

А вот как умирает чеховский врач:

«Андрей Ефимыч понял, что ему пришел конец... Стадо оленей, необыкновенно красивых и грациозных, о которых он читал вчера, пробежало мимо него; потом баба протянула к нему руку с заказным письмом... Сказал что-то Михаил Аверьяныч. Потом все исчезло, и Андрей Ефимович забылся навеки» («Палата № 6»).

Чувствуется, что Чехов и Толстой все-таки люди рационального, естественно-научного века; век, к которому принадлежали Платонов и Фолкнер, уже больше знал о кошмарах и образах бессознательного и о том, как их выразить. Этому веку дано, может быть,

подойти к какому-то великому синтезу; он его пока не осилил, но вспышки иногда пробиваются.

Я знаю единственную писательскую попытку описать опыт собственного умирания: Василий Розанов, как добросовестный исследователь, пробует диктовать и просит записывать свой предсмертный бред: «От лучинки к лучинке. Надя, опять зажигай лучинку, скорее, некогда ждать, сейчас потухнет. Пока она горит, мы напишем еще на рубль. Что такое сейчас Розанов? Странное дело, что эти кости, такими ужасными углами поднимающиеся, под таким углом одна к другой, действительно говорят об образе всякого умирающего... Все криво, все негибко, все высохло... Мозга, очевидно, нет, жалкие тряпки тела... Тело покрывается каким-то странным выпотом... Это именно мертвая вода...»

1966 – 1988

ПРИСТРАСТИЯ

Ваш любимый писатель?

Даже если бы я не называл имен, мои пристрастия будут очевидны из всего, что здесь написано. Ну, конечно, Мандельштам, Платонов, Фолкнер. Конечно же, Пушкин, Гоголь, Достоевский...

Но почему, интересно, выходит: если Достоевский – то уже не Толстой?

Сопоставление – и почти неизбежное противопоставление этих имен давно стало общим местом. Это уже как тест, говорящий не столько о классиках, сколько о самом пишущем: по характеру предпочтений можно судить о некоторых свойствах личности.

(Так почему-то парами существуют для нас, кстати, Пастернак и Мандельштам, Цветаева и Ахматова. Или у немцев Гете и Шиллер.)

В разные годы для меня больше значил то один, то другой. Достоевского я просто узнал позже, уже в институтские, сравнительно зрелые годы. До этого он у нас просто не издавался. Мо-





жет, потому я обращаюсь к нему теперь чаще и нахожу в нем для себя больше.

Может, мне оказалось ближе мироощущение человека без семейного предания. А может быть, дело в том, что при всем величии Толстого он представляется мне более умпостижимым: кажется, что, сосредоточившись или поднатужившись, ты сам бы мог до чего-то подобного дойти. В Достоевском есть что-то принципиально для меня недоступное, непостижимое.

Впрочем, стоило бы, наверное, отдельно говорить о творчестве Толстого и о его личности. Дожив до 82 лет, он вместил в себя едва ли не все, доступное человеку, в том числе бездны мрачайшие. Нет ничего нелепей, чем изображать из себя последователя Толстого: как можно сопоставлять себя с этой противоречивой полнотой, с этой безмерной сложностью? Результат бывает жалким до комизма. Софья Андреевна в своих «Ежедневниках» рассказывала о толстовце-румыне, который под впечатлением «Крейцеровой сонаты» оскотил себя – и, наведавшись потом в Ясную Поляну, был потрясен, убедившись, насколько сам его кумир не укладывается в рамки собственной проповеди.

В зависимости от поворота взгляда можно увидеть у Достоевского гипертрофированное развитие того, что Толстому представлялось частным случаем, болезненным исключением среди нормальной, всем очевидной жизни. Но можно увидеть и у Толстого предельное исследование лишь одной духовной возможности, одной идеи, частной для Достоевского.

Может быть, потому Достоевский смог написать сочувственную статью об «Анне Карениной», а Толстой ограничился лишь известным брезгливым замечанием об ущербности героев Достоевского.

Толстому не хватало у Достоевского ясности, здоровья, простоты. А Достоевский, отдавая должное величю «Войны и мира», писал Страхову: «Явиться... с «Войной и миром» – значит явиться после... *нового слова*, уже высказанного Пушкиным, и это *во всяком случае*, как бы далеко и высоко ни пошел Толстой в развитии уже сказанного в первый раз, до него, гением нового слова».

Толстой довел до вершины повествовательные возможности XIX века. Он не хуже Фрейда ощущал и темные глубины подсознательного, иррационального, *libido*, но сам в них не погружался, оценивая и описывая все с позиций отстраненного, рационального здравого смысла. Про себя он знал о жизни, думается, несравненно больше, чем мог или считал возможным выразить: сам его литературный инструментарий не был приспособлен для описания некоторых вещей.

Достоевский оказался, пожалуй, более созвучен будущему веку. Толстой в большей мере принадлежит прошедшему. Он, в частности, довел до предела рационалистическое убеждение этого века, что все нужно (и можно) проверить критерием самоочевидной логики. Даже религия его и этика вполне рациональны. Я довольно поздно узнал его знаменитую запись в дневнике 5 марта 1855 года о возможности посвятить жизнь основанию «новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической».

Религия «без веры и тайны», на одном лишь практическом здравом смысле: век не видел в этом *contradictio in subjecto*; не видел и высший выразитель века – Лев Толстой.

1978 – 1988

«ЛОШАДЬ В ОДНОКОННОЙ УПРЯЖКЕ»

Ваш любимый герой?

На немногие вопросы анкеты я мог бы ответить так же уверенно и однозначно, как на вопрос о наиболее близкой, ценимой мною в мировой истории личности, иначе говоря, о человеческом образце. Уже много лет – и неизменно – для меня это Альберт Эйнштейн.

Казалось бы – почему именно он, гений науки, мне, в общем-то, недоступной? Но дело ведь не в науке и не в гениальности. Я готов лишь вчуже восхищаться, например, Альбертом Швейцеров, сознавая, что даже в мыслях не могу себя с ним сравнивать.

Чтобы бросить все прежнее ради некоей идеи, а потом выдерживать многолетнюю подвижническую жизнь в тропиках, соответствовать представлениям, не позволяющим убить ненароком даже комара... – нет, для всего этого надо было обладать качествами, превосходящими обычные человеческие, мне, во всяком случае, недоступными. Ведь даже близкие Швейцеру люди, искренне желавшие быть рядом с ним, долго этой жизни выдержать не смогли – морально и просто физически.

В Эйнштейне же – при всей его гениальности – столько близкого мне и понятного. Эта житейская неприхотливость, это нежелание зависеть от вещей, готовность обходиться минимумом в одежде и обуви, это безразличие к деньгам, к славе, вообще к внешним обстоятельствам жизни...

Я испытываю странное удовлетворение при мысли, что именно такой человек совершил величайшее открытие века, изменившее наши представления о самом мироздании, и в результате оказался достаточно рано избавлен от забот о хлебе насущном, без горечи и ненужных испытаний оставаясь всю жизнь самим собой. Он вызвал бы мое восхищение независимо от научных достижений. И все-таки хорошо, что именно он создал теорию относительности. Есть тут какая-то высокая справедливость – редкая в нашей жизни.

Странно выглядит автобиография, которую Эйнштейн написал незадолго до смерти. (Он сам не без иронии назвал этот текст «некрологом».) Здесь нет обычной родословной, не приведены даже имена родителей и дата собственного рождения; лишь однажды вскользь упомянуто, что он еврей. Говорится с первых же строк о проблемах прежде всего научных и философских – главные события для него происходили в области духа.

Долгое время его мало интересовала государственная и национальная принадлежность. Он был гражданином Германии, потом Швейцарии, потом снова Германии. «Не имеет значения, где ты живешь... – писал он Максу Борну. – Я нигде не пустил глубоких корней... Сам беспрестанно скитаюсь – и везде как чужак... Идеал для такого человека, как я, – чувствовать себя дома везде, где со мной мои родные и близкие».

То, что он еврей, помогли ему ощутить, по словам самого Эйнштейна, «больше неевреи, чем евреи». Не принадлежавший ни к какой конфессии или религиозной общине, противник любого национализма, он поддержал, однако, сионистское движение, увидев в нем единственное убежище для гонимых. Проблема трагически обострилась, когда в 1933 году он вынужден был покинуть страну, где родился, чтобы уже не вернуться в нее никогда. Впоследствии он не желал, чтобы даже его труды выходили в Германии, – «из чувства еврейской солидарности».

Стал ли он своим в Соединенных Штатах, стране, где получил приют и удостоился всевозможных почестей? «Вот уже семнадцать лет, как я живу в Америке, – читаем мы в одном из его писем, – но дух этой страны остался мне совершенно чуждым. Надо избегать опасности стать поверхностным в мыслях и чувствах, а эта зараза здесь носится в воздухе».

До конца дней этот подлинный гражданин мира ощущал себя одиноким во времени – по отношению к поколениям предков, и одиноким в пространстве – по отношению к любой стране. Но не свидетельствует ли такое одиночество о высшей степени личной свободы, олицетворением которой Эйнштейн представляется мне во всем: в жизни, в научной деятельности, в общественно-политической активности, которая становилась порой вынужденной, ибо для все большего числа людей он оказывался воплощением совести, духовной и просто житейской опорой в трагических перипетиях эпохи?

«Страстный интерес к социальной справедливости и чувство социальной ответственности, – писал Эйнштейн, – противоречили моему резкому предубеждению против сближения с людьми и человеческими коллективами. Я всегда был лошадью в одноконной упряжке и не отдавался всем сердцем своей стране, государству, кругу друзей, родным, семье. Все эти связи вызвали у меня тягу к одиночеству, и с годами стремление вырваться и замкнуться все возрастало. Я живо ощущал отсутствие понимания и сочувствия, вызванное такой изоляцией. Но я вместе с тем ощущал гармоническое слияние с будущим. Человек с таким характером теряет часть своей беззаботности и общительности. Но эта поте-

ря компенсируется независимостью от мнений, обычаев и предрассудков и от искушения строить свое душевное равновесие на шаткой основе».

Он ведь и в науке шел путем одиноким, вырываясь из устоявшихся представлений. И надо отдать себе отчет, какого интеллектуального, духовного, да просто человеческого мужества потребовал этот прорыв мысли, какой внутренней свободы от господствующих авторитетов, от привычного, казавшегося единственно верным взгляда на мир. А когда теория относительности стала получать блестящие подтверждения, он уже был занят другим поиском, который потребовал многолетних усилий и который сам Эйнштейн назвал в одном из писем «бесплодным», – попыткой создать единую теорию поля. Уже после смерти Эйнштейна стало все чаще звучать мнение, что он и в этой области предвосхитил многие позднейшие догадки. Ну, а если бы, допустим, нет? Разве не остался бы этот человек для нас тем же образцом духовного, интеллектуального мужества и верности себе, достойным восхищения искателем истины?

«Нет ни одной идеи, относительно которой я был бы убежден, что она выдержит испытание временем, – писал Эйнштейн в 1949 году М. Соловину. – Я вообще не уверен, что нахожусь на правильном пути, и в глубине души недоволен собой. Да иначе и быть не может, если ты обладаешь критическим умом и честностью, а чувство юмора и скромность позволяют не терять равновесия вопреки внешним воздействиям».

Какими понятными и близкими кажутся мне эти слова о чувстве юмора и скромности! Или те, где Эйнштейн формулирует свое этическое кредо: «Что должен делать каждый человек, это давать пример чистоты и иметь мужество серьезно сохранять этические убеждения в обществе циников. С давних пор я стремлюсь поступать таким образом – с переменным успехом».

Наука для такого человека означала отнюдь не только профессию, занятие среди прочих. Его отношение к ней можно назвать в каком-то смысле религиозным. Зарабатывать на жизнь Эйнштейн предпочел бы чем-то другим – стоит вполне всерьез отнестись к его желанию стать, например, смотрителем маяка. Наука влекла

его возможностью чистойшей, ничем не замутненной свободы. «Как и Шопенгауэр, я прежде всего думаю, – писал он в речи к 60-летию Макса Планка, – что одно из наиболее сильных побуждений, ведущих к искусству и науке, – это желание уйти от будничной жизни с ее мучительной жестокостью и пустотой, уйти от уз вечно меняющихся собственных прихотей... Но к этой негативной причине добавляется позитивная. Человек стремится каким-то адекватным способом создать в себе простую и ясную картину мира; и не только для того, чтобы преодолеть мир, в котором он живет, но и для того, чтобы в известной мере попытаться заменить этот мир созданной им картиной. Этим занимаются художник, поэт, теоретизирующий философ и естествоиспытатель, каждый по-своему... Душевное состояние, способствующее такому труду, подобно чувству верующего или влюбленного».

Что до религии как таковой, то Эйнштейн как-то сказал, что верует в Бога Спинозы, который являет себя в гармонии всего сущего, но не в Бога, который возится с поступками людей, награждает и наказывает. «Я не хочу и не могу также представить себе человека, остающегося в живых после телесной смерти, – что за слабые души у тех, кто питает из эгоизма или смешного страха подобные надежды... Мне достаточно испытывать ощущение вечной тайны жизни».

Незадолго до смерти он назвал себя в одном из писем «глубоко религиозным неверующим». В смысл этих слов стоит вникнуть. Ибо этот человек в самом деле был, как немногие, причастен к некой великой тайне.

1989

ЛЮБИМЫЙ ЦВЕТ

Вопрос анкеты: *Ваш любимый цвет?*

Раньше я ответил бы: голубой, но не ярко-голубой, а сдержанный, приглушенный, цвета скорей северного, чем южного неба. Помню, как после фресок Дионисия в Ферапонтовом монастыре чересчур кричащими, яркими показались мне свежие краски в ярославских церквях. Я вообще предпочитал цвета «благородно»

сдержанные, сам не носил ничего яркого.

Но с некоторых пор я стал замечать у себя какую-то потребность именно в яркости, цветастости, праздничности. Мой глаз радуют разноцветные костюмы лыжников в монотонном зимнем лесу, радуют даже краски цветного телевизора. Как будто надо восполнить некий внутренний авитаминоз интенсивностью внешней энергии.

(Ю. Даниэль рассказывал, как в тюремной камере ставил перед собой сигаретный коробок с ярко-красным кантом – для радости глаз. Так устраивал праздник глазам в моем романе о двух Иванах многолетний узник Агасфер, разложив перед собой лоскут в красно-зеленых узорах.)

Может, так должно компенсироваться возрастное увядание? Но нет, обычно яркие краски любят как раз в юности, с возрастом вкус становится строже.

У меня по части красок наоборот. Я вдруг стал болезненно ощущать, как серы и однотонны наши города, как все бедней красками и праздниками жизнь. И, точно животное, тянущееся инстинктивно к целебной травке, лижущее языком соль, когда ее не хватает, раскрываю альбом Шагала или Ван Гога, наслаждаюсь, исцеляюсь, пирую.

20.12.1991, 29.11.1994

ЗАВИСТЬ

Вопрос анкеты: *Кем бы вы хотели быть?*

В юности хочется быть всем: героем, любовником, мыслителем, поэтом, путешественником, силачом, святым, авантюристом, аскетом, гурманом. Жизнь, судьба оказываются процессом сосредоточения, отсекаания возможностей.

И все же порой ловишь себя на желании оказаться кем-то, кому дано то, чего не дано тебе. Любым, кому на миг позавидуешь. Но лишь на миг. Ибо в следующее мгновение осознаешь, что в лю-

бом другом облике, на любом другом месте будешь ничуть не счастливее – и не избавишься от неудовлетворенности.

Хотя бы потому, что, будь ты миллионер, шейх, повелитель мира с неограниченными внешними возможностями, – у тебя, увы, останутся всего два глаза, которыми ты можешь впитывать лишь что-то одно в любой данный момент; два уха, которым дано вбирать лишь эти, но уже не другие звуки, и, увы, всего один рот, которым ты можешь одновременно вкушать только одно яство. Ну, допустим, запивая его еще вином, прекраснейшим, лучшим в мире, – но как отвлечься от желания попить еще и коньячку? Не смешивать же. Точно так же по причине несовершенного телесного устройства ты можешь быть одновременно всего лишь с одной красавицей – на большее просто не хватит органов.

Ах, ну да, конечно, при неограниченных возможностях ты можешь иметь все это постоянно, многократно, бесконечно разнообразно. Коварство жизни в том, что у нее тут уже наготове другие ограничители.

16.8.1989

АПОФЕОЗ

Предел желаний
Когда их можно осуществить в любой момент
Окунуться в море
Нет скатиться на лыжах с горы
Съесть арбуз
А впрочем лучше выпить
Немедленно заключить в объятия желанную
Пожалуйста
А потом уединиться чтобы не докучал никто
Не видеть даже близких
Не тосковать о невозможном
Не томиться не искать
Апофеоз скуки

26.1.1992

УРОКИ СЧАСТЬЯ

Вопрос анкеты: *Ваше представление о счастье? Какое мгновение вашей жизни вы назовете счастливым?*

Пытаюсь в замешательстве вспомнить – перебираю в первом для всех ряду. Мгновения любви?.. Рождение ребенка?.. Творческая удача?.. Общие места. Мгновений – именно мгновений было немало...

Вот почему-то мелькнуло: открылась дверь автобуса, я увидел на освещенной электричеством зимней остановке женщину с тортом в руке, она, согреваясь, пританцовывала и чуть поворачивалась в ритме вальса, прижав круглую коробку к животу, под фонарем светились снежинки. И прежде чем дверь снова захлопнулась, я ощутил...

Или утром – проснулся еще в предрассветных сумерках, за открытым окном щебечут птицы, рядом спит жена, за стеной в разных комнатах сопят, досматривая сны, мои дети, посвистывает носом собака...

Я чувствую, что искать надо здесь, среди прозрений самой обычной жизни.

Поразительней всего это сделал в любимом мною стихотворении Пастернак. Там человека привезли в больницу, видимо, с инфарктом, и он, приготовившись умирать, глядит на освещенную закатом стену:

О Господи, как совершенны
Дела твои, – думал больной.

Поразительно это тем более, что, по рассказам переживших инфаркт, это состояние бывает связано с чувством тоски и страха, чувством физиологическим, неподвластным контролю воли и разума, возможно, обусловленным выделением каких-то веществ. Но, видимо, и физиология не так уж независима от нашей ду-

ховной сути – я верю герою пастернаковского стихотворения, как верю самому Пастернаку, который описывал то же чувство в письме из больницы: «В промежутках между потерей сознания и приступами рвоты меня охватывало такое спокойствие и блаженство!.. Господи, – шептал я, – благодарю тебя за то, что ты кладешь краски так густо и сделал жизнь и смерть такими... И я ликовал и плакал от счастья».

Чтение Пастернака дарит уроками счастья. Это чувство открывается по ту сторону любых страданий и горестей способным и достойным его ощутить.

А в чем достоинство? В способности прежде всего. Это свойство внутреннее, сродни религиозному мироощущению – оно может быть как будто вовсе не связано с обстоятельствами внешней жизни.

ТЕМА И ВАРИАЦИИ

Райский уголок Форосского парка в Крыму. Это он так называется: Райский уголок. Ароматные тенистые деревья, пруды с золотыми рыбками. Вот, кстати, образчик чистейшего наслаждения: даровая пища сыплется с неба, и лишь изредка, не всерьез, имитируется борьба за существование – когда девочка бросает с мостков в воду хлебные крошки. Эскимос или бедуин из пустыни принял бы слово о рае без иронической оговорки. Не хватает разве что гурий – но их тоже нетрудно найти.

Отчего же нам даже здесь не дается сполна чувство блаженства? Со стороны, где-нибудь в кино, мы оценили бы – мы позавидовали бы сами себе. А тут... ну ходим по райскому саду, ну дышим благоуханием, ну кормим золотых рыбок – а счастья все-таки нет. Нет спокойной неги, нет полноты длительного восторга. В таких садах томились шахские наложницы и дочери и все рвались куда-то. И отовсюду рвутся.

Попробуй объясни жизнерадостному обрубку на инвалидной тележке, который подкатывает к пивной, скрежеща подшипниками, – попробуй объясни ему, почему кончает с собой блестящая

кинозвезда, имеющая, казалось бы, все: здоровое тело, жизненные блага, деньги, успех, любовников, золотой унитаз в стокомнатном дворце. Трудно понять, что на любых ступеньках житейской лестницы возможна та же тоска, что способность к счастью зависит от чего-то другого.

Сиживали и мы в роскошных ресторанах для иностранцев, с видом на Кремлевские башни, и на столах имелась икорка обоих цветов, и коньячок «Наполеон», и музыканты играли что-то сладкое, обволакивающее, и красавицы были доступны. И на солнечных пляжах мы леживали, на фоне желтого песка и синей воды, объяснявших цветовые пристрастия сюрреалистов (четкий морской воздух, ртутные тени, волосяные контуры)... Но как же все-таки насчет счастья?.. Что же это в самом деле такое, господа?

Один мой герой написал целый трактат, объясняя, что яблочко, надкушенное прародителями нашими в раю, заразило их оскоминой скуки. Она, скука, и заставляла их бежать от блаженства – неизвестно к чему, главное – от чего; а этого именно и добивался Творец: ему нужно было, чтобы кто-то поддерживал движение, энергию замышленного им...

...да, про границу забыл, жаль. И за границей бывали, и там сиживали, и там видывали. Ну да что уж теперь. Экклезиаст все уже и так сказал: суета сует. И там суета. И там бросаются с мостов, глотают пачками прекрасное снотворное, которого у нас днем с огнем не достать. Хотя колбасы там полно, и джинсы дешевле наших.

Что ж, будем считать, что способность к счастью в самом деле больше определяется внутренними человеческими свойствами, нежели внешним совпадением. Конечно, совпадение желательно; неблагоприятные условия любого могут перемолоть, они не дают осуществиться способностям... да что говорить. Но есть люди, предрасположенные к счастью по самому своему устройству. «Счастливым по природе при всяческой погоде», – как сказал о себе поэт. Таких счастливцев лучше искать среди художни-

ков, среди музыкантов-исполнителей. Имеющему дело со словом, с человеческими глубинами это дается трудней...

Вот, впрочем, опять же счастливейшая кинозвезда жалуется в интервью, что лишена счастья материнства. Допустим, она не так уж переживает; это она отчасти для нас жалуется, – чтобы мы не завидовали, чтобы оценили свое богатство. И она права. Сколько знаменитых творцов искренне рады бы перевоплотиться в пресловутую семипудовую купчиху. И правильно.

Потому что купчиха счастливей. Потому что счастливей всех какой-нибудь южный спекулянт фруктами, никогда не заботившийся ни о каких высоких материях, о свободе там или об истине, но способный просто наслаждаться жратвой, выпивкой, бабой, обилием денег. И не нам опровергать его.

Возможно, одна из самых благих задач литературы – напоминать и объяснять человеку, что у других не лучше. У всех так, и вам даже спокойнее.

Лучше всего сейчас вам, вот именно вам, если у вас не болят зубы, если вы не беретесь себя ни с кем сравнивать, никому завидовать. Вкусней всех вин холодная вода из ручья, когда очень хочется пить. Или рюмка водки с черным хлебушком да с луковкой в компании желанных друзей (особенно когда придешь с мороза). Кто испытывал, согласится. Ах, если б только это было возможно не на краткий миг, а постоянно!..

(Как бывает состояние беспричинной, патологической хандры, меланхолии, депрессии, объясняемое скорей клиническим дисбалансом химических веществ в организме или магнитными бурями в космосе, так накатывает порой беспричинное и тоже, наверно, клиническое чувство счастья.)

Высшие мгновения жизни бывают невыносимы, их проще вспоминать, чем переживать. Возможна ли постоянная молния, непрерывная просветленность?

СЧАСТЬЕ И ПОЛНОТА

Можно ли считать способность к счастью, жизни безмятежной, в согласии с собой и миром – нормой, как норма, например, здоровье по сравнению с болезнью? Ведь и здоровье, телесное или душевное, в жизни реальной – скорее исключение; здесь все полно неустройства; жаждущие любви мужчины и женщины бродят по непересекающимся тропкам, не умея найти друг друга, а если находят – глядишь, и это обернется потом похмельным раскаянием. И куда деваться, в конце концов, от смерти, предваряемой страданием? А великое искусство, великая духовная жизнь, дарящие нас самыми глубокими переживаниями, – возможны ли они без знания трагического?

На свете счастья нет, а есть покой и воля.

Покой – суррогат счастья, воля – отнюдь не свобода (в конечном счете мучительная), а скорей освобождение от необходимости выбирать, решать, бороться: тот же покой.

Да, пожалуй, надо бы здесь сперва определить понятия. Ведь и Пастернак оговаривается: «Счастья без подвига нет». Упомянутому моему герою, понявшему, как мудро природа или Господь позаботились о совершенствовании рода людского, устроив так, что человеку мешает быть счастливым скука благополучного однообразия, пришло однажды в голову и другое: наверно, правильно обеспечить счастье непритязательному большинству, которое его жаждет и к нему склонно. Но принадлежность высшего дара – внутреннее беспокойство и устремленность; они не дают счастья, хотя нужны для общего родового существования. Может быть, гениальная глубина дается как компенсация за обделенность природным счастьем. И наоборот, простодушная удовлетворенность компенсирует отсутствие этого дара. Правда, соответствие дается не всегда, тогда возникают честолюбивые недоумки, несчастные графоманы или же ленивые, не проявившие себя таланты.

«Почему ты думаешь, что ты должна быть счастливой?» – спро-

сил однажды жену О. Мандельштам. И она задумалась: «Кто знает, что такое счастье? Полнота и насыщенность жизни, пожалуй, более конкретное понятие, чем пресловутое счастье».

Одно дело – не знать о предвечном трагизме бытия или, зная, уклоняться от соприкосновения с ним (как уклоняешься от визита к больным и несчастным знакомым, предпочитая знаться лишь со здоровыми и благополучными), другое – пробиться к постижению счастья через трагическое знание. И когда нам внятней голос вечности: в миг осуществления, взлета, долгожданного события, любовного соединения? Или потом, когда мы обнаруживаем, что жизнь продолжает идти своим чередом и от твоего короткого торжества в ней едва ли что изменилось? Закончен труд, отгремели аплодисменты, иссякло желание, прошел твой день – пройдет и твоя жизнь. Мертва и бескрайня пустыня Вселенной, и все, что ты мог сделать, – это добавить частичку своей жизни, духовной энергии для поддержания ее общего тепла.

ПРАВО НА СЧАСТЬЕ

Томас Манн с удовольствием приводил один эпизод из биографии Гете:

«Гете вспоминает об английском экономисте и утилитаристе Бентаме и находит, что «быть в его возрасте столь радикальным – просто верх безумия». Ему отвечают: «Если бы ваше превосходительство родились в Англии, вы вряд ли избежали бы радикализма и роли борца со злоупотреблениями». А Гете на это с мэфистофельской миной: «За кого вы меня принимаете? Я стал бы выискивать злоупотребления? Я, который в Англии жил бы за счет этих злоупотреблений? Родись я в Англии, я был бы богатым герцогом или, скорее, епископом с годовым доходом в тридцать тысяч фунтов стерлингов». Прекрасно. Но если бы ему достался не главный выигрыш, если бы он вытащил пустой номер? Ведь пустых номеров бесконечно много! А Гете на это: «Дорогой мой, не всякий создан для большого удела. Неужели вы думаете, что я совершил бы такую глупость и взял пустой билет?»

Разумеется, это шутка. Но только ли шутка? Не звучит ли в ней глубокая метафизическая уверенность, что никогда и ни при каких обстоятельствах он не мог бы родиться непривилегированным, и в то же время не содержится ли в этой уверенности нечто вроде сознания свободы воли, *хотя и свободы, стоящей за пределами личности?* Право, не плохо! Родиться голодающим революционером, сентиментальным идеалистом – вот что он называет «глупостью»... Раз существуют прирожденные заслуги, значит, существует и прирожденная вина, и если глупо родиться на свет божий жалкой посредственностью, бедняком или больным, то, следовательно, такой преступник подлежит *наказанию*, – если не в эмпирическом, то уж, конечно, в метафизическом смысле... В этом «Что ж, погибайте!» заключена великая бессердечность; если же понятие «предназначение», с которым перекликается понятие метафизической *отверженности*, относится к понятиям христианским, то в нем христианство поворачивается к нам своей аристократической стороной...»

И словно в ответ, словно в противовес другую позицию провозглашал, харкая чахоткой, Белинский: «Я не хочу счастья и даром, если не буду спокоен за счет каждого из моих братьев по крови», – то есть счастья всего человечества.

За этим восклицанием (искренность которого вне сомнений) – вся история совестливых поисков и метаний русской литературы и русского общества: за ним чувство интеллигентской вины перед «сеятелем нашим и хранителем», и размышления Достоевского о невозможности, недопустимости Фета во время Лиссабонского землетрясения, и хождение в народ, и стыд за привилегии ценой страданий других, и отказ от имени, и накликивание революции – вплоть до повинной убежденности Блока в справедливости и заслуженности потрясений и кар, обрушившихся на образованные слои, до самоотверженности и жертвенности современного диссидентства.

За этой нечаянной перекличкой – два противоположных типа духовной – и, возможно, природной – организации людей, два принципа самоощущения в мире и обществе; отсюда же

и разный подход к задачам искусства.

Для писателя тут проблема, которой вполне могут не знать представители других профессий, ученые, например, или музыканты, или живописцы. Писатель – по самой природе словесного своего творчества – имеет дело со всей противоречивой сложностью человеческой жизни, в том числе общественной; ему приходится быть голосом, а то и совестью других. Уклониться от этой функции не так просто. Тут почва для драмы, заслуживающей внимания.

Куда, в самом деле, деваться человеку, сделавшему своей профессией осмысление жизни, от фундаментального, неустрашимого ее трагизма, от сознания несовершенства сущего и неизбежности смерти? От догадки, что борьба с жизненной несправедливостью, возможно, так же вечна и безысходна, как борьба с глупостью и природным неравенством?

Именно развитая, а тем более выдающаяся личность по определению оказывается обречена противостоять преобладающему потоку. Степень этой несовместимости с окружением может быть самой природой обострена до болезненной крайности – вспомним хоть Кафку. Таковую судьбу не выбирают – как не выбирают родителей или свое тело. Господь создал этот инструмент, чтобы мы заглянули через него в бездны того мира, который теперь зовется его именем, – мира Кафки.

Все так – и все оказывается не так, едва мы взглянем в возможность другого существования.

«ВЫРАЗИТЬ СЧАСТЬЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ»

Почему ты считаешь, что должна быть счастливой? Пастернаку этот вопрос Мандельштама показался бы странным. Человек предназначен для счастья («как птица для полета», – тут же приплетается сомнительный афоризм) – потому что само существование – счастье. Об этом – вся поэзия Пастернака и вся его проза.

Призвание искусства, по его убеждению, – «выразить счастье существования». «Относил ли он это только к своей поэзии?» –

спросил я однажды у Вяч. Вс. Иванова. «Как ни странно, нет», – отвечал он и подтвердил свои слова воспоминаниями о некоторых разговорах с поэтом, цитатами из писем, не знаю, напечатанных ли; я могу сейчас воспроизвести по памяти лишь общий их смысл. Пастернак, по словам Иванова, считал, что вообще сущность поэзии – в разговоре о счастье; что «мировая скорбь» у Лермонтова (которому посвящена «Сестра моя жизнь») – нечто наносное; он признавался, что долго не мог (или не хотел) писать ни о чем страшном: например, о голоде, о ленинградской блокаде, об ужасах войны и т. п. Сравнивать снежинки с крестами Варфоломеевской ночи, говорил он, можно лишь в относительно благополучные времена, когда реальной Варфоломеевской ночи нет. Блок мог писать об Апокалипсисе, пока Апокалипсис не был реальностью. К концу жизни что-то в этой пастернаковской позиции, видимо, изменилось...

Этот разговор привел мне на память одно размышление К. Ясперса. Он видел ограниченность Гете в его безоговорочном приятии мира, в стремлении как угодно сохранить равновесие с самим собой. «Нам ведомы ситуации, в которых у нас уже не было желания читать Гете, в которых мы обращались к Шекспиру, к Библии, к Эсхилу, если вообще еще были в состоянии читать... Существуют границы человека, о которых Гете знает, но перед которыми отступает... Было бы неверно сказать, что Гете не чувствовал трагического. Напротив. Но он ощущал опасность гибели, когда решался слишком близко подойти к этой границе. Он знает о пропасти, но сам не хочет крушения, хочет жизнеосуществления, хочет космоса».

Проблема станет, пожалуй, нагляднее и доступнее, если мы чуть приспустимся с олимпийских высот. Назвать ли гетеанцем интеллектуала, прожившего двенадцать лет при Гитлере без особого разлада с собой – не признавая нацизма, не причиняя зла другим, но и не терзаясь мыслями о мучениках лагерей смерти, чувством вины за бессильное молчание, – человека, не отказавшего себе в праве на независимость и уют среди общих бедствий, пусть даже и терпевшего неудобства, вплоть до голода и бомбежек, в одной из которых он мог, наконец, погибнуть?..

Э, что переносить разговор на немецкую почву – разве что для наглядности; это все наша проблематика, знакомая по собственной шкуре, не изжитая до сих пор. Каждый искал решения на свой лад, и вряд ли кому удавалось устроиться удобно, без потерь нравственных либо житейских.

Все, что делает нам честь, не облегчает нашей жизни.

Заметки о Гете, которые я привел несколькими страницами выше, Томас Манн писал в 1922 году, когда надеялся собственную жизнь до старости построить по гетевскому образцу. В дневнике 14.3.1934 года, вытолкнутый событиями на чужбину, он с гордостью и ностальгией вспоминает слова Готтфрида Бенна: «Знаете ли вы дом Томаса Манна в Мюнхене? В нем, право же, есть что-то гетевское». И добавляет: «То, что я вытолкнут из этого существования, – тяжкий сбой в моем жизненном стиле и судьбе». И уже на борту трансатлантического парохода, по пути в Америку, узнав подробности Мюнхенского соглашения, «несомненно, одной из самых постыдных страниц истории», Томас Манн записывает в дневнике 20.9.1938 года: «Отвернуться, отвернуться! Ограничиться областью личного и духовного. Мне нужна душевная ясность и сознание своей привилегированности. Бессильная ненависть не по мне». Годом раньше он употребил то же слово, с нелегким сердцем включаясь в политическую борьбу антифашистской эмиграции: «Человек рождается для свободы и веселья, а не для этого». «Сбоем в жизненном стиле и судьбе» представляется ему сам факт, что он, рожденный и предназначенный для другого, оказался изгнанником, оппозиционером. Но уклониться от вызова судьбы, от этой, пусть вынужденной, роли он считал уже недостойным.

Не будем, кстати, забывать, что Гете вел речь лишь о привилегированности социальной. Не будем забывать, что собственная жизнь поэта отнюдь не была безоблачной, что он испытал терзания, другим неведомые, был близок к самоубийству. По Ясперсу, ограниченность Гете – оборотная сторона великого его достоин-

ства: глубоко загнав внутрь свой «опыт трагического», он пришел на этой основе к «несравненно широкой человечности понимания», которая способна уравновесить, смягчить напряженно-тревожное и трагически-болезненное состояние душ и умов, характерное для Европы XX века.

Без такой опоры и равновесия нам всем трудно было бы держаться.

Можно проникаться страданиями других, чтобы разделить их и, сочувствуя, уменьшить, взять их часть на себя. Но можно, не уменьшив и не разделив чьего-то несчастья, привнести счастья в общую жизнь.

Я снова думаю о Пастернаке. По воспоминаниям А. Эфрон, он чувствовал себя виноватым потому, что «с ним не случилось того, что со мной». (Тут он был противоположен тем, кто чувствовал на себе вину за то, что с другими это случилось.) «Его доброта была лишь высшей формой эгоцентризма; ему, доброму, жилось легче, работалось лучше, спалось крепче... Это он сам знал и сам об этом говорил».

Пусть так. Но какое благо для всех нас, что был человек, умевший в этой жизни помнить и напоминать нам о счастье существования, учивший нас ему, подтверждавший, что поиск смысла, опоры, гармонии, красоты, надежды вопреки всему не так уж наивен и обречен; доказательство тому – само существование этого мира, который на чем-то все-таки держится и не допускает себя до саморазрушения.

1977 – 1990

ДЕВИЗ

Вопрос анкеты: *Ваш девиз?*

«Нет истины, где нет любви».

ТРУД ДУШИ

О РАЗНООБРАЗИИ

Попытка вообразить происходящее одновременно, в любой момент по всему миру, у людей, не похожих на тебя: кто-то вот сейчас, в этот миг, пока ты сидишь над листом бумаги, охотится в джунглях, кто-то спускается в шахту, мастерит из спичек модель средневекового замка, бедуин на верблюде пересекает пустыню, индийский аскет застыл в позе лотоса, бандит нажимает курок, разлетаются брызнувшие мозги, автогонщик врывается в ограждение, кричит роженица, чьи-то глаза впервые видят свет... Да что там! попробуй вообразить происходящее сейчас в близком соседстве, в ячейках многоквартирного дома...

Непредставимое, непостижимое, бесконечное разнообразие... Полезно иногда напоминать себе, что ты со своим устройством ума и тела, со своими представлениями, занятиями и образом жизни – лишь один из миллиардов возможных.

В такие мгновения осознаешь, что тебе дано соприкоснуться лишь с крохотным краешком жизни. Что бы ты ни увидел, ни перепробовал, ни испытал – непознанного и непостижимого вокруг не убавится.

И может, бессмысленно горевать о неувиденном, неиспытанном. В какую бы сторону ты ни пошел, что бы ни встретил – ты все равно что-то испытываешь, увидишь, все равно осуществишь только свой путь.

Так капля стекает по стеклу, не зная о его пределах, по прихотливой, непонятной траектории, иногда встречая по пути другие капли, сливаясь с ними...

1984 – 1994

О САМООСУЩЕСТВЛЕНИИ

Что такое самоосуществление? Прежде всего пожизненная (в последний момент завершаемая – или обрываемая?) попытка понять, кто ты такой.

И одновременно стремление не изменить, остаться верным себе.

Но как можно не изменить себе, если еще до конца не понял, кто ты такой? Это взаимопереплетено. С возрастом все меньше проб и отклонений, все внятней направляющий голос, дрожь камертона, с которым сверяешь собственный трепет.

Откуда эта дрожь, этот голос? Извне или внутри нас?

Но, может, и это одно и то же.

25.12.1993

СТРАХ

Я не боялся скатиться с этой горы, я мог утверждать это честно: упав, взбирался наверх опять и съезжал, покуда не получалось. Отчего же каждый раз при спуске замирало сердце, как будто схватывало? – вопреки убежденности, что я не боюсь, вопреки знанию, что не боюсь? Мне было лет четырнадцать, и я решил, что сердце замирает просто от спуска по крутизне, как бы зависает от скорости падения вниз – чисто физический эффект.

Теперь я взрослый и, привычно скатываясь с этой горы, не испытываю никакого замирания. Это был все-таки страх – независимый от сознания, вопреки сознанию, вопреки уверенности, что ты владеешь собой. Как многое в нашей жизни.

Мы всегда больше, чем знаем о себе.

В хижине на Красноярских Столбах скалолаз В. Молтянский рассказывал, как ему пришлось преодолевать страх. Он однажды сорвался здесь со скалы, сильно разбился. И когда, подлечившись, попробовал полезть на Столбы снова, ощутил парализующий страх.

Никаким волевым усилием, никакими умственными доводами справиться с ним было невозможно. И тогда он стал умышленно падать с небольшой высоты. Ушибался сильно, но неопасно – и страх пропал.

10.02.1987

САМООЩУЩЕНИЕ

Когда человек, лишенный слуха и голоса, поет в одиночестве, сам для себя, он не слышит фальши. Для него музыка звучит так, как она была задумана создателем.

19.08.1988

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДУШИ

У евреев, – прочел я однажды, – есть понятие «тиккун». Оно означает буквально ремонт, починку, – например, ботинок. Но оно может подразумевать и возобновление, восстановление души, мира. Нам каждый день надо что-то уточнять, поправлять, переосмысливать в себе и мире, чтобы душа оставалась живой.

25.02.1994

О ПОСТЕПЕННОСТИ

Насколько человек способен себя изменить? Вот завтра – переломить характер, судьбу, начать жизнь заново? Правы ли те, кто утверждают: никогда не поздно?

А то ведь странное дело: знаешь, что не прав, что не так живешь, что поступаешь (или вот поступишь сейчас) нехорошо, – и с этим сознанием все-таки поступаешь. Сам недоволен собой, а чего-то не можешь в себе пересилить.

Главная трудность не в том, чтобы достичь некоего понимания, а чтобы жить в соответствии с ним. Это не так просто дает-

ся. Что-то должно созреть органически. Но важен порыв, потребность, желание перемен.

В чеховском «по капле выдавливать из себя раба» примечательно это «по капле». Разом сменить кровь – крайняя (под угрозой гибели) медицинская операция.

Или преображение, чудесное, гениальное – как результат потрясения, религиозного переживания. Такое дается не многим.

В подготовительных записках к «Бесам» Достоевский поясняет смысл беседы Тихона со Ставрогиним, который решил страшной исповедью переломить свою жизнь: «Прыжка не надо делать, а восстановить человека в себе надо (долгой работой, и тогда делайте прыжок).

– А вдруг нельзя?

– Нельзя. Из ангельского дела будет бесовское».

«Постепенно, мало-помалу, время от времени мудрец должен стряхивать с себя грязь, как серебрянных дел мастер – с серебра» («Дхаммапада»).

Вот формула душевного труда.

1970 – 1977

О СКУКЕ

Не знаю, соберусь ли я когда-нибудь написать о скуке как о регуляторе и двигателе жизни – частной и исторической.

Скука возникает, когда слабеет или исчезает чувство новизны и напряженности отношений с жизнью. Как нам бывало скучно в детстве, когда казались исчерпанными возможности игры и открытий! Но в детстве же нам больше всего дарована была способность находить источник чудес в обыденности, в предметах домашней мебели, в скудных мелких растениях городского дворика, в закоулках за сараем или поленницей – каждый шаг сулил приключения и новизну.

С годами эта способность слабела. И вот, чтобы избавиться от скуки, мы ищем новых внешних впечатлений, разнообразия, раз-

влечений. Но если энергия, которой они нас подпитывают, так и остается внешней, ничего не преображая, не создавая внутри, – все эти впечатления, как шум, способны лишь на время заглушить пустоту (подобно тому, как пробуем мы заглушить ее алкоголем, но лишь отодвигаем похмелье) – кому не знакомо чувство новой пустоты после отшумевшей вечеринки?

Можно бы написать о том, как изощряется, разгоняя скуку, современный мир, какие он придумывает зрелища, какое разнообразие безопасных электронных впечатлений. Да почему бы и не опасных? Разве не разогревают наилучшим образом кровь рискованные спортивные приключения?

Даже войну можно затеять ради избавления от скуки. Как томилась мирным ничегонеделанием гоголевские запорожцы, как рвались хоть в какую-нибудь драку! Это ведь не писателем придумано. Первая мировая война тоже кому-то показалась способом вырваться из повседневности надоевшего, просто уже невыносимого благополучного существования – умнейшие люди говорили о ее «очищающем» действии, как будто речь шла о гигиенической необходимости, об освобождении от каких-то застойных шлаков.

А студенческие эксцессы шестидесятых годов, а необъяснимые акты коллективного вандализма в современных благоустроенных городах – разве не порождены они в известной степени скукой?

И мы поневоле приходим к мысли о скуке как о важном двигателе истории, подлинной причине иных непонятных людских движений, каких-то прямо-таки спазматических действий, бунтов и революций. Без этого трудно понять, что же все-таки заставляло сниматься с насиженных, обустроенных мест целые народы, которых, если разобраться, вовсе не теснили никакие враги и у которых, право же, хватало простора для пропитания. Это прежде всего она, скука, прикидываясь необходимостью, алчностью, мечтой о сокровищах, заставляла авантюристов и первопроходцев устремляться в неведомые края, на поиски новых земель, недосягаемых богатств. И вот уже пропахший конским потом гунн в доспехах из кожи смотрит тяжелым взглядом на каменный лаби-

ринт Рима, пытаясь вспомнить, зачем ему в самом деле нужен был этот неудобный и непонятный город, в котором невозможно и неохота жить, зачем ему эти некрасивые бессмысленные идо­лы. И, приказав все это разрушить, он отправляется отдыхать в более понятные леса и степи, оставляя затихшим на время по­томкам новую скуку.

Надо бы написать о том, сколькими переменами и открытия­ми в общей жизни мы обязаны, если вдуматься, скуке.

О том, что скука создается не внешним однообразием, она возникает внутри, она порождается ослаблением внутренней энер­гии, истощенностью какого-то запаса. (Есть исследования, утвер­ждающие, что скука провоцирует даже возникновение рака.)

О скуке как состоянии бесформенности, когда мы «спим без облика и склада», как состоянии чисто внешнего, механического соприкосновения с миром, когда в нем, как и в нас, ничего не меняется, не преобразуется от нашего взгляда.

О скуке как состоянии не-творчества, не-любви, состоянии рав­нодушия.

О скуке как психологическом эквиваленте энтропии. Может, именно невыносимость скуки не дает жизни остынуть и замереть, заставляя нас двигаться дальше. Герой моего романа написал даже целый трактат о хитрости Творца, который именно оскоминой скуки заразил пресловутое яблоко, не зря подвешенное в раю на видном месте, – чтобы не засиживался здесь человек, чтобы всю жизнь двигался, страдал, искал, придумывал новое, помогал кру­титься мировому колесу.

А разве не скука вынуждает нас искать новизну в искусстве? – когда вдруг надоедают, становятся физически невыносимыми слишком привычные гармонические созвучия, красивые формы – сам слух, само зрение требуют чего-то нового.

Способность не сучать, обходясь без внешней подпитки, да­ется лишь духу зрелому, действительно творческому. Ему не обя­зательно искать дров, чтобы подбавлять в свою топку, – он обез­печен другой энергией, изнутри.

Не знаю, отнести ли к этой категории столпников, годами не слезавших со своего столпа. Не берусь судить. Их подвиг прохо-

дит по ведомству религиозному – но интересно бы узнать, в самом ли деле они жили там напряженной духовной жизнью или скорей впадали в состояние, подобное анабиозу, как предположил Томас Манн, описывая в романе «Избранник» одного такого легендарного обитателя недоступной скалы.

1995

О ПУТЕШЕСТВИЯХ

1

Уже несколько лет я время от времени, отдыхая после работы, совершаю полуторачасовую прогулку по одним и тем же лесным дорожкам. Однако всегда это разная прогулка: осенью, зимой, весной, летом, под дождем, по снегу, в туманный день и под яркосиним мартовским небом, и сейчас, когда под ногами желтые листья. Даже дорога туда и обратно выглядит по-разному. Этот единственный путь оказывается неисчерпаемым. Меняется не только время года и дня, освещение, погода, облака, тени, краски. Меняется, растет лес, меняется мое состояние, меняются мои мысли. (Еще недавно я гулял по этим дорожкам с детской коляской.) А я ведь еще не вглядывался – и никогда не смогу вглядеться – в каждое дерево, куст, травинку, птичьи гнезда, белок на ветках, не переслушаю всех голосов и шумов.

Не такова ли сама жизнь? Мы живем на пространстве большем или меньшем, но всегда ограниченном. За разнообразием не обязательно далеко перемещаться в пространстве.

...так велосипедный гонщик может объездить полмира, не увидав ничего, кроме колеса перед собой да дорожной ленты под ним.

...так человек может считать себя побывавшим во всех городах, где он только выходил из поезда на перрон. А тем более на привокзальную площадь.

«Мир можно познать, не выходя за порог», – утверждал китай-

ский мудрец. Только ведь для этого надо уже обладать особой способностью, уже накопленной мощью ума и души – не от рождения же.

2

Путешествия не просто разнообразят и обогащают внешние впечатления, они помогают более четко расчлнить и тем как бы удлинить жизнь, привязать душевные воспоминания к неким ярким меткам, которые не дают ночам и дням слиться во что-то сплошное, неразличимо повторяющееся.

На географической карте, в проекции сверху, равнина и горы занимают одинаковое пространство. Но насколько удлиняется реальный путь по горам, вверх, вниз, и еще круче вверх и вниз!

В одинаковый срок жизни могут вмещаться события несоизмеримой наполненности.

1986,1994

СОН ПРИ СВЕТЕ СОЛНЦА

РОБЕРТ МУЗИЛЬ И БОРИС ПАСТЕРНАК

Они, скорей всего, не читали друг друга; тем удивительней наблюдать, как оба, каждый своим путем, пробивались, в сущности, к одному и тому же.

«Любовь, дети, прекрасные дни, веселое общество, путешествия и немного искусства – хорошая жизнь ведь так проста», – размышляет Агата в романе Музиля «Человек без свойств». Но она сама «видела в ней обман. Считающаяся полнокровной жизнью на самом деле бессмысленна; в конечном счете, то есть в буквальном смысле в конце ее, перед смертью, ей всегда чего-то недостает. Она... как нагромождение вещей, не приведенное в

порядок никакой высшей потребностью: не наполненная при всей своей полноте, противоположная простоте... Она – как куча чужих детей... тебе не удастся найти среди них собственное дитя».

А вот пастернаковский доктор Живаго размышляет о своих друзьях, принадлежащих «к хорошему профессорскому кругу. Они проводили жизнь среди хороших книг, хороших композиторов, хорошей, вчера и сегодня хорошей, и только хорошей музыки, и они не знали, что бедствие среднего вкуса хуже бедствия безвкусицы».

Я много раз упирался в этот пассаж с каким-то личным чувством. В чем отказывает доктор своим знакомым? Он, воспевавший величие простых житейских ценностей и забот, чувствует здесь какую-то недостаточность, неподлинность – едва ли не в духе Агаты. Если их мыслители и музыка действительно хороши, при чем тут «бедствие среднего вкуса»? Герой Пастернака не противопоставляет им каких-то лучших мыслителей, лучшей музыки, – он противопоставляет им почему-то себя.

Может быть, он не видел в их вкусах, а главное, в их жизни чего-то личного, своего, творческого – лишь потребление общепринятого? Это тоже как куча чужих детей, среди которых нет собственного.

Вяч. Вс. Иванов как-то процитировал мне слова Пастернака – из письма, кажется, неопубликованного: надо не любить Блока, – таков был их смысл, – «надо быть Блоком».

Над этим стоит подумать.

Речь здесь идет о чувстве, что человеку, по словам Музиля, все время дается «лишь плохонький заменитель чего-то, что он утратил», о стремлении прорваться к какой-то высшей подлинности. «Чувства должны либо служить, либо принадлежать какому-то всеохватывающему, совсем еще не описанному состоянию».

Эту устремленность к «другому состоянию» (как формулирует проблему герой Музиля Ульрих) Пастернак с гениальной емкостью выразил в строках стихов:

Мне хочется, как сон при свете солнца,
Припомнить жизнь и ей взглянуть в лицо.

«И ничего больше? – восклицает Ульрих всего две страницы спустя после процитированного рассуждения. – Какая бесчеловечность!» Примечательная оговорка. Поиск такой – предельной – подлинности может обернуться невосприимчивостью к повседневной реальности, едва ли не отказом от жизни. «Это значило бы... примерно то же, что молчать, когда тебе нечего сказать; делать только необходимое, когда тебе не надо добиваться чего-то особенного; а самое важное – оставаться бесчувственным, когда у тебя нет несказанного чувства, что ты распростер руки и поднят волной творчества. Нетрудно заметить, что тем самым прекратилась бы большая часть нашей психической жизни, но ведь это, может быть, и не такая уж страшная беда», – тут же замечает герой Музиля и его alter ego.

В сфере литературной отталкивание от неподлинного, заемного, банального приводило этого писателя к болезненной невозможности выразить что-то – невыразимое по существу. Чтобы сообщить что-то другому, нужно найти слова, понятные этому другому, общие для многих, – значит, уже не совсем свои. Искусство обращено к другим и, значит, нуждается в понимании; элемент банального в нем уже поэтому неизбежен: совсем оторваться от него нельзя. «Чистейшая банальность всегда человечнее, чем новое открытие», – с усмешкой признавал Музиль и все же старался от этой банальности уходить. Отсюда постоянная горечь непонятости, отсюда многолетние счеты с великим современником Т. Манном, ухитрившимся сочетать высокий уровень с успехом в широких (профессорских, как сказал бы доктор Живаго) кругах. Не Манна ли имел в виду музилевский герой, когда рассуждал о цене успеха? «Для этой смеси существовала предпочтительная дозировка, сулившая в мире наибольший успех, маленькая, в обрез отмеренная добавка суррогата, – она только и придавала гению гениальность, а таланту внушающий надежду вид».

Очень похоже. Похоже, что сам Т. Манн размышлял над этой проблемой, – он ведь читал «Человека без свойств». И не Музиля ли, к тому времени уже покойного, он имел в виду, когда писал в «Докторе Фаустусе»: «Для высокоодаренного художника проблема состоит в том, чтобы вопреки непрестанно прогрессирующей

избалованности и нарастающему отвращению удержаться в пределах осуществимого». А композитор Леверкюн едва ли не цитирует его: «Пошлость, являющаяся несущей конструкцией, залогом прочности даже гениального произведения, тем, что делает его всеобщим достоянием, то есть явлением культуры». Манновский герой тоже хотел уйти от этой пошлости к чистой гениальности, не считаясь с ценой...

В сущности, и Музиль устремлялся туда же, только без всяких дьявольских шуточек, не забывая об ответственности, осмотрительности. Потому и не мог дойти до конца. Он слишком чувствовал, что предельный отказ от всякой неподлинности, условности ведет к хаосу и, возможно, безумию, к финальному взвизгу и воплю леверкюновского рояля.

Музиль, как и его герой, искал, в сущности, невозможного. Пожалуй, есть некоторая неточность в самом слове о «другом состоянии», в корне этого слова, предполагающего неподвижное, стоячее пребывание. Между тем «другое» – это именно процесс, непрерывный, бесконечный поиск, каким является, по сути, весь роман. Отличие автора от Ульриха, однако, в том, что он все-таки может предъявить этот роман миру в качестве вещественного результата.

Писателю дано выразить невыразимое, не формулируемое прямой мыслью. Свет можно видеть, можно быть источником света, но нельзя изобразить свет. Зато художнику дано нарисовать свечу или человеческое лицо, излучающее свет. В стремлении «как сон при свете солнца припомнить жизнь» Музиль говорит о чем угодно: о женских модах, о математике, о литературе, о военной службе – и одновременно всегда о том же: о «согласованности каждого сиюминутного состояния нашей жизни с каким-то длительным». Свет этого «другого состояния» сквозит во всем, но выражается в образах, подобиях, сравнениях.

Вряд ли можно вполне адекватно понять Музиля (как невозможно быть в жизни такими же мудрыми, как его герои. Ведь они гениальней автора. То, что к автору приходило как озарение, обдумывалось годами, оттачивалось в черновиках, герои произносятся экспромтом в попутном разговоре). Понимать Музиля – зна-

чит переводить его образы на язык своей души, повторяя – только в обратном направлении – творческий процесс, в ходе которого автор сгущал, сводил воедино многолетние раздумья и смутные ощущения. И если наша мысль не во всем совпадает с авторской – тем лучше: главное, он поощрил нас на собственный поиск. Роман Музиля во многом – текст для медитации, которой мы сейчас, в сущности, занимаемся.

И все-таки – как беспомощно интеллектуальное рассуждение, как много тратится слов, как разветвляется мысль – и не объять необъятного. А всего-то надо было сказать то, что поэт уже сумел выразить в двух строчках:

Мне хочется, как сон при свете солнца,
Припомнить жизнь и ей взглянуть в лицо.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СВОБОДЫ

ГОЛОС И ХОР

Где-то я прочел китайскую пословицу: «Человек похож больше на свое поколение, чем на своего отца и свою мать».

Не знаю. Я то и дело себя ловил на инстинктивном нежелании отождествлять себя с какой бы то ни было общностью. Хотя, конечно же, принадлежу своему времени, своей культуре, своему окружению больше, чем сам сознаю.

Это самоощущение не может не быть противоречивым.

Нет, никогда ничей я не был современник, –

заверял, казалось бы, Мандельштам. Но тут же:

Пора вам знать, я тоже современник,
Я человек эпохи Москвошвея.

В чем проявляется эта связь со временем? Очевидней всего в приметах житейских:

Смотрите, как на мне топорщится пиджак,
Как я ступать и говорить умею.

По-другому та же противоречивость проявлялась у Пастернака. Это он спрашивал, выглядывая в окошко:

Какое, милые, у нас
Тысячелетье на дворе?

И он же:

Но разве я не мерюсь пятилеткой?

Даже самые пронизательные из нас не намного умней своего времени.

Но приходит пора, и говорят не о принадлежности Пушкина своей эпохе – говорят об эпохе Пушкина.

1987 – 1988

О ТОЛПЕ

Толпа детей вваливается в трамвай. Как прекрасны они каждый в отдельности, или вдвоем, втроем, в осмысленных отношениях! В толпе они теряют себя; они не просто толкаются, дерутся, кривляются, в их действиях, в выражениях прелестных лиц появляется нечто идиотическое. У детей эта утрата себя в толпе особенно наглядна – они редко умеют помнить себя, у них еще не выработалась устойчивость формы.

Каждый из нас порой теряет свой отдельный ум, подключаясь к этой многотелой системе, функционирующей уже по своим, внеличностным законам. Логика, мысль, рассчитанная на отдельного человека, теряет свою силу, когда смутный ропот проходит по всем клеткам толпы, как будто в ее общем теле совершается какая-то рефлекторная – не мозговая – работа.

Я помню, как однажды меня чуть не втянуло в пьяную драку: ни причины, ни смысла ее я толком не понимал, и сам не был при этом даже особенно пьян, и человек я по природе тихий – но словно электрический заряд или зараза передавались нервам от возбужденных людей вокруг – помимо мозга, через кожу, что ли.

Толпа подравнивает всех по уровню низшего, худшего из составляющих ее элементов. В ней каждый оказывается хуже, чем бывает сам по себе.

В этих рассуждениях ни для кого отдельно не может быть ни

чего обидного. Каждый вправе именно себя считать личностью – человек, абсолютно отождествляющий себя с массой, был бы, наверно, патологическим случаем. Хотя и абсолютная свобода от массовой психологии – вещь вряд ли распространенная.

Отстаивать духовную независимость в любом обществе трудно, это неизбежно ведет к одиночеству. Чтобы быть личностью, требуется мужество: проще быть, как все, чем плыть против течения.

Такие ценности, как истина или свобода, могут интересовать только отдельных людей; массе до этого нет дела, у нее ценности другие, и государство недаром предпочитает ориентироваться на них.

Мое поколение воспитывалось на безусловном приоритете массы перед личностью. Нас приглашали солидаризироваться с толпой, которая насмерть давила несимпатичного интеллигента Самгина: «Червяк! У, червяк!» Предполагалось, что мы – из тех, кто давит, а не из тех, кого давят.

С годами мое эгалитарное воспитание начало давать трещины. До меня стало доходить, что благородная традиция служения народу (понимаемому как простонародье) обернулась для русской интеллигенции утратой чувства самооценности. Это облегчило и упростило потом расправу над ней – интеллигенция сама заранее помогла формулировать приговор.

Лучше всех сказал об этом Н. Бердяев: «Только в России и можно встретить эти вечные противопоставления интеллигенции и «народа», эту идеализацию «народа»... Народничество всегда было знаком слабости в России культурного слоя, отсутствия в нем здорового сознания своей миссии... В русской «интеллигенции» совсем не было сознания безусловных ценностей культуры, безусловного права творить эти ценности... Это рабское сознание, в нем нет свободы духа, нет сознания собственного достоинства».

Непривычная, чуть ли не еретическая мысль: народ как таковой не создает ни былин, ни сказок, ни песен. Во все времена это было делом немногих его представителей, разного происхожде-

ния и социального положения. Это мог быть раб, подобно Эзопу, мог быть высокородный скальд, подобно Стурулсону; имена других не сохранились – таковы древние русские Гомеры. И только из-за анонимности мы называем их творения народными. Они народны в другом смысле: оставаясь незаписанными, они совершенствовались, оттачивались многими поколениями сказителей, но тоже в этом смысле избранных. Чем мельче жанр, тем больше число безымянных участников этого творчества, и все же это ограниченное число. Уже пословицы, поговорки можно считать творением такого множества людей, что оно почти совпадает с понятием народа.

Иначе: когда мы говорим об искусстве, которое создает народ, подразумевается не просто масса народа в пространстве, а народ во времени, масса творцов, выделяющихся даром, перенимающих, хранящих, передающих, обогащающих, оттачивающих.

1980 – 1986

О НЕРАВЕНСТВЕ

Я видел в научно-популярном фильме, как из растительной клетки искусственно был выращен комок однородной клеточной массы. Потом этот комок пересадили в питательную среду – и вдруг он перестал быть однородным. Одни клетки пошли в стебель, листья, другие в корень. Сказались какие-то едва заметные различия в строении, в составе, в условиях.

Не так ли и произвольная группа людей при некотором сроке совместной жизни сама выделит лидера, шамана, интеллектуала, работника? И даже не скажешь, что они сами выбрали себе роли – способность выбрать означает уже предрасположенность, предназначенность к этой именно роли – ее определяют незаметные самому особенности ума, физического или психического устройства.

Три девицы под окном
Пряли поздно вечерком.

«Кабы я была царица, –
Говорит одна девица, –
То на весь крещеный мир
Приготовила б я пир».
«Кабы я была царица, –
Говорит ее сестрица, –
То на весь бы мир одна
Наткала я полотно».
«Кабы я была царица, –
Третья молвила сестрица,
Я б для батюшки-царя
Родила богатыря».

Уже перечитывая сказку своим детям, я почувствовал, насколько однозначным мог быть выбор невесты для царя, подслушавшего этот разговор. По устройству личности, по внутренней сути своей, выразившейся в желании, лишь одна предназначена была, достойна была стать царицей. Предельная мечта выдает предел и суть человека: грандиозное, на весь мир, ремесло (при всей своей почтенности) указывает судьбу прирожденного ремесленника. Не условия, не случайная удача – внутренняя способность к царственно-женскому желанию – вот избранничество, которое предопределило судьбу третьей.

Дальше начинается история классовой зависти.

Ты не лучше и не хуже других – просто: вот твоя функция в мире. Так пчелы выделяют из своей среды матку, царицу, и откармливают ее, работают на нее, давая ей в покое делать свое дело: обеспечивать продолжение общего рода. Завидна ли участь этой избранницы, разбухающей в неподвижности? Не о том ведь речь. Но без нее пчелиный род прекратился бы, пчелы это инстинктивно знают и потому берут на себя свою работу, выделяя ей свою.

В одном из рассказов Х. Борхеса царя выделяют среди прочих, обрубая ему руки и ноги. Невеселая привилегия.

Князь Кропоткин полагал, что безвластная организация людей будет соответствовать природной организации жизни, где нет ни господства, ни подчинения. Увы, он, должно быть, не совсем точно представлял себе реальную природу, где существование животных сообществ основано именно на неравенстве и разделении ролей. Если человечество сумеет когда-нибудь организовать иначе, то как раз вопреки природным инстинктам. Благородная идея всеобщего равенства несомненна лишь в смысле юридического.

Пренебрежение естественным неравенством мстит за себя. Сколько душевных неточностей и травм порождает совместное – в одной куче – воспитание детей разного уровня, склада! Сбитый с толку интеллигентный мальчик пробует ориентироваться на малоразвитых заводил, на стадные развлечения, на уровень солдатских шуток и жестокостей, сам не доверяет своему вкусу и миропониманию, кажется себе недотепой, неприспособленным.

Мы воспитывались в идиотском убеждении, что роль типографского рабочего в создании материальной ценности – книги – выше, чем роль писателя. Многим пришлось преодолеть немалое внутреннее сопротивление, чтобы сказать себе: да, не все по устройству ума, нервов, памяти могут заниматься тем же, чем я; духовное творчество определенного разряда людей необходимо для общего полноценного существования.

Причем речь не просто о профессионально-интеллектуальной деятельности. Может быть, гораздо важнее та трудно поддающаяся определению работа души и совести, которая характеризует не просто специалистов, но тех, кого мы до сих пор называем интеллигентами: противопоставляя эту работу господствующим течениям, неизбежной для человеческого множества тяге к усредненности, успокоению, равновесию, они в широком смысле противостоят общественной энтропии, угасанию совокупной духовной энергии.

Эти люди, как правило, далеки от реальной власти и не претендуют на нее; в наших условиях они редко привилегированы

материально. Не стоит называть их элитой – элитарность может быть формой плебейского самоутверждения, противоположной истинному, то есть духовному аристократизму.

Проявлением этого аристократизма была, между прочим, и пресловутая интеллигентская совесть перед теми, кто своим «черным» трудом обеспечивал другим возможность осмысливать проблемы красоты, истины или свободы. В этой совестливости была не только слабость – в ней была своя правда, нравственная и творчески плодотворная.

1975-1993

ЛИЦА

Я проводил Г. Г. на свидание к Лефортовской тюрьме КГБ и сел ожидать на скамейке у входа. Должен был подойти еще П. Я. и какой-то незнакомый мне Юлий Матвеевич. Летал тополиный пух, из открытых окон музыкальной школы по соседству неслись фортепьянные гаммы и пассажи. Мимо проходили люди – в служебный вход, к ведомственным домам напротив (я знал, что там живут служители того же учреждения) и просто так, по улице.

В ожидании – как всегда возле этого учреждения, немного тревожном – я стал вглядываться в лица проходящих, пытаюсь угадать, куда пойдет тот или иной человек: в следственный корпус тюрьмы, в ведомственный дом или окажется человеком посторонним, другой среды?

Иногда мне казалось, что я начинаю угадывать; промахнувшись, я вносил поправку. Женщины, например, – я вначале не направлял их в тюремное здание: что им там делать? Но они шли туда, и обильно: секретарши, буфетчицы, да может, и надзирательницы – мало ли кто? А иные лица, так подходившие охранникам-вертухаям, оказывались не при чем...

Как-то я смотрел по телевизору юбилейное заседание Академии наук. В президиуме сидели ученые и начальники. Их было нетрудно различить: в одних лицах чувствовался интеллект, какая-то мягкость, других отличали грубые волевые черты.

В каких распределителях выдают по талонам эти стандартные лица?

Впрочем, со временем оба типа стали подравниваться.

Тип лиц меняется исторически; это особенно хорошо знают кинематографисты. Смотришь кадры военной кинохроники вперемежку с кадрами позднейших фильмов о войне: при самом современном антураже – иногда прямо под кинохронику – безошибочно угадаешь подделку: по типу лиц. Как будто другой народ: не такой сытый, попроще, посерей – запыленный, исхудалый, понурый, а главное, с печатью трагической, обреченной серьезности в глазах, на ввалившихся щеках, небритых скулах. Этого не воспроизведешь никаким гримом. И подделка мешает, как фальшь: лучше бы не претендовать на полный («как в кино») реализм.

Породистые лица интеллигентов начала века отмечены какой-то общностью – печатью утонченности, близкой к вырождению. Многие из них обобщены для меня в лице Блока: вытянутом, крупном, усталом, петербургском. После революции эти лица почти исчезли. К тридцатым годам развернулся другой тип: порода крупных здоровяков, бритоголовых комбригов, конкистадоров нового мира. Их вырубili в годы чисток и в войну. В сороковые – пятидесятые годы на поверхность всплыла порода помельче, похамоватее: деревенские нувориши с пятернями вместо пальцев, с массовыми именами, спешившие после голода откормиться до мордастости. Эта грубокожая, коренастая, жизнестойкая порода и сейчас задает тон во всяческом руководстве, в том числе культурно-литературном. Но уже и из их числа начинает вырабатываться новый тип лиц, подравниваясь под возрождающуюся интеллигенцию. Я люблюсь нынешними умными лицами.

...К моей скамейке приблизился пожилой человек с палочкой. Лысоватый, болезненный, чуть одутловатый. Посмотрел на меня, как бы удостовераясь: тот ли я человек, кивнул. Я кивнул в ответ. Очевидно, это был тот самый Юлий Матвеевич.

– Посажу немного здесь, – сказал он.

- Конечно, посидите, – сказал я приветливо.
- Устал. Он ведь сюда должен прийти.
- Петр? Да, я его тоже жду.
- Загонял совсем, черт старый, – пожаловался пожилой. – Туда, сюда, за ним не угонишься. Подожду здесь.
- Конечно, подождите, — сказал я...

Это был филер, сопровождавший по городу П. Я. и утеревший его где-то на улице. Он тоже принял меня за своего. После одной-двух фраз недоразумение стало ясно нам обоим, он окликнул какого-то пенсионера-ровесника, вышедшего из ведомственного дома, и отошел поговорить с ним, время от времени оглядываясь на меня.

1977, 1981

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СВОБОДЫ

– Зачем мы так вслушиваемся в голоса западных радиостанций, сквозь унижительное глушение, портя слух? – спросил я как-то приятеля в начале 70-х годов. – Зачем ищем что-то между строк в пустых газетах – как будто давно уже не решили для себя, что существенное в нашей жизни от этого не должно зависеть?

– Информация дает свободу, – ответил приятель.

И я подумал: в самом деле, жить в потемках, ориентируясь на ощупь или вовсе боясь шевельнуться, – значит жить в несвободе и страхе. Отсюда стремление подменить действительность, неадекватные реакции.

«Мы живем, под собою не чуя страны» – формула этой несвободы.

– То, что я пишу, – далеко от злободневной политики. Ничего как будто опасного. И не такое печатают. А это почему-то нет, хоть и называют талантливым. В чем принцип отбора? – спросил я в начале 80-х другого товарища, писателя Е. П.

– Очень просто, – объяснил он не задумываясь, – цензоры и редакторы чуют свободу – это для них главная опасность.

Свобода духа – свобода дыхания.

Мне вспоминается разговор на пристани в Белозерске с пьяненьким мужичком. Он только что освободился из лагеря в Шексне, разминулся с женой и ждал ее с теплоходом. Дело было в августе 1968 года, числа пятнадцатого, и этот недавний зэк, начитавшийся газет или наслушавшийся в лагере политинформаций, объяснял мне, почему в Чехословакию надо ввести войска. «Я хочу, чтобы моя дочка могла свободно ездить туда по путевке». Поражительный довод! (Дочка однажды там уже побывала, он этим гордился и хотел гордиться впредь.) Ему, в рабстве воспитанному, в голову не приходила возможность ездить действительно свободно, без всяких путевок и виз, в свободную, не подневольную страну.

А летом 1974 года В. Дремлюга, только что отбывший срок за демонстрацию 1968 года на Красной площади и удрученный надзором (гэбэшники однажды увели его прямо с пляжа, где мы загорали, явились на эту операцию зачем-то в плавках и даже с ластами в руках – для маскировки), сказал мне: «Такое чувство, что из малой зоны вышел в большую». Это было уже в ту пору едва ли не общее место: несвободен запертый в тесном карцере, несвободен и лагерник в зоне, несвободен лишенный возможности выехать из своей страны. А свободен ли выехавший?

Мы включены во множество структур, навязанных нам насильно или от рождения, но не выбранных нами, мы опутаны множеством отношений и зависимостей, добровольных и недобровольных: мы связаны с другими людьми, с народом и его обычаями, с государством и его законами, мы вынуждены служить в армиях и участвовать в войнах, навязанных нам.

– Свобода – это неучастие в делах мира, – услышал я однажды от философа В. Библера. – Едва я ввязываюсь в эти дела, я теряю свободу.

Свободным от ненависти может быть человек, возвысившийся до любви, а может быть – просто равнодушный, свободный от суеты и страстей, может быть возвысившийся до святости, а может быть – просто вялый душой. Эта грань очень важна.

В годы, когда я на эти темы беседовал и размышлял, многие из нас склонны были гордиться сохраненной или выработанной внутренней, «тайной» свободой. Врать вслух уже все-таки не особенно вынуждали, на людях можно было помалкивать, от пакостей уклоняться; а свободно мы говорили между собой, на прославленных кухнях, свободно мы писали в стол. Это был не худший случай: мы отказывались от карьеры, от процветания, иногда и рисковали, одни больше, другие меньше. Но не стоило бы этим особенно гордиться.

«Внутренняя свобода... – привычное вранье, – прочел я недавно у философа А. Пятигорского. – Так врут холопы, получившие временную поблажку от своих господ...» И мне вспомнился афоризм Чаадаева: «Горе народу, если рабство не смогло его унижить, такой народ создан, чтобы быть рабом». Это можно применить и к отдельному человеку. Нам не хотелось признавать себя униженными, изнасилованными – мы тешили себя тем, что свободны внутренне.

Однако А. Пятигорский опровергает «вранье» о внутренней свободе с других, более общих позиций. «Полнота жизни исключает свободу, — продолжает он, — биография уничтожает свободу, всякое следование себе искажает свободу».

Видимо, тут пора договориться о понятиях, отделить хотя бы свободу от своеволия – тогда обретут смысл вопросы: свободен ли следующий своему внутреннему голосу? чувству предопределения? сознанию, что тобой руководит некая высшая сила?

Лучшее определение внутренней свободы я встретил у Н. Я. Мандельштам:

«Внутренняя свобода, о которой часто говорят в применении к поэтам, это не просто свобода воли или свобода выбора, а нечто иное. Парадоксальность внутренней свободы состоит в том, что она зависит от идеи, которой она подчиняется, и от глубины этого подчинения. Я привожу слова Мандельштама о том же Чаадаеве: «Идея организовала его личность, не только ум, дала этой личности строй, архитектуру, подчинила ее себе всю без остатка, и в

награду за абсолютное подчинение подарила ей абсолютную свободу». Пророк, которому сказано: «Исполнишь волею моей», – носитель этой абсолютной внутренней свободы. Точно так Франк говорит, что только служа Богу и подчиняясь ему, человек находит сам себя и осуществляет свою свободу: «сохранит душу только тот, кто ее потерял».

Как убого в сравнении с этим знаменитое: «Свобода есть познанная необходимость»! Познанной необходимостью была попытка Мандельштама написать оду Сталину – ради спасения жизни; внутренняя свобода сопротивлялась этой попытке – и обрекла ее на неудачу.

(Впрочем, подумал вдруг я, разве не подчинены были целиком светлой идее иные самоотверженные и безжалостные деятели нашей революции? Очевидно, дело еще в качестве «организующей идеи». Но сколько крови пролили считавшие себя истинными служителями разных богов!)

Подлинно свободными в наших условиях были все-таки не кулонные вольнодумцы, а те, кого внутренний императив подвиг на поступки самоотверженные, порой гибельные, связанные с утратой внешней свободы. И впрямь парадокс: свободным оказывается тот, кто действительно не мог иначе.

Последнее время я с особой заинтересованностью пытался понять, почему О. Мандельштам отказался от возможности эмигрировать еще в самом начале 20-х годов. Ведь он, пишет Надежда Яковлевна, даже начал хлопоты, собрал какие-то бумаги, «но потом раздумал: ведь уйти от своей участи все равно нельзя и не надо даже пытаться».

Что это значит? Разве не свободны мы в выборе своей участи – по крайней мере таком выборе? В каком смысле можно говорить здесь о выборе и предопределении, о свободе и подчиненности идее? Н. Я. Мандельштам настаивает: «Сила Мандельштама в сознании своей свободы, в том, что он свободно принимает свой жребий и полон благодарности за все дарованное ему».

КЕНТАВР

ИНЬ И ЯНЬ

«Как хорошо в мире все законченное, недвусмысленное, исправное и образцовое», – писал Пастернак. Это в нас еще от древних греков, для которых Космос – гармоничен и завершен, как скульптурное целое, как безупречно настроенный музыкальный инструмент. Его можно рассматривать с разных сторон, осваивать по частям.

Но есть и другое мироощущение, другая эстетика, ценившая именно незавершенность, намек, больше находившая в молчании между звуками, чем в самих звуках, больше в белизне бумаги, чем в четком знаке на ней.

Что-то подобное пытались выразить китайцы, противопоставляя понятия «инь» и «янь». Инь – женское, порождающее, ночное, текучее, смазывающее границы предметов и восстанавливающее целостность мира; янь – мужское, рожденное, дневное, твердое, разумно ограничивающее предметы.

Инь и янь – ипостаси единства. В каждом, мужчине и женщине, есть элементы и того и другого, но что-то может преобладать.

Я ловлю себя на стремлении уловить невыявленное, много-смысленное, постоянно рождающееся из хаоса – чувство полноты, богатства, целостности неостановленной, неограниченной жизни.

1988

КЕНТАВР

Мысль проходит через столько оттенков и изгибов, что голова с недоумением оглядывается на хвост: что сия тварь означает? А то и означает: истина скорей может вызвать мысль о кентавре,

чем о любой из его половин, и не укажешь пальцем место, где одно естество переходит в другое.

Половиной существа я знаю одну истину, другой – другую. Но общая кровь бежит в кентавровых жилах.

Порой мне хочется оставить и зачеркнутое слово, и найденное вместо него, и восклицательный знак, и переделанный из него вопросительный, чтобы истина сквозила где-то на пересечении

Истина высказывает себя сама в пространстве и времени, где мы рассуждаем и спорим о ней, ни в чем не соглашаясь друг с другом до конца, попросту не понимая друг друга.

Истина – искра, высеченная мечами противников, и к ней ничего не добавит, если чей-то меч поразит другого.

Для уверенности и действия нужна ограниченность; неуверенность открыта. Глубочайшая мудрость отказывается даже от слов – ее достойно только молчание.

Уверенность вырезает по контуру силуэт, но ведь жизнь не так плоска, не так ограничена. Контур просто очевидней. Героя «Невидимого шедевра» у Бальзака сочли безумцем, потому что увидели на его картине хаос пятен вместо отчетливых линий. А не был ли он предтечей импрессионистов, на столетие опередившим свое время? Глаз современников просто не готов был еще это воспринять.

Как замечательно сказал Нильс Бор: «Бывают истины ясные и истины глубокие. Ясной истине противостоит ложь, глубокой – другая истина, тоже глубокая».

И то, и се – кентавр, ни то, ни се – гермафродит.

1977– 1985

О ПРОСТОТЕ

Стремление писать проще, жить проще. Пастернаковская ересь «неслыханной простоты». Толстовская попытка «опрощения» – сколько в этом зрелище безнадежного, мучительного, трогательного! Как это на самом деле не просто, сколько за этим многогранной, изощренной работы ума и души!

Можно ведь «просто» жить, пропуская через ум мыслей не больше, чем старушка, вяжущая чулок – только считая петли: шестнадцать... двадцать... а там и помирать пора.

«Они жили без всякого излишка», – сказал Платонов о чевенгурских пролетариях, сил которых «хватало для жизни только в текущий момент». Вот, если угодно, формула простоты. С «излишка» начинается сложность культуры.

Чтобы, как Пастернак, воспеть смысл и величие простой семейной жизни с возней в огороде и пр., надо все-таки для начала хоть немного быть Пастернаком; другие никакого величия и смысла здесь не увидят. Не всякий деревенский пастух подобен халдейскому пастырю стад, что ночами вглядывался в небосвод, вникая в движение светил и думая об устройстве мироздания.

Это на тему о «наивной» гениальности – в противовес изощренной цивилизации, о возможности «непосредственных», без интеллектуальной усложненности, отношений с мирозданием и Богом.

Есть простота, предшествующая культуре, не знающая и не желающая думать о бесконечной сложности, разнообразии и трагизме человеческого мира. И есть высшая простота, прошедшая через трагизм, способная интегрировать, вобрать в себя это разнообразие и сложность – тождественная, если угодно, высшей сложности.

Тот халиф, что приказал уничтожить все книги, кроме одной, священной, тоже хотел простоты.

Оказывается, сложные системы устойчивее простых – так утверждает наука. По-настоящему жизнеспособными оказываются только сложные организмы.

«Может быть, простота – уязвимая смертью болезнь»

Над одной этой строчкой О. Мандельштама впору думать и думать.

Тейяр де Шарден описывал смысл космогонического процесса как собирание и самооформление мира в Боге: через возрастающую дифференциацию к высшей простоте.

В конце концов, все просто, как мир. Просто, как жизнь. Как чувство Бога. Не более. Но и не менее. Вопрос в том, как вместить эту простоту – и тем более выразить.

1979 – 1987

О ДИЛЕТАНТИЗМЕ

Есть забавный рассказ о том, как Мандельштам на экзамене по классической филологии не сумел ничего внятно сказать профессору об Эсхиле. Он, носивший античную культуру в себе, способный видеть хороводы муз «на каменных отрогах Пиерии», не мог вспомнить к случаю факт, название или дату. Я хорошо это представляю. Для него это было внешнее, частное, несущественное знание – так для мудреца из знаменитой дзенской притчи, славившегося умением выбирать лучшего скакуна, не существенно было, какой он масти; он даже не мог вспомнить потом, жеребец это или кобыла. Важно, как бегают.

В этом смысле поэт – не профессионал, в отличие от мастеров литературы. (Неприязнь к литературной деятельности помимо

поэзии, будь то перевод или киносценарий, доходила у Мандельштама до болезненной крайности. «Какой я к черту писатель! Пошли вон, дураки!») Профессионально можно овладеть частностями.

Но эти наступающие губы,
Но эти губы вводят прямо в суть
Эхшила-грузчика, Софокла-лесоруба.

«На поприще, где на карту ставится весь человек целиком, уметь что-то означает быть мертвым... Чтобы быть живым, надо избегать любой специализации».

(Людовик Флашен. О дилетантизме).

Все мы дилетанты перед Господом.

1977 – 1991

ОБ ИСКУССТВЕ КАК СПОСОБЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ

Так я решил в свое время озаглавить вольные литературные заметки разных лет, объединенные только темой, содержание которой в свою очередь выявляется лишь из совокупности разнородных фрагментов.

Впрочем, возможно, правильнее говорить о способе бытия, то есть существования, облагороженного мыслью, воображением, культурой?

В иных случаях точнее говорить также не об искусстве, а об игре, о культуре, о творчестве (которое может быть и научным, и религиозным, и жизненным).

Но условен, в конце концов, всякий термин, его конкретное содержание раскрывается опять же в контексте.

Многие свои мысли я успел со временем раздать своим героям и теперь позволяю себе их заимствовать или, если угодно, вернуть – сохранив художественно-необязательный, подчас двусмысленный способ высказывания, который сродни многозначности.

ОБ ИСКУССТВЕ КАК СПОСОБЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ

«Была такая фантастическая идея: если записать все ощущения и переживания человеческой жизни, все электрические импульсы, которые поступают ежесекундно в течение многих лет от нервных окончаний глаз, ушей, кожи, языка и носа, от внутренних органов, от каждой клеточки нашего тела – так вот, если бы записать все эти без исключения токи, колебания или что-то там еще на особую пленку, а потом подключить эту пленку к другому человеку

или даже просто к воспроизводящему устройству, то этот человек или устройство, не нуждаясь в собственных органах чувств и ни в малейшем движении, не нуждаясь в собственной жизни, переживет в полном объеме чужую жизнь со всеми ее красками, запахами, событиями, чувствами, с любовью и несчастьями; закрытые глаза, соответствующие клеточки живого или электронного мозга будут воспроизводить увиденные кем-то лица, дома и деревья, закрытые уши – слышать слова и музыку, в мозгу будут шевелиться переданные, вживленные пленкой чужие мысли... Так вот, если бы что-то сознание воспроизвело мир образов и чувств, записанных от меня в часы, когда я пишу, – оно пережило бы жизнь яркую, красочную и глубокую, с замиранием сердца и, так сказать, скрежетом зубным, и кто-то подумал бы (если бы он сохранил при этом способность оценивать со стороны): да, жил человек...»

Так размышлял герой моих «Записок скучного человека» (1969), предвосхищая мои позднейшие раздумья о искусстве как форме и способе существования.

Речь идет отнюдь не только о творцах; к этой проблематике причастен каждый из нас – ибо кто не склонялся хотя бы над страницами книги?

Красивая девушка в метро устала на тонкие пластинки белого вещества, испещренные черными значками. Она не видит, не слышит ничего вокруг – какие картины и голоса переливаются сейчас с этих листов в ее существо через зрачки глаз, прикрытых длинными ресницами? Ведь это поистине волшебство, это чудо, сравнимое разве что с чудом сновидения.

«Мозг мой – вместилище, где все полно цвета, запахов, звуков, где живут и глубоко чувствуют вживленные в меня существа. Вне моей черепной коробки все несравненно тусклее».

(«Записки скучного человека»)

Искусство подключает нас к богатству и разнообразию жизни, взаправду для нас закрытым; оно позволяет нам если не испытать, то причаститься к чувствам и впечатлениям, которые недоступны нам в нашей заурядной обыденности, преобразить скуку – ту скуку, которая заставляет срываться с места, искать приключений, опасных, а то и гибельных; оно намекает на способ совме-

стить богатство, полноту и глубину впечатлений, переживаний и мыслей с комфортом и безопасностью – то есть решить проблему экзистенциальную, которая от веку мучает человека.

Многие проблемы человеческого бытия связаны с невозможностью совместить «счастье» и полноту (жизненную, духовную). Чрезмерно долгое состояние покоя, безопасности почему-то оказывается невыносимым для человека и человеческих сообществ; существует не вполне объяснимая потребность в напряжении духовном (даже в ощущениях трагических). Возможно, это связано с инстинктом самосохранения человеческого рода (иногда противоречащим инстинкту индивидуального самосохранения) – подобно загадочным самоубийственным миграциям грызунов, слишком расплодившихся на урожайных хлебах. А может, и с каким-то более фундаментальным сопротивлением энтропии (физической и духовной), которая оборачивается вырождением, утратой жизненной энергии.

И если это так, то, удаляясь от животных первооснов бытия, не развивал ли человек искусство еще и как способ компенсировать некую возрастающую недостаточность, обеспечить себе как можно большую полноту и интенсивность чувств – при минимуме реальных губительных опасностей?

Искусство – концентрат жизни, который добавляется в разжиженную кровь нашего повседневного существования, обеспечивая ее недостающими, насущно необходимыми соками.

В наши дни – с тенденцией к усредненности, безликости, комфорту, скуке – оно позволяет обеспечить некоторую полноту чувств, необходимую для выживания и сохранения человеческого рода – без опасности реальных потрясений.

В этом его величие – но в этом и соблазн, который может делать искусство опасным для самых основ жизни. Потому что жизнь не должна останавливаться, она требует движения, обновления, подвига, настоящих страстей и настоящих усилий – иначе грозит все та же энтропия, застой, остывание.

Конечно, нынешних форм искусства недостаточно для полной подмены – лишь самые истовые его служители испытали на себе предельное действие этого соблазна. Но не исключено, что ци-

визация предпримет еще попытку продвинуться в этом направлении. Соблазн немалый – обеспечить благополучие без потрясений – но при этом без скуки.

Не такова ли модель «прекрасного нового мира» Хаксли – общество людей, способных чувствовать себя счастливыми при любом уровне и качестве жизни? Наукой там найден способ насыщать и убагровывать человека, поддерживать продолжение его рода вне любовных отношений – главного источника страстей и трагедий; от мыслей же о смерти отвлечься не так уж трудно. Не случайно в этом мире запрещено искусство, как его понимаем мы. Я не могу найти логического опровержения возможности такой цивилизации...

УСЛОВНЫЕ ИГРЫ

«– Актер Кин! Вы прекрасно показали мне, как умели любить Ричард III и Генрих IV. А теперь я хотела бы узнать, как умеет любить актер Кин. – Прошу простить, Ваше величество, не могу. Я импотент».

Исторический анекдот.

«Решив разубедить сумасшедшего, который уверял, будто он стеклянный, его легонько стукнули палкой. «Дзинь», – сказал сумасшедший и умер».

Что может значить для нас крошечный клочок плохой бумаги с тусклым отпечатком? На отпечатке этом нет ни искусного изображения, ни мудрого изречения. Это уникам, редкая почтовая марка, вся ценность ее создана ошибкой гравера – но за этот клочок бумаги отдадут миллионы, за ним охотятся, из-за него идут на преступления и убийства.

Мы даже не отдаем себе отчет в условности многих ценностей, на которых строится наша обыденная жизнь, в условности игр, из которых она составляется. Слишком всерьез оборачиваются они порой для нас. Да и всегда ли можем мы определить, какие ценности условны, искусственно созданы, а какие «подлинны», «первичны», насущно необходимы?

«Я знаю, что золото, добытое с помощью огня, а не благодаря

солнцу – не настоящее» – говорит в знаменитом разговоре с чертом композитор Адриан Леверкюн, герой манновского романа «Доктор Фаустус».

«Кто это сказал? – возражает ему собеседник. – Разве солнечный огонь лучше кухонного?.. Цветы изо льда или цветы из крахмала, сахара и клетчатки – то и другое природа, и еще неизвестно, за что природу больше хвалить».

Эта логика типична для декаданса начала века. О. Уайльд, как известно, пошел дальше и провозгласил приоритет «искусственных произведений» перед природными. Символичен его портрет Дориана Грея, который испытывает воздействие жизни и вбирает в себя живую судьбу вместо реального человека.

С другой стороны, порожденные художником образы воздействуют на нас порой реальней, чем взаправду существующие люди. Разве что «дети от стихов не рождаются» – и то как сказать!

«В одном только искусстве еще бывает, – замечал З. Фрейд, – что томимый желанием человек создает нечто похожее на удовлетворение и что эта игра – благодаря художественной иллюзии – будит аффекты, как будто она представляет собой нечто реальное».

Игры воображения способны играть с человеком странные шутки. Медицинский факт: астматик с аллергией на запах розы испытывает приступ удушья при виде бумажного цветка. Настоящее удушье при искусственном цветке – не символ ли это подмены, которая при некоторых условиях может стать опасной?

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Быть может, все в жизни лишь средство
Для ярко-певучих стихов.

В. Брюсов

Человеческая жизнь не стоит и одной
строки Бодлера.

Р. Акутагава

Профессионалы-художники порой особенно этим поражают: кажется, что человеческая жизнь для них в самом деле значит меньше

произведения. Томас Манн подмечал эту черту и в Гете, который видел «во всем, а главное – во всех сырой материал» для своей работы.

«...Тебе грустно по Байроне, а я так рад его смерти, как высокому предмету для поэзии», – это писал не кто иной, как Пушкин (письмо П. А. Вяземскому 24-25. 6. 1824 г.)

Тут дело отнюдь не в человеческой холодности и бесчувственности; подлинность горя вовсе не исключена. Казалось бы: если у тебя разрывается сердце, нельзя утешать себя тем, каким эффективным и плодотворным воспоминанием станет это время спутя. Нельзя свое горе и горе других обращать в материал для творчества, для воспоминаний. Почему же так часто художнику свойственно это состояние, которое кажется противоестественным? – он наблюдает за смертью возлюбленной, чтобы правильной запечатлеть перемены ее лица.

У поэта умерла жена...
 Он ее любил сильнее гонора!
 Скорбь его была безумна и страшна –
 Но поэт не умер от удара.
 После похорон пришел домой – до дна
 Весь охвачен новым впечатленьем –
 И спеша родил стихотворенье:
 «У поэта умерла жена».

В этих насмешливых строках Саши Черного очевидно сомнение: действительно ли «страшна и безумна» была скорбь поэта? Но в том-то и особенность ситуации, что скорбь действительно может быть велика и неподдельна – художнического поведения это не меняет. Художник и собственные муки готов сделать предметом поэзии, а мог бы – сделал бы и собственную смерть. (И делает – для других.)

ПЛАКАЛЬЩИЦЫ

Философ М. Мамардашвили вспоминает профессиональных плакальщиц, которые на похоронах доводят присутствующих до состояния, близкого к экстатическому. «Они – профессионалы и,

естественно, не испытывают тех же эмоций, что и близкие умершего, но тем успешнее выполняют форму ритуального плача или пения). Автор высказывает догадку, что такое «притворство» имеет важный смысл: «ведь психические состояния как таковые («искренние чувства», «горе» и т. п.) не могут сохраниться в одной и той же интенсивности... и служить основанием для явлений памяти, продуктивного переживания, человеческой связи... Всплакнул, а потом рассеялось, забыл. Дело в том, что естественно забыть, а помнить – искусственно. Искусственно в смысле культуры и самих основ нашей сознательной жизни, в данном случае – в смысле необходимости возникновения и существования сильных форм или структур художественного сознания... Специальные продукты искусства – это как бы приставка к нам, через которые мы в себе воспроизводим человека».

Иными словами, именно переводя свои чувства в какую-то искусственность, условную форму (да и сам плач – что значит он с точки зрения физиологии?) мы не только делаем эти чувства более человеческими, но придаем им подлинную силу, интенсивность, закрепляем их формально и позволяем благодаря этому задержаться в памяти.

Сама память в чем-то родственна феномену искусства; и то и другое в каком-то смысле – инструмент в руках инстинкта самосохранения. Ибо если бы в памяти закреплялось первичное, физиологическое качество наших переживаний – жизнь стала бы невозможной.

КОГДА ЧИТАТЕЛЯ НЕ ТОШНИТ

Один мой персонаж, литературовед, мог за едой читать медицинскую статью о глистах, и это не портило ему аппетита. Такое чтение предполагает изрядную степень абстрагирования от предмета. В современной литературе многое рассчитано на интеллектуально-отстраненное восприятие, и даже если на шок, то интеллектуальный, а не на реальное сопереживание, сочувствие, тошноту.

Так воспринимается черный юмор.

Человек несет ребенка по лестнице за ножки, головка стучается о ступени.

– Что ты, ирод, делаешь? – кричит жена. – Шапочку потеряешь!

– Не бойся, – успокаивает он, – я ее гвоздем прибил.

Или стишки вроде такого:

– Голые бабы по небу летят,

В баню попал реактивный снаряд.

Вам не страшно, читатель? Нет, разве что слегка передергивает, но как-то даже приятно.

Не здесь ли одна из причин тяги вполне благопристойных людей к блатным песенкам? Никто не видит и не воображает за их строками реальных драк, блатных жлобов, убийц, алкашей, крови, блевотины – так, щекочущие слова и приятный мотивчик. Но при этом все-таки и некоторое приобщение к миру чуждому, недоступному, опасному. Вроде побывал среди них и благополучно вернулся.

Криста Вольф в «Кассандре» попробовала показать реально, во плоти, что стоит за гомеровским гневом Ахилла, Пелеева сына. И увидела жестокого «скотину» – солдата, который гоняет вдоль городских стен свои жертвы, спорит из-за наложниц, убивает...

Но значит ли это, что именно такова правда жизни? Или есть своя правда и в гекзаметрах Гомера, сотворившего и пустившего в мир своих героев? Мы воспринимаем реальную жизнь отчасти такой, какой нам представил ее Гомер и вся многовековая литература, все разнообразное искусство, вплоть до пошлых и лживых блатных поделок.

И это тоже способ существования.

ХИМЕРЫ

Химеры существовали на самом деле. Мы все видели этих тварей, составленных из разных частей, видели их печальные рожи, подпертые лапами, их зубастые пасти, их человеческие глаза и доисторические хвосты. Они для нас не менее реальны, чем диплодоки и птеродактили.





А можно ли усомниться в реальности Дон Кихота или Гамлета, принца датского? В реальности Персея, Ликурга, Кришны? Мы знаем о них больше, чем о наших знакомых и соседях по улице: знаем их жизнь, их мысли, их внешность – до мелочей.

Сократ, Христос (не говоря уже о Дон Жуане или Фаусте) – для нас художественные образы, отличные от реально существовавших прототипов. Но они существуют куда реальнее их: до деталей портрета, характера; мы говорим о человеке Сократе, имея в виду, в сущности, его образ.

Странно, если бы выяснилось, что Христос-человек на самом деле все-таки не существовал – столько талантливых рассказчиков, портретистов и толкователей сделали реально осязаемым каждый его жест, ход его мыслей, каждое слово, черту, движение. Туринская плащаница ничего существенного не добавляет.

МОНОЛОГ НЕЗНАКОМЦА*

...«Всерьез», «взаправду» – надо осмыслить эти слова. Ведь если всерьез вдуматься в это вот волоконец говядины, которое я выковыриваю сейчас из зубов, если вспомнить и вчувствоваться, что я это волоконец знал добрым и нежным телянчиком... му-у! в щеку он меня лизал... и прочее... если проникаться такой правдой на каждом шагу – ведь это повеситься. Жить станет нельзя, вы только вообразите! Почему-то нам это заказано. Вот эта денежная бумажка, в которой воплотилось столько труда, надежд, страстей, лет, прожитых и выкинутых в трубу – если эта скомканная условность и взаправду попробовала бы все вместить, она бы в пепел обратилась! В пепел! Как все мы. Нет, усмехающийся мой друг, с правдой и ложью почему-то не так оно просто. Жизнь зачем-то требует условности, обмана и самообмана, игры, искусства. А там дело за талантом. В пору моей юности я как-то сказал любимой женщине: только отвечай мне прямо, не играй со мной. Какой идиотизм! Какая в конечном счете пошлость! Это не так далеко

* Из повести «Провинциальная философия» (1977). В повести здесь, впрочем, диалог, но реплики собеседника опущены за необязательностью.

от прямодушия того малого, который попросту заявлял даме: я хочу видеть вас голой. Вот правда так правда. А мы все лжем, мы говорим ей другое. Мы говорим, как прекрасно ее лицо, ее глаза, ее кожа. И она подозревает обман, о! Потому что она лучше нас знает, что глаза у нее – ничего особенного, а кожа у подружки нежней. Иные, особо правдивые, даже считают долгом разубеждать: я совсем не такая. Но верят, все же верят именно обману, называют его ослеплением страсти – и оказываются правы. Вот в чем истина, вдумайтесь! Зачем-то жизни нужна эта игра, с распушиванием перьев, уклончивостью, кокетством и танцами, как нужны брачные бои на жизнь и на смерть, как нужны все те же сновидения. Тут великая загадка, не до конца проясненная. Способность к красоте, игре и искусству зачем-то нужна для существования и развития жизни. В этом смысле все люди художники и различаются по силе способности... Я говорю о неизбежном и даже необходимом элементе иллюзии, условности, самообмана, умысла в самой серьезной и подлинной жизни... Какая наша мысль не обрвана? Какие слова вмещают все, что надо бы выразить? Все оформленное, конечное – уже обрублено, отграничено, чтоб им можно было пользоваться. Хоть как-то. Вы назовете это неполной правдой? На том сама жизнь основана, поймите же. Весь мир выделен из хаоса – это и есть акт творения, родственник искусству. Куску хаоса придана форма, видимость закономерности, остальное отсечено и отдано лукавому. Не случайно, уверяю вас! В этом великий смысл. Эта уступка неполноте или, как вам думается, лжи, равносильна красоте и самой жизни. Предельно подлинна лишь бесконечность, бесформенность, бездна, смерть. А нам жить велено.

О СТРИПТИЗЕ

«...Я хочу, чтоб не лгать... На земле жить и не лгать невозможно, ибо жизнь и ложь синонимы... Проживем эти два месяца в самой бесстыдной правде! Заголимся и обнажимся!»

Удивительно глубоко и емко (а потому, что откровенен до конца!) формулирует тему этот персонаж «Бобка» – одного из самых

жутких рассказов Достоевского. «Жить и не лгать невозможно». Мертвец готов прорваться наконец к самой бесстыдной правде. Живым героям Достоевского это давалось куда как непросто – с надрывом, с оговорками. Его «подпольный человек», самый, пожалуй, откровенный и беспощадный к себе, заранее одергивает себя устами гипотетического читателя: «В вас есть и правда, но в вас нет целомудрия: вы из самого мелкого тщеславия несете вашу правду на показ, на позор, на рынок...»

Но разве мы действительно упрекнем за это героя и писателя? Разве мы не хотим от них предельной правды о жизни, о человеке, сколь бы тяжка и даже ужасна она ни была? Разве мы не ждем исповеди откровенной? а неоткровенная – зачем она нам? Разве для подлинно ищущей души такая беспощадная к себе откровенность не может оказаться поддержкой: не ты один бываешь слаб и низок, другим это тоже знакомо – а ведь справлялись?

Всякая культура и всякий ее язык строятся на запретах: это относится и к искусству. В музыке в разные времена запрещались определенные созвучия, они считались неблагозвучными (параллельные квинты, например). Теперь запретов, по сути, нет, благозвучен любой шум. Это относится не только к музыке. Непристойность давно не смущает искусство, слово «дерьмо» незаметно стало литературным даже для девичьего уха. Писатель требует от нас не отворачиваться от пьянчуги, лежащего в луже собственной блевотины и мочи – «в собственном соку», как выражается не без изящества автор. (Врач по профессии, он описывает механику совокупления почти в медицинских терминах и полагает, что правдивый разговор о жизни неполон без подробностей самочувствия человека в нужнике...)

Заголимся и обнажимся... Но для искусства полный отказ от запретов не означает ли растворения в хаосе? Отправления, играющие бесспорную роль в нашей жизни, видимо, все-таки незря совершаются за закрытой дверью. Каждому известно, что под платьем он гол; но если даже в жару мы не ходим нагишом по улицам – стоит ли упрекать себя в лицемерии? Какой смысл имеет утверждение, что в наготе больше правды, нежели в платье? И описание любви в медицинских терминах – не столько смелость,

сколько слабость подлинно художественного мышления, насущно важного для человека.

Вернемся к исповеди. Литература всегда в каком-то смысле исповедь – но именно в каком-то смысле. Одно дело – внимательный, честный взгляд на себя, нужный для самоанализа, самовоспитания (и в целях отчужденного исследования, фрейдистского, например), другое – отчет для других. Одно дело – дневники, писанные для себя и ставшие публичным достоянием помимо авторской воли, другое – публичное самораздевание. Очевидно, в искусстве оно так же недопустимо, как в жизни. Надо знать себя голого (и по себе других), но для анатомических лекций демонстрируют анонимные препараты.

Как известно, у самого Достоевского нет ни одного в прямом смысле слова исповедального произведения. Откровенничают о своей подноготной всегда лишь его герои. Между тем он и о себе сказал в своих романах больше, чем мог бы сделать это в любой прямой исповеди. Но тщетно будут гадать исследователи, в самом ли деле он совершил ставрогинское преступление. И слава Богу.

Может быть, искусство, среди прочего, есть формально дозволенный способ опосредованно узаконить глубинный анализ собственной души (насущный для человека), облагородив истину переносом в сферу не-просто-реальную, в сферу, скрещенную с воображением. Художественное мышление есть способ обойти некоторые запреты, не нарушая самой структуры. Оно перебрасывает мостки через бездны; мостки эти можно назвать условными – но это не делает их ни менее надежными, ни менее нужными.

ЛЕВ ТОЛСТОЙ, ИЛИ ДИАЛЕКТИКА ЛЖИ

Всякая палка о двух концах.
Основной закон диалектики.

Лев Толстой отвернулся от искусства, ибо стремился быть последовательным в своем неприятии всякой лжи, фальши, условности, будь то историческое лицедейство, будь то условность

балета, рифмованной литературы, будь то любовная ложь и лицемерие брака.

Что он готов был оставить? Честный минимум, потребный для поддержания жизни и воспроизведения потомства? Но пожалуй, до конца последовательным был скорее тот несчастный румын (упомянутый в ежедневниках Софьи Андреевны), который под впечатлением «Крейцеровой сонаты» в 18 лет оскотил себя. Бедняга был ошарашен и разочарован, когда, совершив, наконец, паломничество в Ясную Поляну, увидел, что сам его кумир, увы, далек от подобного совершенства.

Художник, то есть по природе артист, человек игры, обречен на внутреннюю противоречивость, когда пытается убежать от «искусственности», условности. Тем более писатель, ибо слово – уже условный знак; «мысль изреченная» в каком-то смысле действительно есть ложь. Ее пытались избежать лапутянские мудрецы, которые носили при себе запас настоящих, безусловных предметов, чтобы объясняться с их помощью, без посредства слов. Но опять же предельно последовательными дано тут быть лишь удалившимся от мира молчаливикам, ибо в пределе отказ от жизненной игры с ее условностями и ложью ради истины и совершенства есть отказ от самой земной жизни...

Здесь завязывается в узел целый комплекс идей, не случайных для Толстого. В своем порыве к совершенству и духовной чистоте он телесен настолько, что плотское соитие кажется ему единственной правдой любви. Здесь пересекается его утопия с надеждами социальных мечтателей отменить все ненужное, избыточное, в том числе деньги и всякую непроизводительную деятельность, оставив лишь «насуточно» необходимое. Здесь истоки его призыва прекратить лживую комедию истории и начать «просто жить»; здесь основа того морального пафоса, который заставлял его видеть в искусстве лишь блажь оторвавшихся от трудовой жизни трутней.

ПОЭЗИЯ ВЫШЕ ПРАВСТВЕННОСТИ

Или по крайней мере совсем другое дело, – добавив Пушкин. Аминь. Воистину. Хотя бы потому, что нравственность – уже когда-то выработанный и закреплённый свод правил. Она почтенна, что говорить, ее достаточно для жизни большинства.

Поэзия же – или, шире, искусство – это поиск, путь в неизвестное, творчество еще не бывшего, создание новых духовных миров.

Великих, истинных, профессиональных творцов немного, но искра творчества есть в каждом.

Марина Цветаева задается вопросом, кто угодней Богу – священник, призывающий у Пушкина («Пир во время чумы») к молчаливому благоговению перед смертью, или поэт, слагающий гимн Чуме – и тем противостоящий ей, противоборствующий (ибо творя, овладевает стихией, придает форму тому, что было просто хаосом, невыразимым – и невыраженным ужасом).

«Быть человеком важнее, – повторяет она. – Врач и священник нужнее поэта... Все важнее нас... Художественное творчество в иных случаях – некая атрофия совести, больше скажу – необходимая атрофия совести».

СПОРТ

Игра – общий знаменатель жизни, искусства и спорта. Если существует чистое искусство – то это спортивные игры. Абстрактность шахматных комбинаций, плетение футбольных кружев – особенно на экране крошечного портативного телевизора, когда не видно лиц, да и почти фигур, следишь за схемой перемещения точек – и это выражает чувства, это как беспредметная живопись, как чистая поэзия, как легкая музыка, хотя само по себе не выражает ни чувств, ни мыслей – и сто тысяч зрителей режут от восторга.

Спортивные страсти, миллионы футбольных, хоккейных, бейсбольных болельщиков – феномен особый в истории человечества. (Бои гладиаторов, корриды, турниры – вообще принципиально другое дело, там лилась настоящая кровь.) Тут поражает абстрактность страстей. Я помню трансляцию футбольного чем-

пионата мира из Аргентины. Люди на трибунах казались обезумевшими – потом, после победы, они будут всю ночь орать по улицам, гудеть в автомобильные гудки, целоваться, плясать и чувствовать себя счастливыми – что им безработица, нищета, терроризм, диктатура, пытки арестованных, все что творится тут же, рядом – если одиннадцать молодых парней, их соотечественников, перекидывая кожаный мяч, сумели загнать его в сетку между стоек?

Возможно удовольствие еще более абстрактное: следить по газетам, например, за шахматным или футбольным турниром, не видя ни одной партии, ни одного матча. Увлечь может сама драма, динамика турнирной таблицы: кто возвысился и за счет чего, кто потерпел сенсационное поражение из-за просмотра, из-за невезения – оценку дает комментатор, и этого довольно.

И когда комментатор хвалит игрока за то, что он действует без внешних эффектов, мы вместе с ним подразумеваем, что главное в игре все-таки результат (как будто он совпадает с некой истиной). Нам не нужна уже сама плоть игры, само зрелище. Условность доходит до крайности – и мы замечаем, наконец, какую-то подмену, извращение.

НА ТЕМЫ ТОМАСА МАННА

1. ИОСИФ И ИОВ

Проблема «жизни» и «игры», тема человека-художника, «художественного бытия» для Томаса Манна столь важна, что исследователи задавались вопросом, не рассматривает ли он это понятие как «парадигму человеческого существования вообще».

С этим связан, в частности, мотив «формального», представительского существования, характерный для ранних произведений Т. Манна. Мотив этот отчасти автобиографический, писателю знакомо было сомнение: не ведешь ли ты «авантюристическую игру с действительностью, которую, в сущности, игнорируешь, потому что она для тебя лишь повод для игры, не больше?»

Слово «авантюристический» заставляет вспомнить одного из манновских героев, профессионального авантюриста Феликса Круля – тоже в своем роде художника, только сочиняет он не литературный опус, а собственную жизнь (разумеется, по пути вовлекая в свою «игру» и всех встречаемых). Случай Круля сравнительно легко поддается оценке: недозволенность подобной «игры» утверждается хотя бы уголовным кодексом. Далеко не всегда дело обстоит так просто.

Кто поистине играет в жизни, играет с незаурядной широтой и вкусом – так это Иосиф из библейской тетралогии Манна. Глубоко усвоив культурно-мифологический репертуар своей уже достаточно изоцированной эпохи, он «проверял и реализовывал свою жизнь, соотнося ее с высшими образцами, разыгрывая ее, как роль, «по правилам» – «ибо мы идем по стопам предшественников, и вся жизнь состоит в заполнении действительностью мифологических форм».

Эта способность определяет поиски Иосифом «высшего в себе» – и в то же время сообщает его жизни оттенок некой вторичности. Он в какой-то мере всегда облегчал свои бедствия, воспринимая их чуть отстраненно, как закономерный, эстетически достойный даже любования эпизод обширной драмы, об исходе которой он, в общем, подозревал. «Ибо играть сын Иакова и его праведной не переставал никогда в жизни и двадцатилетним мужчиной играл так же, как неразумным мальчиком. А самой его любимой и самой приятной формой игры был намек, и когда его жизнь, за которой так внимательно наблюдали, оказывалась богата намеками, когда обстоятельства оказывались достаточно прозрачны, чтобы разглядеть высшую их закономерность, он бывал уже счастлив, потому что прозрачные обстоятельства не могут ведь быть вовсе уж мрачными».

Примечателен ответ Иосифа отцу, который однажды мысленно отождествил себя с Авраамом, приносящим в жертву сына – и ужаснулся. С улыбкой знатока преданий юноша успокаивает отца: «Ведь в ближайшее же мгновение раздался бы голос и воззвал бы к тебе: «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего!» – и ты бы увидел овна в чаще... Таково уж преимущество

позднего времени, что мы уже знаем круги, по которым движется мир, знаем обоснованные отцами истории, в которых он предстает. Ты мог вполне положиться на голос и на овна».

«Речь твоя хитроумна, но неверна, – отвечал старик... – Посуди, чего стоила бы моя твердость перед Господом, если бы источником ее был расчет на ангела и на овна?»

Ответ очень важный. Представим себе, в самом деле, что библейский Иов знал бы, какую игру с его участием ведет Бог в пику своему оппоненту (а ведь там шел действительно «розыгрыш» по определенному сценарию) – другая цена была бы и страданиям его, и стойкости. Но для манновского героя такое знание имело основополагающий смысл. Низвергнутый в беду неистовством влюбленной женщины, он вновь с надеждой напоминает себе о спасении мифологических героев, с которыми себя отождествлял. «Его надежда была уверенностью, знанием... Он знал свои слезы. Ими плакал Гильгамеш, когда пренебрег желанием Иштар, и та уготовила ему плач».

Это знание было опорой, оно сохранило его и довело невредимым до финального торжества, в котором Иосиф видит лишь подтверждение своих давнишних снов, завершение непререкаемого мифического цикла. Герой Т. Манна следует сквозь мифическую драму целеустремленно, отстраняя все излишнее, опасное – будь то даже любовь несчастной женщины. Это пушкинский Дон Гуан соглашался погибнуть ради любви. Иосиф, человек отнюдь не бесчувственный (тогда бы все проще!), руководствуется, однако, не чувствами, даже не страхом. Он прежде всего блюдет свою роль в обусловленном сценарии, где ощущает себя не только исполнителем, но порой и режиссером. (Именно как режиссер он обставляет знаменитую сцену «узнавания» с братьями.) Он изрядный эстет, этот обаятельный, талантливый, но вызывающий порой какую-то внутреннюю оговорку герой.

«Ведь в конце концов самое главное, чтобы человек развлекался, а не проживал свою жизнь, как слепая скотина, и все дело в уровне его развлечения», – растолковывает он своему неинтеллигентному стражу по пути в нильское узилище... И все та же оговорка в отношении к артистическому красавцу возникает вновь, потому что слишком трогает еще воспоминание о той, которой он

был обязан очередным поворотом сцены. При всех симпатиях к Иосифу, при всех благочестивых обоснованиях его целомудрия (которое, что ни говори, спасает ему жизнь) читатель почему-то испытывает больше сочувствия или сострадания не к нему, а к обреченной, обездоленной, грешной, пренебрегшей условиями и правилами игры Мут-эм-энет. (Во всяком случае, думается, это верно для читательниц.) Если имеет смысл противопоставление «настоящей жизни» «игре», то не здесь ли оно: самозаконное, природой данное влечение – и осторожные оговорки цивилизации?

Тут не все так просто. Мут-эм-энет, в своей страсти доходящая до почти безумного исступления, до забвения всех требований разума, морали, каких-либо культурных ограничений (вспомним хотя бы сцену дикого «шаманства» – недозволенной, первобытной попытки несчастной женщины приворожить возлюбленного) становится в конце концов чуть ли не воплощением темного, демонического начала, отмежевываясь от которого, Иосиф сохраняет свое «благочестие» перед Богом – свое достоинство культурного человека. Самоосуществляясь в «священной игре», он помнит об ответственности перед высшим замыслом и обретает свое, особое благословение. «Это благословение редкое, ведь обычно приходится выбирать и нравиться либо Богу, либо людям, а ему дух прелестного посредничества (заметим в скобках, что посредничество для Т. Манна – вообще одна из основных функций художника. – М. Х.) даровал способность нравиться и людям, и Богу. Не зазнавайся, дитя мое, – говорит, однако, ему отец... – Ибо это благословение приятное, но не самое высокое и не самое строгое». «Высокое» благословение патриарха неслучайно получает не артистичный Иосиф, а грубый, но неподдельно страстный, без скидок пробивающийся сквозь свою трудную, полную еще непроясненной новизны жизнь Иуда. Это благословение – символ жизненности, плодотворности, открытого будущего, в то время как само существование Иосифа было лишь «игрой и намеком» на благодать. «Спасения ты не несешь, наследие тебе заказано», – шепчет ему на ухо отец, и Иосиф лучше других знает, что это правда.

Но в смысл такого приговора стоит вникнуть поглубже.

2. ИГРА

Что наша жизнь? Игра.

Из оперы

Когда мы говорим о «настоящей», «первичной», «неигровой» жизни – что мы имеем в виду? Жизнь, не подозревающую ни о замысле, ни о цели? Но совершенно не подозревает об этом разве что животное (и то много ли мы знаем об этом?). Тот же Иов в конце концов вовсе не усомнился ни в существовании «режиссера», ни в конечной мудрости непостижимого его замысла – это не лишало подлинности его страдания*. И разве он выл, как зверь, забыв о членораздельной (причем довольно искусной) речи? Забыв о своем месте среди людей и под небесами? Разве он не оформил свою неподдельную боль по всем правилам скорбного ритуала – с раздиранием одежд и посыпанием главы пеплом? Этот ритуал и многие скорбные речи с большим знанием дела воспроизвел потом манновский Иаков, оплакивая Иосифа. Бывает ли человеческая жизнь вообще свободна от элементов игры, стилизации, искусства (или искусственности)?

Человек всегда принадлежит к определенной культуре и уже в силу этого не может в каком-то смысле не играть. Выделившись из животной среды, он начинает существовать в мире вторичных систем, в мире знаков, символов, правил – в мире той самой ненаследственной информации, которая позволяет ему ориентироваться в сложной жизни общества, составляет ее организующий стержень, хребет, подсказывая модели поведения, обобщая и передавая совокупный опыт от поколения к поколению.

Во времена Иосифа наиболее авторитетные модели были закреплены в мифах, которые так близко помнил симпатичный герой Манна. Но не случайно термин «миф» используется и по отноше-

* Вспомнились стихи поэта И. Габая:

Как легок на Голгофу путь,

Когда уверен, что воскреснешь.

И разве шедший на Голгофу не был исполнен этой веры? Почему же путь его не был легок? Видно, такая вера, такое знание не избавляют, не должны избавлять от мук – больно все-таки взаправду.

нию к тем повседневным, не всегда осозанным, порой эфемерным моделям, по которым лепится жизнь человека вплоть до наших дней. Речь идет не только о фундаментальных архетипах культуры, но о самых разнообразных проявлениях игры, подражания, стилизации, в том числе и о феномене, который имел в виду, например, Оскар Уайльд, говоря о «жизни, подражающей искусству»*.

Так, люди в эпоху Возрождения старались стилизовать по античным образцам даже собственную смерть, ритуализировать жизнь, подчинить ее известным правилам и образцам. Причем эти правила и образцы задавались теперь уже не религиозными мифами, вера в которые безусловна, а мифами историко-художественными (или даже просто художественными, потому что отношение к героям Плутарха или Светония по существу не отличалось от отношения к героям Гомера или Вергилия).

Из более близких по времени можно упомянуть русских символистов, которые, пытаясь найти сплав жизни и творчества, создавали «поэму из своей личности» (выражение В. Ходасевича). «Я уже сделал собственную жизнь искусством (тенденция, проходящая очень ярко через все европейское *декадентство*)», – писал в 1910 году А. Блок. Впоследствии он оценил смешение жизни с искусством как некий духовный грех, провозгласив их *нераздельность и неслиянность* (предисловие 1919 г. к поэме «Возмездие»).

С развитием средств массовой коммуникации эта проблематика приобрела особое качество. Далекие от доверчивого простодушия людей архаичных эпох, мы, однако, не всегда отдаем себе, скажем, отчет, что говорим или движемся, как влиятельные герои киноэкрана, что равняем свою судьбу по литературным судьбам и т. д. и т. п. Об этом немало писано, феномен этот непростой и далеко не сводим к издержкам «массовой культуры». «Жизнь по образцам», как бы пародийно она подчас ни проявлялась, имеет неслучайный смысл. Даже, казалось бы, самое личное, неподдельное – например представление о любви – в каждую эпоху,

* У О. Уайльда множество парадоксов на эту тему, например, такой: «Великий художник изобретает тип, а жизнь старается скопировать его, воспроизвести в популярной форме».

как известно, создается в немалой степени под влиянием читанного, виденного, слышанного на эту тему. Хорошо или плохо, но это уже подчас не меньшая данность, чем сама жизнь. Мы «живем в искусстве», в культуре с такой же безусловностью, с какой живем в искусственных постройках, а не в пещерах, и ходим в одежде, заботясь притом о ее покрое.

Все это так. Но не случайны же и возобновлявшиеся в разные времена – вплоть до наших дней – тенденции искусствоворческие, антикультурные, словно вызванные чувством некоей опасности. Сравнительно недавний пример – лозунги парижских бунтарей 1968 года: «Культура – извращение жизни», «Долой культуру, да здравствует жизнь!», «Долой искусство: мы не хотим жрать труп!».

3. ДВА РАЗГОВОРА С ЧЕРТОМ

Разговор композитора Адриана Леверкюна с чертом, уже процитированный выше, – ключевая сцена «Доктора Фаустуса». Ее анализировали не раз и с разных сторон, отмечая, конечно, бросающуюся в глаза близость ее другой классической сцене – знаменитому разговору с чертом Ивана Карамазова. Здесь можно выявить немало прямых совпадений – до описания внешности черта и его манер – как будто один и тот же гость явился дважды, с интервалом в сорок шесть лет, к двум разным людям.

Но есть между этими двумя беседами одно принципиальное различие.

К Леверкюну, как и к классическому Фаусту, inferнальный коммивояжер приходит, чтобы заключить сделку. Условия сделки до деталей оговорены. Музыканту обещается творческое вдохновение, гарантия великих успехов. Ему предлагается время, «гениальное время, окрыляющее время... полных двадцать четыре года... Когда они минуют... мы тебя заберем. Взамен мы будем сейчас всячески потакать тебе и потрафлять. Ад будет тебе споспешествовать при условии, однако, что ты станешь отказывать всем сущим – всей рати небесной и всем людям... Ты не смеешь любить... Твоя жизнь должна быть холодной...».

Как видим, отнюдь не сулитесь сплошных удовольствий, напротив, не скрыта и перспектива страданий. «Великое время, сумасшедшее время, совершенно чертовское время, со взлетами и сверхвзлетами, – конечно, и не без жалких падений, даже весьма жалких, это я не только признаю, но и с гордостью подчеркиваю, ибо так уж полагается, такова уж повадка и природа артистов... Это боль, которую с радостью и гордостью приемлешь как плату за чрезмерное блаженство...».

Предложена жутковатая, поистине чертовская игра с четкими правилами, с намеченным до финала сюжетом – и Левекюн ее принимает. Впрочем, выясняется, что он участвовал в ней давно, еще не подозревая об этом; невидимый режиссер отметил его, содействовал благоприятной болезни – музыкант подходил для такой роли по исполнительским данным.

Кармазову черт ничего не предлагает и не подсказывает, он лишь намеком проясняет, верней, подтверждает ему смысл того, что сделал Иван. Сделал сам, на свой страх и риск, не зная темных последствий во всей их полноте. Черт Ивана как бы ловит людей, с поличным на этих темных (в двойном смысле слова: морально-оценочном и познавательном) делах и помыслах. Но выпутываться оставляет самих, без подсказки, гарантии и даже без соблазна. Похоже, он сам не наверняка знает, что будет потом. Его ерническая болтовня насчет загробных мук – скорей, уход от ответа на заинтересованный Иванов вопрос. Он даже – хотите верьте, хотите нет – не знает, есть ли Бог.

То есть для себя, может, и знает, но с человеком у него об этом разговора быть не может, поскольку именно в отсутствии гарантий – залог некой подлинности человеческого существования.

«Каким-то там довременным назначением, которого я никогда разобрать не мог, я определен «отрицать», между тем я искренне добр и к отрицанию совсем не способен. Нет, ступай отрицать, без отрицания-де не будет критики... Без критики будет одна «осанна». Но для жизни мало одной «осанны», надо, чтобы «осанна»-то эта проходила через горнило сомнений, ну и так далее, в этом роде... Мы эту комедию понимаем... Люди принима-

ют всю эту комедию за нечто серьезное... ну и страдают, конечно, но... все же зато живут, живут реально, не фантастически, ибо страдание-то и есть жизнь. Без страданий какое было бы в ней удовольствие – все обратилось бы в один бесконечный молебен: оно свято, но скучновато».

Дело, пожалуй, не просто в скуке: можно предположить, что страдание действительно зачем-то нужно в полноценной жизни (как и элементы лжи); во всяком случае, наиболее убедительная попытка смоделировать мир, исключивший страдания, – это страшноватая антиутопия Хаксли. Другое дело, что для человека недопустим такой надзвездный, отстраненный взгляд на мир, он не может навлекать на себя страдания умышленно. Это комедия для нечеловеческих сил, а для человека – жизнь, предъявляющая каждодневные требования к его совести и чувству ответственности. Гость Ивана со скучающей миной лишь констатирует факт, не требуя от русского умника практических выводов.

С Леверкюном у него разговор другой, в этом пункте они без объяснений способны понять друг друга. Видно, какое-то развитие совершилось в известном культурном слое за сорок лет, прошедшие между обеими встречами; созрело, в частности, уже упомянутое явление «декаданса» – с его ощущением всеосведомленности, пресыщенности культурой и традицией. (Сам композитор читал не только гетевского «Фауста», но, возможно, и «Братьев Карамазовых». Во всяком случае, Томас Манн, работая над романом, перечитывал Достоевского очень внимательно.) Не в пример Ивану, профессиональный художник, живущий почти исключительно искусством, Леверкюн чувствует это остро прежде всего в своей сфере. «Озарение, экспромт, – похмыкивает вместе с ним черт... – Но мы-то натасканы в литературе, мы сразу замечаем, что экспромт не нов, что больно уж он отдает то Римским-Корсаковым, то Брамсом... Если произведение не в ладах с неподдельностью, как же тут работать?» Остается разве что пародия – игра «с формами, о которых известно, что из них ушла жизнь», но этот суррогат Леверкюна не устраивает. А к переживанию «нефиктивному, неигровому» он сам уже не способен прорваться.

«Чтобы писать хорошо, страдать надо, страдать», – уверял Достоевский. Леверкюну эти страдания прямо сулятся, и он идет на них сознательно, если не сказать – умышленно. Вот в этой умышленности и больше всего сомнительного.

Трагические герои Достоевского не имели гарантий. Напропалую лицедействуя (в самих повадках их есть что-то актерское), они, однако, не знали заранее пьесы, пробивались сквозь нее всяк по своему, на свой страх и риск, – то есть жили, бесконечно решая «последние вопросы». Трагическая же, но заведомо обусловленная жизнь Леверкюна с самого начала приобретает оттенок нечестивой игры – не только из-за содержания договора, но из-за самого его факта.

4. ДИОНИС И АПОЛЛОН

Есть своя закономерность в том, что принятие Леверкюном дьявольских правил переплетено с отрицанием «игры» и «иллюзии» в их традиционной, узаконенной сфере – сфере собственного искусства. Сомнения в плодотворности и правомерности существования искусства как такового – вообще один из исходных пунктов всего дальнейшего развития композитора, и доводы его заставляют вспомнить другие, сравнительно недавние заявления. «Дозволена ли на нынешней ступени нашего сознания, нашей науки, нашего понимания правды такая игра, – задает себе вопрос герой Т. Манна незадолго до появления на страницах романа черта, – способен ли еще на нее человеческий ум, принимает ли он ее всерьез, существует ли еще какая-либо правомерная связь между произведением как таковым, то есть самодовлеющим и гармоническим целым, с одной стороны, и зыбкостью, дисгармонией нашего общественного состояния – с другой, не является ли ныне всякая иллюзия, даже прекраснейшая, и особенно прекраснейшая – ложью?» «Уже сегодня совесть искусства восстает против игры и иллюзии, – заявляет далее Леверкюн. – Искусство больше не хочет быть игрой и иллюзией». «Разрыв между искусством и реальностью... «иллюзорный» характер искусства может быть преодолен лишь в той степени, в какой сама реальность приблизит-

ся к искусству и оно станет собственной формой реальности... Искусство как форма реальности означает не приукрашивание существующей, но создание новой, противоположной реальности».

Я умышленно позволил себе процитировать без перерыва вслед за Левверкюном современного философа, чтобы сделать особенно наглядной неожиданную актуальность художественно исследованной Т. Манном проблематики. Высказывание Г. Маркузе взято из статьи с характерным названием «Искусство как форма реальности», где сомнения манновского героя словно переводятся в план злободневных размышлений об «отчуждении» искусства от реальности нашего «общественного состояния». Провозглашая отказ искусства от «иллюзии», от «музеев и мавзолеев», Маркузе как бы продолжает весьма примечательную переключку.

В конце 60-х годов, по его мысли, молодежное движение дало образцы некоего «living art» – «жизненного искусства», дальнейшее развитие которого, с одной стороны, должно отменить «иллюзорные» формы традиционного, отчужденного искусства, с другой – станет своеобразной формой существования будущего, преобразованного общества. «Я считаю, что «жизненное искусство», реализация искусства возможны лишь в качественно отличном обществе... где разовьются подавленные ныне эстетические возможности людей и вещей, причем под этим подразумеваются не специфические свойства определенных объектов, а форма и способ существования, соответствующие мышлению и чувствованию свободных индивидуумов».

В майских выступлениях молодежи 1968 года многие увидели путь к преодолению отчуждения и в жизни, и в искусстве, поскольку они осуществлялись именно как спектакль, как некий большой хеппинг. «Ненависть молодежи прорывалась в смехе и песнях, стирая грани между баррикадой и танцплощадкой, любовной игрой и героизмом», – писал Маркузе в другой работе.

«Необходимо пересмотреть понятие искусства, – это уже другой влиятельный идеолог направления Микель Дюфрени. – Официальному искусству нужно противопоставить искусство, которое было бы делом жизни, искусство, прославляющее жизнь с ее свободой, силой, неожиданностью, искусство, подобное невинной и

дикой игре, как дионисийский танец ребенка. Да, воссоздание: отчужденный человек воссоздает себя. Игра освобождает, крушит гнетущие ценности, смеется над оскопляющей ее идеологией, раскрепощает жизненную энергию. И, главное, она возвращает человеку вкус к удовольствию. Не к тому бескровному утонченному удовольствию, которое присуще созерцанию (впрочем, и оно лучше, чем ничего), а удовольствию более дикому и глубокому, порой смешанному с тоской, – ведь смерть присутствует в жизни. Если искусство – дело жизни, оно может быть и делом смерти; таким оно было для Ван-Гога и для многих других; игра может перерасти в страсть. Здесь действует свобода, хрупкое и яростное наслаждение, в котором желание на мгновение осуществляется.

Но чтобы искусство привело к такому результату, необходимо, чтобы оно переживалось, как игра, то есть бесконечная выдумка».

Искусствоворческим концепциям новейшего рода присущ эстетизм, парадоксальный разве что на первый взгляд – он отрицает лишь «устарелые», официально узаконенные формы, произведения, созданные в виде ограниченных в пространстве и времени «опусов». «Опусы, время и иллюзия... – они все вместе подлежат критике. Она уже не терпит игры и иллюзии, не терпит фикции, самолюбования формы, контролирующей, распределяющей по ролям, живописующей в виде сцен человеческие страдания и страсти. Допустимо только нефиктивное, неигровое, непросветленное выражение страдания в его реальный момент».

А это кто говорит? Кто этот критик, посрамляющий «игру» и «иллюзию» перед лицом «реальности»? Да это все тот же ехидный черт, продолжающий соблазнять Леверкюна своей диалектикой.

Важно отдавать себе отчет в особенностях этого «реализма», когда отрицание игры иллюзорной последовательно связывается с перенесением ее в другую сферу – и здесь самое время вспомнить Ф. Ницше, имя которого в замкнутых рамках манновского романа не могло быть упомянуто. Противопоставляя «аполлонийскому» началу начало «дионисийское» (на которое совсем не случайно ссылался М. Дюфренн), Ф. Ницше писал в «Рождении трагедии из духа музыки»: «Аполлон стоит передо мной как просветляющий гений *principii individuationis*, при помощи которого толь-

ко и достигается истинное спасение и освобождение в иллюзии, между тем как при мистическом ликующем зове Диониса разбираются оковы плена индивидуации и широко открывается дорога к Матерям бытия, к сокровеннейшей сердцевине вещей». Это, с одной стороны, придает новое, освежающее качество самой жизни, с другой – ведет «к новому созданию искусства, – и притом искусства уже в метафизическом широчайшем и глубочайшем смысле».

Какие-либо нравственные, социальные, рациональные ограничения при этом, естественно, даже не обсуждаются – ведь речь идет о предельном освобождении. По мнению черта, для которого, как и для Ницше, «художник – брат преступника и сумасшедшего», желанное состояние «гениального» экстаза стоит того, чтобы достичь его любыми средствами. Более того, всего эффективней оно достижимо именно средствами, отвергаемыми «общепринятой» моралью. «Я блажен! Я вне себя! Какая новизна, какое величие! Мои щеки, как расплавленное железо! Я в неистовстве, и всех охватит неистовство в такое мгновение»... «То, что тебя возвышает, что увеличивает твое чувство силы, могущества, власти – это, черт побери, правда, будь она хоть трижды ложью с добродетельной точки зрения!»

Один из парадоксов, которые демонстрирует круг идей, связанных с проповедью высвобождения в человеке чувственного, аффективного, внесоциального, состоит в том, что в подобного рода «витальном взрыве» слишком много заданного, умышленного, чтобы говорить об истинной неподдельности чувств. Аффективный приступ можно вызвать преднамеренно – для этого существует хорошо разработанная техника, фармакология, которой без излишней брезгливости пользовались и пользуются далеко не всегда добросовестные идеологи и практики. И надо отдавать себе отчет в опасности, какую таит в себе возможность злоупотребления «витальными силами», «освобожденными» от всех сковывающих ограничений.

Идеи имеют свою внутреннюю логику, которую не всегда предвидят даже их творцы. Работая над жизнеописанием своего Леккерюна, Т. Манн не в последнюю очередь думал о том, почему

эстетские и, казалось бы, элитарные воззрения Ницше оказались питательной почвой для самых низменных, варварских, бесчеловечных концепций. «Существует какая-то близость, какая-то несомненная связь между эстетизмом и варварством, над которой нам не мешало бы поразмыслить, – писал он в своем позднейшем эссе «Философия Ницше в свете нашего опыта» – опыта людей, переживших фашизм. – Эстетизм Ницше... вносит в его философские излияния что-то «невзаправдашнее», безответственное, ненадежное»*

5. ЭСТЕТИКА И ЭТИКА

«Только как эстетический феномен бытие и мир оправданы в вечности», – настаивал Ницше, развивая «взгляд на искусство как на высшую задачу и собственно метафизическую деятельность в этой жизни». Ему было слишком противно расхожее благонравие, не желающее знать о прекрасном.

Но вправе ли этот эстетический взгляд претендовать на полноту жизнеощущения? Пожалуй, утверждение приоритета эстетики над этикой или наоборот свидетельствует именно об утрате жизненного единства, заключенного в двойном платоновском смысле слова «хороший».

Есть своя красота и в темных безднах, в разложении и распаде; современное искусство особенно научило вникать в них; это тоже соответствует природной и конкретной сущности человека, для которого и болезнь и смерть естественны. Более того, распад и смерть необходимы и неизбежны в круговороте мироздания, но они могут существовать лишь включенными в некое устойчивое, непреходящее, обновляющееся единство. Хаос для искусства может быть лишь частностью или средством, ибо оно (как и сама жизнь) по определению есть преодоление хаоса, то есть распада и смерти. И в этом смысле форма все-таки связана с красотой, как бесформенность с безобразием, в этом смысле красота, возможно, есть выражение устойчивости, полноты, гармоничности.

* Ср. характеристику Ницше из того же эссе: «Этот великий лицедей и мастер перевоплощения «играл «свою жизненную трагедию» – я чуть было не добавил: им самим инсценированную.»

Вот почему забота об эстетической форме может иметь и этический смысл, особенно там, где мы не можем безусловно и сполна судить о правильности своих действий. Если мы не можем до конца чего-то постигнуть умом, просчитать всех последствий своего действия, надо положиться на форму – правила, запреты, предписания, не обсуждая их истинности (мысль М. Мамардашвили). Вот почему подчинение «дисциплине игры» (тоже родственное соблюдению эстетических законов) – залог ее гуманистического характера, способности противостоять тенденциям варварства (мысль И. Хейзинги). «Что от Бога, то упорядочено», – эти слова из Послания к римлянам вспоминает однажды не кто иной, как манновский Леверкюн. Впрочем, что для него означает порядок? Двенадцатитоновую систему?

Элемент частной лжи может входить в цельную истину; эти частные элементы истины могут быть саморазрушительны. Но в целом искусство, видимо, все же создано человечеством из какой-то потребности в устойчивости, самосохранении. Я уже не говорю о том, что, увековечивая в искусстве преходящие черты жизни, человек пытается противостоять страху смерти, продлить собственное существование: «Нет, весь я не умру...»

Конкретное произведение искусства не может ни изменить, ни улучшить мира; но искусство в целом и в «высоких», и в «массовых» своих проявлениях вносит в него одухотворенную организацию, без которой он не мог бы существовать. Пусть даже человек сам не всегда сознает глубинную суть этой потребности.

«Я считаю искусство изначальным феноменом, – писал одному из своих корреспондентов Томас Манн в 1922 году, – который ни при каких обстоятельствах не перестанет существовать, а художника как форму бытия – бессмертным... Было время, когда один великий человек, Шиллер, мог сказать: человек лишь тогда вполне человек, когда он играет. В такие серьезные и трудные времена, как наше, это звучит фривольно, и все-таки я уверен, что та священная и освобождающая игра, которую называют искусством, всегда будет необходима человеку, чтобы он чувствовал себя действительно человеком».

ТВОРЧЕСТВО КАК СЛУЖЕНИЕ ЖИЗНИ

Итак, можно сказать, что, обладая свойствами бесцельной на вид игры, искусство все-таки служит каким-то глубоким и насущным человеческим потребностям – оно по-своему способствует поддержанию и сохранению жизни...

Вот, дошел до мысли, казалось бы, своим умом – но заглянул в Платона: у него давно, оказывается, есть про это:

«Все, что вызывает переход из небытия в бытие, – творчество».

Не это ли роднит искусство со всякой животворящей энергией человека, будь то любовь или культурное деяние? Продолжение рода, физической жизни есть творчество, так объясняет Сократу мудрая гетера Диотима. Но – разве мы рождаем только тела? – замечает один мой герой...

В таком случае искусство представляется одной из сил, призванных противиться энтропии, распаду, гибели. Ведь если человек был для чего-то создан, то не для того ли, чтобы теплом своей жизни, страсти, творчества поддерживать и обновлять энергию мироздания, обреченного без него?

1976 – 1979

ДРУГАЯ ПАМЯТЬ

ФОТОГРАФИИ МЕСТ, ГДЕ МЫ БЫВАЛИ

1

Как прекрасны цветные фотографии мест, где мы бывали! Мы даже не замечали этой красоты, потому что в лесу нам докучали комары, паутина и сырость, на городской площади была жара и пыль, на стенах великолепного здания штукатурка потрескалась и рябела пошлыми автографами, пахло мочой и гарью, на этой вот живописной осенней улице с желтыми листьями и светящимся от дождя асфальтом нам было просто зябко и не по себе.

Нам бывает досадно, что реальные пейзажи и архитектурные ансамбли не дотягивают до чистоты своих непыльных изображений.

Фотография наделила новым качеством наш взгляд. Силуэт кувшина на фоне окна, прутик вербы, тюлевая занавеска – вдруг видишь это, *как на фотографии*. Она открыла нам красоту и поэзию мгновения, не только остановленного, но очищенного.

Мир, с которого только что сняли влажную пленку, и он оказался ярче, нежели представлялось.

2

Но что же словно уходит со временем из этих полноцветных изображений – вместе с духотой, пылью, запахами, усталостью, болью натертых мозолей?.. Чем больше мы смотрим на прекрасные фотографии, тем надежнее забываем все, что составляло когда-

то подлинное ощущение жизни. Четкие красочные подобию неутомимо вытесняют, подменяют смутные, трепетные, живые воспоминания, в конце концов их можно уже тиражировать равнозначно для всех – для любой из фигурок, попавших в объектив, запечатленных на открыточной бумаге. Вот кто-то вроде похожий на тебя – но ты ли? Будем считать, что ты. Ведь ты действительно был в этих местах, тут, если угодно, документальное подтверждение. Чтобы не допустить чувства, будто и ты сам уже подменен муляжом, красивым недостоверным подобием.

1986 – 1994

ОРФЕЙ

1

Почему певцу запрещено было оглянуться на любимую, которую он хотел вернуть в мир живых? Почему попытка увидеть ее въяе – как говорили в старину, «очами телесными» – уже навсегда оставила Эвридику в царстве теней?

Так тенью становится фотография, как будто запечатлевшая со всей достоверностью внешние черты жившего; можно заставить ее даже двигаться, как в кино, а можно замуровать в надгробный памятник. Так восковая фигура тем мертвенней и прозрачней, чем она совершенней и правдоподобней.

Не слышится ли что-то надгробное в словах: «памятник материальной культуры»? Есть ли что-нибудь более бездуховное, чем федоровская идея телесного воскрешения предков? Сохраниться для жизни может только духовная память.

2

Но Орфей не мог не оглянуться, потому что он был певец, поэт, то есть посредник между мирами, знающий, что для новой жизни дух нуждается в воплощении, в слове, звуке, образе, детали. Ожить может движение ресницы, запах волос, пар дыхания; мы должны

ощутить, увидеть это вместе с певцом, осуществляя каждый раз заново процесс воскрешения – каждый читатель и слушатель на свой лад, отдавая неведомой Эвридике частицу себя, своей души, своего опыта, своей творящей памяти.

1991, 1992

«ЗАПОЛНЕНИЕ ЧАШИ»

Молодые художники пригласили меня принять участие в акции «Заполнение чаши бассейна Москва». Есть, оказывается, такой технический термин – чаша. Имеется в виду всем известная яма, зияющая сейчас на месте, где стоял взорванный в 1931 году храм Христа Спасителя. Бассейн был устроен в котловане, оставшемся от фундамента неосуществленного Дворца Советов. Зимой над этим местом всегда стоял густой пар.

Теперь и воду спустили. Поговаривают о том, чтобы снова восстановить здесь храм по сохранившимся чертежам и изображениям. У проекта есть сторонники и противники, но речь не о том. Пока этого не произошло, пока зияющая в самом центре Москвы уродливая пустота еще ничем не заполнена, постоим над ней в молчаливом размышлении. Она ведь тоже своего рода символ, в духовном смысле, может быть, не менее значимый, чем все, стоявшее или хотя бы задуманное на этом месте.

Мы можем теперь лишь вообразить, каким был Иерусалимский храм, разрушенный Титом Веспасианом. Но разве оставшаяся от него Стена плача – несколько рядов громадных камней, возле которых молятся, где оставляют в щелях записочки с просьбами к Богу, где предаются раздумьям и воспоминаниям, – разве она сама не исполняет роль своеобразного храма? Над ней веет дух тысячелетий: с историей строительства, подробно описанной в Библии, – но и с историей разрушения, с историей двухтысячелетних скитаний евреев, и с историей их возвращения, с бесчисленными голосами, тенями, дыханием всех молившихся, плакавших и размышлявших здесь. Теперь каждый, даже не видевший

никогда никаких изображений и реконструкций, мысленно вправе представить себе здание небывалое, поистине «храм храмов» – и какие реальные постройки, будь они даже действительно прекрасны и грандиозны, способны превзойти образ, создаваемый нашим духом? И если снесенные стены действительно восстановить – добавит ли это что-нибудь к уже возникшему в нашей душе? не вытеснят ли они из нее, наоборот, что-то более важное?

Японский писатель Юкио Мисима рассказал в своем известном романе историю о буддийском монахе, который сжег прекрасный Золотой храм – сжег не по-геростратовски, чтобы обесмертить собственное имя, а, наоборот, чтобы оставить нетленной в веках красоту храма. Ибо, по убеждению Мисимы, подлинная – то есть духовная – жизнь прекрасного начинается тогда, когда физическое тело умирает. Мисима подтвердил это убеждение, завершив собственную жизнь как произведение искусства – самоубийством по самурайскому обычаю. В этом, пожалуй, есть что-то декадентски-умышленное, во всяком случае что-то непривычное и неприемлемое для европейской ментальности. Но мне почему-то вспомнилась еще и история о сожжении Гоголем второй части своей поэмы «Мертвые души». Есть основания думать, что она у писателя не получилась – теперь ни доказать, ни опровергнуть мы этого не можем. Зато каждый волен вообразить в своем уме нечто развивающее мотивы и сюжеты гоголевского творчества на предельно высоком, идеальном уровне – как будто самим актом сожжения неведомой нам рукописи Гоголь создал сюжет, превосходящий все, реально написанное им прежде...

Странные мысли приходят на ум, пока стоишь над невысоким берегом Москвы-реки, возле уродливой ограды, над пока еще пустующей чашей осушенного бассейна. Должно быть, сама наша история, сверх меры полная потеря, разрушений, смертей, пожаров, бесследно исчезнувших книг, рукописей и уничтоженных памятников, не случайно заставляет задуматься о феномене духовного существования, которое все-таки действительно не прекращается совсем с исчезновением физических тел. Над этим местом все еще словно витают тени Алексеевского монастыря, сне-

сенного ради постройки храма, и уничтоженного храма, к архитектурным достоинствам которого можно относиться скептически, отвергнутого первоначального проекта, о котором писал в «Былом и думах» Герцен, и невоплощенного, невозможного в принципе социалистического дворца – символа, разделившего судьбу утопии; а еще и память о знаменитой, технически тоже не осуществимой идее татлинской башни «Третий Интернационал», о сюрреалистическом сбывшемся пророчестве платоновского «Котлована», об истории преступлений и вины, разрушения и новых надежд, об утратах, которые невозможно заменить, даже если удастся соорудить что-то из новых камней, пусть, может быть, и лучше прежнего.

Пока этого еще не произошло, пока провал перед нами все еще зияет, как незажившая рана, – задумаемся прежде всего об этом. Ведь в силах каждого по крайней мере заполнить пустоты и утраты жизни работой своей мысли и своей души, своей памяти и совести. Для живущих это может значить не меньше восстановленных стен.

май 1994

КИТАЙСКОЕ ИЗРЕЧЕНИЕ

«Стремиться оставить след, память, – говорил Чжуан Цзы, – значит мыслить на уровне изменений, уходить от жизни, думать о смерти. Признак настоящей жизни, настоящего человека, настоящего искусства – бесследность».

УСПЕХ

Вдруг поймал себя на особом пристрастии к людям, не знавшим прижизненного успеха.

Бах, открытый миру более полувека спустя после смерти.

Музиль, кое-как печатавшийся, но едва замеченный и уверявший, что пишет для читателей, каких еще не существует.

Наш Платонов, с усмешкой на худом чахоточном лице наблюдавший литературную возню вокруг, когда в закромах у него были «Котлован» и «Чевенгур».

А Мандельштам. А Кафка... Случайно ли все они из числа самых дорогих мне?

Конечно, тут явления не одного ряда. Музиля и Кафку все-таки печатали, даже уговаривали печататься. Наших гениев просто душили.

Есть профессии, где успех – не просто цель, а условие самосуществления. Например, актерская. Отклик зала, аплодисменты для актера – источник энергии, которой он должен непрерывно подзаряжаться, чтобы в свою очередь заряжать зал; без них он гаснет. Обратная связь здесь осуществляется непосредственно.

В литературе отклика приходится ждать подольше; иногда на это не хватает и жизни.

С каким понимающим сочувствием комментирует Мандельштам обращение Боратынского к «провиденциальному собеседнику»: «читателя найду в потомстве я». Но как он сам задыхался без читателя сегодняшнего! «Читателя, советчика, врача!» – вытолкнуто в одном ряду, точно в астматическом приступе. Как он хотел печататься, получать за работу деньги! Другое дело, что не любой ценой.

Есть успех как встреча, как узнавание, как попадание в резонанс другой души; он сродни чуду, как и само творчество. И есть успех как результат целенаправленных усилий, угаданного спроса, внушения, как продукт индустрии успеха.

Справедлива ли мысль, что подлинный гений не может быть вполне понят большинством современников по условию – то есть просто потому, что он их слишком опередил? Музиль заметил не без сарказма, что наибольший успех в мире сулит «маленькая, в обрез отмеренная добавка суррогата», то есть чего-то упрощенного, общедоступного; без этого никакой гений не будет воспринят публикой.

Возможно, будущее суждено тем обществам, где окажется разработан механизм поддержки идей, до поры до времени малодоступных большинству.

Отношение к успеху не может не быть противоречивым. «Быть знаменитым некрасиво», – утверждал Пастернак. «Цель творчества – самоотдача». «Нас унижает наш успех» (последнее, впрочем, перевод из Рильке). Но сколько у него же эпистолярных жалоб на отсутствие успеха! По свидетельствам, он интересовался стихами Симонова, чтобы понять природу литературного успеха.

Есть примечательное высказывание Эйнштейна о шахматах: «В этой одухотворенной игре меня отталкивает дух борьбы за выигрыш». Это слова человека, которого меньше всего занимала внешняя сторона жизни, в том числе и успех. В них звучит предельная подлинность, ориентированная прежде всего на поиск истины. Ранняя удача облегчила ему дальнейшую жизнь, дала средства, внешнюю опору, возможность самоосуществления. Есть тут какая-то справедливость – не частая в нашей жизни. Но разве не меньшее восхищение заслуживает его безуспешная, почти безнадежная, одинокая работа над созданием единой теории поля, на которую было потрачено полжизни?

Однако тут же вспоминаешь, что шахматы – не просто интеллектуальный поиск; игровой элемент роднит их с искусством. А оно имеет отношение не только к истине; оно знает нечто о полноте жизни, которая выше смысла, которая охватывает и поиск этого смысла, и страсть к победе, с просмотрами и опровержимыми комбинациями, красотой и напряжением поединка, где победа нередко дается независимо от правоты, а то и вопреки ей.

И еще вспоминаешь, что стремление к успеху имеет в конечном счете биологический смысл, как всякое самоутверждение: победившему дано получить достойнейшую пару, чтобы, как у животных, осуществить отбор и произвести наиболее жизнеспособное потомство.

Только человеку, в отличие от животных, дано заглянуть и дальше. Он знает еще и о неизбежности смерти, которую победа может разве что отодвинуть.

(Не так, кстати, и мало.)

Хочешь ли ты, чтобы тебя помнили?

Естественный ответ: конечно, хочу. Именно естественный: это как инстинкт жизни, инстинкт сопротивления смерти. Стремление оставить о себе хоть зарубку, хоть имя на развалинах храма: здесь был я. Пока есть кто-то помнящий тебя, твое имя – можешь считать себя существующим.

Хотя рано или поздно забудут всех, обольщаться бессмысленно.

Мастера средневековых алтарей не подписывали своих имен, для них речь шла не об авторстве – лишь о исполнении высшего замысла.

Когда-то можно было сформулировать эту проблему вопросом: что мы значим перед людьми и что перед Господом? У наших библейских предков все совпадало: обласканный Богом был благословен перед людьми – причем при жизни. И даже многострадальный Иов, привлекая специфическое внимание сил, споривших за его душу, был к финалу вознагражден за свою стойкость: стадами, долголетием, новыми детьми взамен погибших. Позднейшее христианство внесло поправку, перенеся все вознаграждение на небеса, а светская мысль вместо рая предложила посмертную людскую память – суррогат бессмертия.

1976 – 1993

МГНОВЕНИЯ ЧУДА

ИЛЛЮЗИОН

Я лучше стал понимать, что такое кино, впервые столкнувшись с ним профессионально. Знакомый режиссер А. Г. попросил меня срочно, до вечера, написать два-три небольших диалога для кинопроб. Дело было в Кишиневе, А. Г. пригласил меня на киностудию в надежде, что я помогу ему доработать один халтурный местный сценарий. Мне дважды оплачивали самолет, интуристовскую гостиницу, оформили договор за консультацию на 300 рублей – деньги, по моим тогдашним понятиям, немалые; финансовые возможности этой организации поразили меня – действительно фабрика грез. Но не об этих чудесах сейчас речь. На пробы уже вылетал из Москвы известный актер В. Якут, а роли у него, по существу, еще не было, надо было предложить хотя бы короткий эпизод. На самого сценариста у режиссера, как я понял, надежды уже не было.

Не скажу, что я просто схалтурил; я тогда еще обладал счастливой способностью увлекаться всем, за что брался. Но о литературных достоинствах моих диалогов говорить не приходится. Достаточно сказать, что персонаж, которого должен был играть В. Якут в этих эпизодах, образованный дворянин, дядя героя-революционера, должен был, как мне казалось, говорить по-французски. Но поскольку сам я французского языка не знал, были взяты напрокат несколько реплик из «Войны и мира», понятные мне по сноскам. Предложить что-либо подобное для печати я, даже при самой большой наглости, не решился бы.

Время спустя я увидел свою сценку на экране – и, что называ-

ется, рот разинул. На освещенную солнцем застекленную веранду вышел пожилой мужчина в светлом костюме, с бородкой; напевая что-то под нос, он стал подрезать розы для букета, потом подпорхнул к вошедшей даме, поцеловал ей ручку и заговорил по-французски – с прекрасным, как показалось мне, произношением. Он произносил мои высосанные из пальца реплики – и в них появлялся смысл, даже какой-то подтекст. Словом, это выглядело как настоящее, это можно было смотреть и принимать всерьез.

Да, – подумал я, – там, где писателю понадобился бы изощренный талант, чтобы мало-мальски наглядно вызвать представление о летнем солнечном дне и об этой застекленной террасе, где ему пришлось бы описать капельки росы на свежесрезанных розах и напрячь все свое портретное мастерство, чтобы изобразить живчика-толстячка с подпрыгивающей походкой, чуть грассирующей речью, смешком и потиранием рук, где ему непросто было бы заставить читателя увидеть костюм, подмигивание, жест, услышать пенье птиц в саду – кинематографисту не требовалось никаких особых способностей. Для него это было, как говорится, делом техники. Несколько профессионалов, артист, режиссер, декоратор, гример, осветитель в считанные часы создали на экране иллюзию живой жизни. Эта жизнь: живой человек с живым лицом и живым голосом, обстановка, пейзаж, над воссозданием которых так бьется искусство словесное, здесь даны уже изначально в качестве исходного материала...

А что до пустячности разговора – Бог с ней. Так ли уж значительны диалоги хоть у Марселя Пруста? Для него важно было вызвать к жизни каждую мелочь, каждую деталь вокруг этих пустяковых слов – то, что так легко и в таком изобилии дает нам экран.

Но вот именно эта простота озадачивала и смущала.

Наглядней всего можно пояснить то, что я почувствовал, на примере экранизации. Представьте перенесенным на экран любой эпизод Льва Толстого. Ну, скажем: «Лицо ее просияло обычной улыбкой, с которой она встречала по четвергам гостей». Или лучше вот это, знаменитое: «И лицо с внимательными глазами, с трудом, с усилием, как открывается заржавевшая дверь, улыкну-

лось». Хороший артист может изобразить это с полнейшей адекватностью – мы увидим совершенно то же, что увидел Толстой (да и без него мы каждый день видим всяческие улыбки, невелика редкость).

Но мы не увидим этого так, как увидел Толстой. Нужно быть большим художником, чтобы найти для увиденного слова, сравнение, образ. Мы видим на экране улыбку, но чтобы подумать о заржавевшей двери, надо все-таки быть Толстым. То, что кажется в кино готовым результатом, на самом деле возвращенное жизненное сырье; нужно заново проделать, хотя бы в уме, художественную работу Толстого, чтобы это стало явлением одухотворенного искусства.

Кино слишком часто довольствуется видимостью – легко достижимое правдоподобие таит в себе соблазн. Мы попадаем в иллюзию и готовы принять за художественную реальность набор готовых теней, имеющих лишь внешнее сходство и с жизнью, и с искусством. Приходят на ум африканские «зомби» – движущиеся, но неодушевленные человеческие тела, неотличимые внешне от живых.

Эта неотличимость чревата опасностью. «Киношная» версия жизни именно в силу своей документальной, фотографической правдоподобности может подменить жизнь реальную. Уже существует киношная война и киношная революция, киношные преступники и герои, киношные деревни и стройки, киношная любовь, киношная эстетика и идеология. В массовом сознании эта подмена едва ли не полная. Эйзенштейн имел право на условность в изображении исторических событий: не было и не могло быть в реальности такого расстрела под брезентом, не бывает в природе таких мясных червей; художник просто добивался своей цели, эмоционального, идеологического воздействия. Подмена начинается, когда такая художественная гипербола – благодаря иллюзионистскому правдоподобию кино – входит в сознание как историческая, документальная реальность; и вот уже сочиненные кадры штурма Зимнего дворца – с ожесточенной пальбой, с карабканьем по узорным воротам – переходят из фильма в фильм

на правах хроники, а левые интеллектуалы во всем мире проникаются вполне справедливым революционным негодованием, принимая за несомненно бывший факт картины жутких расстрелов, бессмысленных зверств. Цель достигнута – мы слишком знаем это по себе, и знаем, как небезобидна для нашего сознания оказалась подмена.

Уж лучше чисто «киношная», не претендующая на достоверность условность времен, когда «фильма» (женского рода) развлекала публику роковыми страстями и ковбойскими подвигами, обращаясь к тому несовершеннолетнему, что живет в душе зрителя всех возрастов.

1976 – 1986

ЗАВОРОЖЕННОСТЬ

Не так уж часто в жизни я испытывал чувство, которое можно в полном смысле назвать замороженностью. Один раз такое было со мной в консерваторском зале, когда я слушал приехавшего Иегуди Менухина. Другой раз – что более странно – когда я смотрел по телевизору концерт Горовица.

Завораживала не просто игра – что-то было в самой их человеческой стати; какая-то эманация исходила от всего облика этих людей, от доброй, чуть грустной улыбки Менухина (не только когда он играл, но и когда раскланивался), от жеста руки Горовица в стариковских пятнышках, замершей над клавишей словно в каком-то удивлении перед музыкой (и головой удивленно покачивает), от его лица и глаз, когда он всматривался в зал, узнавая знакомых, зная что-то неизмеримо большее, чем успех.

Мне увиделось в них что-то общее, – может, порожденное еще и особой еврейской духовностью? Я вспоминал их в эти дни, стоя перед картинами Шагала, которого видел только на фотографиях и в документальных фильмах. Та же мудрая и грустная улыбка, та же несуетность и просветленность, то же высшее знание, которого ищут философствующие герои Башевица Зингера. Зингера я даже в кино не видел, но он представляется мне той же породы.

И почему-то вдруг вспомнились слова из одного из предсмертных интервью Сартра о том, что всякая человеческая жизнь приходит к крушению. Эти слова располагают к сочувствию, и смерти, что говорить, не оспоришь. Я вспомнил это, читая в тексте на выставочном стенде, каким просветленным лежал в гробу Шагал, и подумал: нет, не всякая.

17.09.1987

ПОДЛИННИК И КОПИЯ

Вот две картины, неразличимые даже для эксперта: те же краски, те же мазки, тот же холст, то же – казалось бы – эстетическое впечатление. Но мы уже знаем, что одна из них – мастерская подделка. Которая? Почему нам так важно это понять? Вот, наконец, мы узнали, что эта, – и в тот же миг словно что-то из нее улетучивается. Что? Сознание, что другой, настоящей, касался великий мастер? что на ней, может, сохранились микроскопические частицы пота с его пальцев? осели следы его дыхания? Ерунда, чистая условность.

В Индии эпохи Моголов принято было копировать миниатюры, причем на копиях ставились старые даты и имена прежних художников. Современные историки искусства становятся в тупик, пытаясь отличить копию от оригинала.

Но какая, опять же, разница?

Я как-то попробовал размышлять над фантастическим сюжетом: придуман способ *поатомного* воспроизведения любых предметов, а там в конце концов и людей. Скажем, чтобы сохранить особо ценного двойника на случай гибели подлинника. Сам воспроизведенный двойник не должен был, естественно, знать, что он ненастоящий, это грозило понятными психологическими осложнениями. Он как бы возвращался к жизни после некоторого не совсем понятного провала в памяти. Ну, это можно было ему объяснить, тут уже начинались подробности, и мерещились даже весь

ма эффектные. Скажем: человек все-таки узнает, что он как бы ненастоящий.

Но что это в конце концов значит: настоящий, ненастоящий? Какая все-таки разница?

Может быть, из копий исчезает душа? – и это нечто вроде тех же африканских «зомби», движущихся подобий, вызывающих суеверный ужас, – не отличишь от живых людей?

Но тогда что такое душа?

1977 – 1987

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОГОВОРКА

Когда заходит речь о целях и задачах литературы, о критериях плохого и хорошего в ней, уместно для начала оговориться об одной азбучной истине: словом «литература» обозначается на самом деле целая совокупность разных, порой мало похожих друг на друга явлений. Героический эпос и эстрадный скетч, интеллектуальный роман и лирическое стихотворение, документальный репортаж и драма абсурда, философское эссе, детская сказка, футуристическая заумь, фантастика, мемуары, духовные песнопения, визуальные эксперименты, семейная хроника, еще многое, многое другое – все это мы привыкли называть литературой, и попробуй подвести это под общий знаменатель.

30.11.1994

О БЕЗНАЛИЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Возможно, стоит начать со спорта, например с футбола. В детстве я сам играл, потом ходил «болеть» на стадион, но больше смотрел или слушал репортажи. Сама «плоть» игры при этом становилась все менее существенной, интересны были возникавшие вокруг нее абстрактные эмоции, переживания о турнирном положении команд, споры о игроках, о судейских ошибках. Появилась своя прелесть даже в чтении отчетов о играх, которых вовсе не видел, свой драматизм был даже в перемещениях внутри таблицы: можно было, не играя, не видя матчей, даже не слыша и не читая о них, переживать взлеты и падения, сенсационные победы и неожиданные поражения.

Нечто подобное я испытывал одно время, читая литературные статьи и бурные дискуссии. Я чаще всего не знал книг, которые в них поминались. Разговоры велись вокруг имен и явлений, для меня, по крайней мере, не существовавших, вокруг мнимых проблем (к подлинным прикасаться не разрешалось). Но в них была своя страсть: выстраивались «обоймы», кто-то возвышался или низвергался, устанавливались связи между как будто реальными явлениями.

Это называлось тогда «литературным процессом». Но мне больше понравилось услышанное однажды определение «безналичная литература». Она функционировала, как настоящая.

1978 – 1986

О НЕПОСРЕДСТВЕННОМ ЧУВСТВЕ

В рассказе Х. Л. Борхеса «Алеф» поэт, не дожидаясь критиков, сам комментирует свои стихи: «Эта строфа интересна во многих смыслах... Первый стих должен снискать одобрение профессора, академика, эллиниста... второй – это переход от Гомера к Гесиоду... третий стих – идет он от барокко, декаданса или от чистого и беззаветного культа формы? – состоит из двух полустижий-близнецов; четвертый, откровенно двуязычный, обеспечит мне безусловную поддержку всех, кто чувствует непринужденную игру шуточного слога. Уж не буду говорить о рифмах и о кругозоре, который позволил мне – причем без педантства! – собрать в четырех стихах три ученые аллюзии, охватывающие тридцать веков, насыщенных литературой...». И т. д. в том же духе.

Хорошо, что Борхес предпослал этому комментарию сами стихи:

– Подобно греку, я народы зрел и страны,
Труды и дни прошел, изведал грязь и амбру;
Не приукрасив дел, не подменив имен,
Пишу я свой вояж, но... *autour de ma chambre*.*

Мы можем с облегчением убедиться в очевидном графоманстве автора. (Вряд ли перевод здесь что-либо существенно усугу-

* вокруг собственной комнаты (фр.)

бил.) А то ведь, встречая такие пассажи, впору усомниться в собственном непосредственном чувстве.

Но ведь и непосредственное чувство – далеко не всегда достаточный критерий, вот в чем дело. Разве я не помню, как сам, воспитанный на передвижниках, пожимал плечами, впервые увидев картины импрессионистов?

Л. Толстой достаточно убедительно продемонстрировал, как нелепо выглядят оперные страсти для человека, не воспринимающего условных знаков данного искусства, стиля или произведения. Произведение нужно воспринимать на его языке, в системе его символов – но еще и в контексте времени, культуры, судьбы автора, всего его творчества; без комментариев многого в самом деле иной раз не понять.

На какую отповедь натолкнулся Гоголь, вздумавший (задним числом) утверждать, что в «Ревизоре» вывел вовсе не реальных персонажей, а некие символы! «Всмотритесь-ка в этот город, который выведен в пьесе! Все до единого согласны, что такого города нет во всей России... Ну а что если это наш же душевный город, и сидит он у всякого из нас?.. Ревизор этот – наша проснувшаяся совесть... Хлестаков – ветренная светская совесть, продажная, обманчивая совесть... Лицемеры – наши страсти». И т. д.

Актер М. Щепкин отвечал ему в мае 1847 года: «До сих пор я изучал всех героев «Ревизора» как живых людей... Оставьте мне их, как они есть... Не давайте никаких намеков, что это не чиновники, а наши страсти... Нет, я их вам не дам!.. После меня переделывайте хоть в козлов, а до тех пор я не уступлю вам Держиморды, потому что и он мне дорог».

Оставим сейчас в стороне вопрос, насколько в своем объяснении Гоголь лукавил (пусть даже с самим собой – так смутила его общественная реакция на постановку пьесы). Наше непосредственное чувство противится этому объяснению – хочется согласиться со Щепкиным. Между тем почти буквально схожее толкование своего метода обосновывает Гессе: «В нашем современном мире... есть поэтические произведения, где под видом игры лиц и характеров предпринимается не вполне, может быть, осознанная

автором попытка изобразить многоликость души. Кто хочет познать это, должен решиться взглянуть на персонажей такого произведения не как на отдельные существа, а как на части, как на стороны, как на разные аспекты некоего высшего единства (если угодно, души писателя)».

Ну а кто об этом не предупрежден, волен видеть в его персонажах живых людей, с характером, внешностью, судьбой.

1988

НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПЛАГИАТА

Герой одного рассказа Х. Л. Борхеса мечтал заново написать хотя бы некоторые страницы «Дон Кихота» – не меняя в тексте ни слова.

Наверное, каждый из нас творит нового, своего «Дон Кихота», не меняя ни слова, и творит не однажды, а каждый раз, когда перечитывает его заново, в новом времени, переводя на язык своей личности, своей души, своего ума, зрения, слуха, возраста, своего неповторимого, обновляющегося опыта.

В этом смысле подлинное чтение – тоже творчество, или, если угодно, сотворчество, непрестанный диалог, в котором слово имеет не только автор (причем каждому читателю он говорит свое). Это искра, высекаемая скрещением умов, жизней, воображений.

И примерно в таком же смысле можно говорить о невозможности плагиата.

Писатель может использовать материал книг с тем же правом, с каким он использует собственный жизненный опыт. Сюжеты Шекспира заимствованы не только из хроник – он брал целые сцены у своих современников. Томас Манн переписывал для своих романов целые страницы из энциклопедий и научных трудов. Он сам называл это «высоким списыванием», но мне случилось читать, как исследователи, вдруг обнаружив такие заимствования, с возмущением замечали: этак любой бы мог написать «Иосифа и его братьев».

А вот попробовали бы! В том-то и дело.

Писатель, как пчела, берет взятки с разных цветов, но перерабатывает их в свое – в свой мед, плод и творение своего нутра. И все решает способность перерабатывать. У мухи почему-то не получается.

Не говорю о временах, когда авторское своеобразие отнюдь не считалось достоинством. «Задонщина» ли переписана со «Слова о полку Игореве» или наоборот? Поэзия с развитыми традициями пользуется образами, ассоциациями, целыми блоками, заимствованными у предшественников, не называя первоисточников, рассчитывая на осведомленность читателя. Но первоисточники могут и вовсе теряться в неизвестности. Исследователи до сих пор продолжают обнаруживать пушкинские «плагиаты». Мандельштам уже мыслил готовыми, наработанными культурными знаками.

Хотя иногда правильной говорить, наверное, не о заимствованиях, а о перекличках. Пастернак в стихотворении «Лето» (1930) пишет о «терпком терпенье смолы». Мандельштам («Сохрани мою речь навсегда», 1931) употребляет почти тот же образ: «За смолу кругового терпенья». С чего бы смола ассоциировалась с терпением у двух разных поэтов? Насколько осознанны или бессознательны такие переклички?

1975 – 1983

ПОЭЗИЯ И ЛИТЕРАТУРА

1

«В последние годы жизни Маяковского, когда не стало поэзии ничьей, ни его собственной, ни кого бы то ни было другого... когда, скажем проще, прекратилась литература, потому что ведь и начало «Тихого Дона» было поэзией, и начало деятельности Пильняка и Бабея, Федина и Всеволода Иванова...»

Так начал известную главу своих воспоминаний «Люди и положения» Борис Пастернак. Остановим чтение, вникнем. Ибо тут

случай из тех, когда больше кажется, будто понимаешь, о чем идет речь.

Что означает здесь слово «поэзия»? Ясно, что не стихотворчество (в противоположность прозе), скорее, какое-то качество литературы. Но, может быть, и «литература» здесь – не совсем уместное слово?

«Пожалуйста, рассматривайте мои книги не как произведения литературы, не как выражение неких суждений, но как поэтическое творение... – просил Герман Гессе в одном из писем. – Литератор... всегда остается в сфере рационального... Поэзия... значит и содержит в себе много больше того, что доступно рациональному рассмотрению».

А для Осипа Мандельштама литература и поэзия были попросту понятиями несовместимыми. «Чиста только поэзия, пока в нее не прорывается литература», – так передает его мысль Н.Я. Мандельштам.

Среди очевиднейших характеристик поэтического текста, по Мандельштаму, – принципиальная невозможность его пересказать. «Там, где обнаруживается соизмеримость вещи с пересказом, там простыни не смяты, там поэзия, так сказать, не ночевала».

Но разве не поэзия в этом смысле – «Гаргантюа и Пантагрюэль», «Моби Дик», «Шум и ярость»? И не это ли подразумевал Гоголь, называя «Мертвые души» поэмой, а не романом?

Дело не в количестве строк, не в рифме и не в ритме. Поэзия отвечает своим чудом на чудо жизни, на ее неисчерпаемое богатство и тайну, в которую можно углубляться бесконечно, перечитывая одни и те же страницы.

Все прочее – литература.

1992, 1994

2

«И вот, если подвести итог, рассказ развивается так: бормотание, бормотание, лирический всплеск, бормотание, лирический всплеск, бормотание, фантастическая кульминация, бормотание, бормотание и возвращение в хаос, из которого все возникло».

О каком это рассказе пишет В.Набоков? О гоголевской «Шинели», ни более ни менее!

«На этом сверхвысоком уровне литература, конечно, не занимается оплакиванием судьбы обездоленного человека или проклятиями в адрес власть имущих. Она обращена к тем тайным глубинам человеческой души, где проходят тени других миров, как тени безмянных и беззвучных кораблей».

Это уровень, на котором правильней говорить, наверно, уже не о литературе, но о поэзии. «А под поэзией, – писал Набоков, – я понимаю тайны иррационального, познаваемые при помощи рациональной речи».

10.02. 1995

АПОЛОГИЯ ЛИТЕРАТУРЫ

1

Всевозможные похороны, отпевания и поношения литературы становятся своего рода ритуалом. Особый список грехов предьявляют конкретно русской литературе: она, оказывается, чуть ли не повинна в исторических бедах нашего общества, которое «поставило свое существование в зависимость от писателей», было отравлено литературным подходом к жизни; «литература стала властью в России», она подменила собой историю и т.п. (Цитаты из недавних публикаций, но сама тема идет по меньшей мере от Розанова.)

Примечательно, что все эти возгласия исходят из самого литературного лагеря. Комплекс вины (или неполноценности) бывает оборотной стороной мании величия – преувеличенного представления о своей роли, возможностях и целях. Что касается русской литературы, то она, как известно, волею исторических судеб отчасти была вынуждена заниматься тем, для чего в других странах существовали профессионалы: политики, парламентарии, специалисты по сельскому хозяйству, теологи, наконец. «Красное колесо», по словам автора, возникло из необходимости сказать насущную правду о важнейшем периоде нашей истории – больше

было просто некому. Отсюда было недалеко до известных мессианских порывов: потребности провозгласить новую, спасительную для всех истину, создать небывалое вероучение. Впрочем, для писателя это означало обычно отказ от литературы как занятия сомнительного, если не греховного.

Изменились времена, в разных областях нашей жизни объявились профессионалы – какие ни есть, но способные делать свое дело и без писателей. Отечественная литературе приходится привыкать к новому положению и новой роли – заново осмысливать собственное существование. Состояние, что говорить, не простое. А тут еще проблемы, более знакомые остальному миру, чем нам, рыночного свойства прежде всего. Или экспансия визуально-электронных искусств и развлечений (больше развлечений, чем искусств), которые, при всем нашем отставании от мира, уже в обозримом будущем грозят вытеснить старомодную литературу на скромную обочину. А уже звучат разговоры и о вовсе новой культуре, которая не будет нуждаться ни в словесном выражении, ни в сложной электронике, а обойдется вообще без «материального», черпая энергию, как выразился один критик, «непосредственно из вечности».

2

На эти темы стоит порассуждать всерьез. Помимо словесной природы, одной из характеристик литературы можно считать ее способность посредничать, так сказать, между земным и небесным. Это, между прочим, определяет ее отграничение от духовности чисто «небесной», религиозной. Литература связана с религией генетически. Религия может пользоваться литературными текстами, каковыми являются буддийские джатаки или истории иудео-христианской Библии, но может обходиться и без них, во всяком случае, когда обращается к уже верующим, убежденным. Духовные стихи, в которых звучат лишь слова о Боге, Святом духе, спасении и т.п., могут произвести впечатление скорей на тех, для кого эти слова уже наполнены содержанием. Не обращенного нужно сначала убедить на языке земных образов, очевидных и значи-

мых для него. Когда герой Пастернака говорит, что главное для него в Евангелии – не «нравственные изречения и правила», а то, «что Христос говорит притчами из быта, поясняя истину светом повседневности», – он, в сущности, восхищается литературным элементом в нем.

Я как-то пытался в споре объяснить, чего мне не хватает в «чисто» духовной словесности, почему я отличаю ее от того, что мне представляется литературой. Можно повторять «Бог» – и это мне ничего не скажет. Но можно заговорить, допустим, о корове или пусть даже о навозе – и это будет о Боге. Я тогда не знал индийской легенды о паломниках, которые сочли себя оскверненными, увидев на дороге коровью лепешку, и поспешили к реке омыться. Но тут из лепешки восстал бог Индра и сказал: «Это я превратился в коровьи лепешки, ибо нет на земле ничего чистого и нечистого».

Бог в коровьей лепешке – вот это для литературы, это ее сфера. Кстати, можно вполне обойтись и без Бога: писать, скажем, о составе и полезных свойствах навоза, о правильном использовании его в хозяйстве, о чистоте в коровниках и конюшнях или о проблемах тамошнего персонала. Достойнейшее, полезнейшее дело, может, гораздо более нужное, чем литература. Но с литературой смешивать его все же не стоит – а такое случается сплошь и рядом. Литература начинается там, где конюшни будут хотя бы Авгиевы.

Что до разговоров о «прямом соитии с вечностью» как будущем искусства и разнообразных опытов в этом духе... Можно, конечно, написать на бумаге слово «вечность» и медитировать над ним, можно медитировать над чистым листом бумаги и даже вовсе обойтись без него – все это было давным-давно и, наверное, имеет свой вполне достойный смысл. Просто не надо и это считать разговором о литературе.

3

Может ли грядущая электронно-визуальная цивилизация обойтись вовсе без литературы? Вполне допустимо. Литература существовала не всегда, возможно, ей не суждено быть вечной. Но пока что она обеспечивает, видимо, какую-то насущнейшую человеческую

потребность, дает что-то, чего не способно дать нам ничто другое. Словесная природа литературы вовлекает читателя в великое таинство – мистирию сотворчества. Мы, привыкшие, уже не отдаем себе отчета, какое это ни с чем не сравнимое чудо. Человек пробегает глазами череду черных значков на пластинках белого вещества – и переносится в мир иных событий, звуков, красок, лиц, страстей. Значки на бумаге для всех одинаковы, но мир возникает для всякого свой – он воссоздается на пересечении с его небывалой жизнью, опытом, интеллектом, воображением. Лица и голоса здесь не до конца выявлены, мысль при каждом новом прочтении может обогащаться: мир подлинного произведения литературы неисчерпаем и многозначен. Любая экранизация, грубая попытка материализовать написанное не просто обедняет этот мир: человеку оставляется роль пассивная, всю творческую работу проделывают за него режиссер, актеры, художник.

Отсюда вовсе не следует, что потребители этих чудес, оставшись без литературы, будут чувствовать себя менее счастливыми. Может, как раз наоборот. Но были уже попытки вообразить себе и более отдаленные последствия. Не обернется ли это доступное счастье упрощением и даже извращением психики, обеднением и иссяканием каких-то высших духовных потенций?

Не случайно же авторы антиутопий от Хаксли до Брэдбери с такой тревогой всматривались в «прекрасный новый мир» электронно-фармацевтического благоденствия, из которого оказывались изгнаны почему-то именно книги; не случайно именно к книгам тянутся аутсайдеры и беглецы из этого мира – чего-то насущнейшего им там не хватает.

Действительно ли человеку так нужна литература? Или тут говорит отчасти объяснимое пристрастие авторов, которые сами все-таки – люди книги?

4

У этой темы разные ипостаси, к ней примерялись с разных сторон. Вот, например: вокруг литературы (и вообще искусства) складывается уже целая область духовной деятельности, которая с какого-то момента может в принципе обходиться и без произве-

дений как таковых. Литературный манифест начинает значить ничуть не меньше, он даже представляется чем-то первичным – произведение может его иллюстрировать или конкретизировать. Филологическая, комментаторская, концептуалистская деятельность занимает место литературы. Мыслимой вершиной такого развития можно считать гессевскую игру в бисер.

Гессевская Касталия возникла из потребности противостоять разрушительным тенденциям эпохи, гибели искусства, духа, нравственности, языка. И вот эта «Касталия вообще отказалась от создания произведений искусства... стихотворство считалось и вообще невозможным, смешным и предосудительным занятием».

Тема, как говорится, для размышления. Как и ее дальнейший поворот: в пору глубокого душевного кризиса любимый герой Гессе Йозеф Кнехт, Великий Магистр, не смог ограничиться придумыванием очередной игры – преодолевая запрет, тайком от окружающих, движимый какой-то неодолимой потребностью, он стал сочинять стихи и рассказы.

Объявить ли это опять всего лишь произвольным решением, профессиональной пристрастностью писателя Гессе?

5

Сомнения в праве литературы на существование – порождения и свидетельства кризиса. Они звучат с особой силой, когда кризис оборачивается катастрофой.

Известность получили слова Т. Адорно: «После Освенцима нельзя писать стихи». Страшный опыт нашего века, пожалуй, как никогда, обострил сомнения в смысле и даже нравственной дозволенности литературы. Но этот же опыт дал, быть может, самый неожиданный в своей убедительности довод о ее необходимости.

В рассказе «Афинские ночи» Варлам Шаламов напоминает рассуждения Томаса Мора о четырех основных потребностях человека, удовлетворение которых способно доставить ему блаженство. В нечеловеческих условиях колымского лагеря выяснилось, что не менее насущной оказывается для человека пятая потребность – потребность в стихах.

«У каждого грамотного фельдшера, сослуживца по аду, оказывается блокнот, куда записываются случайными разноцветными чернилами чужие стихи – не цитаты из Гегеля или Евангелия, а именно стихи. Вот, оказывается, какая потребность стоит за голодом, за половым чувством, за дефекацией и мочеиспусканием.

Потребность слушать стихи, не учтенная Томасом Мором. И стихи находятся у всех».

Поразительное, не подлежащее сомнению свидетельство. Существенно, что именно в гибельных, нечеловеческих условиях стихи становятся в ряд насущных, природных потребностей.

Не подтверждает ли это мысль, что произведение литературы, вообще искусства, как порождение творческой воли, по самой природе своей есть акт преодоления хаоса, распада, а значит, акт сопротивления смерти, небытию? И не потому ли оно способно служить жизни, поддерживать ее, как о том свидетельствуют выжившие – в том числе и выжившие благодаря стихам?

«Страшные переживания, которые привели меня как человека на край смерти и сумасшествия, выучили меня писать. Если бы я не умела писать, я не выжила бы. Писать меня учила смерть». Это свидетельство Нелли Закс, пережившей трагедию в другой стране.

6

Нет, не просто эмоционально понятное нежелание уступить сцену побуждает нас доискиваться, зачем все-таки нужно даже нашему времени это, что говорить, довольно странное и сомнительное для взрослых людей занятие – помимо религии, философии, помимо наглядных, куда более полезных и понятных дел. Зачем-то оно однажды понадобилось человечеству – и, может, все-таки нужно будет всегда?

Забавно бывает читать новейшие сетования, что весь материализованный мир уже «закрыт» описаниями, литературе как таковой уже нечего делать. И это все было. Это, между прочим, одна из тем знаменитого разговора с чертом композитора Адриана Леверкюна в романе Томаса Манна «Доктор Фаустус». «Мы-то натасканы в литературе, мы сразу замечаем, что экспромт не нов».

Можно разве что «поднять игру на высшую ступень, играя с формами, о которых известно, что из них ушла жизнь». Тоже вполне постмодернистский разговор. И признаем опять: в нем есть своя правда.

С одной только важнейшей оговоркой: нас, таких, как мы есть, еще не было. Как не было и нашего времени. Пока мы живем, новое будет рождаться на пересечении с этим небывалым временем, с нашей общей жизнью и жизнью каждого. С нашими идеями, концепциями и находками тоже, новы они или нет, как и со всей предшествующей историей и культурой.

Все мы, в самом деле, натасканы в литературе, футуризм для нас давно плюсквамперфект. С бестрепетным почтением читаешь, скажем, теоретические рассуждения В.Шкловского – и вдруг: «Сегодня плакал в уборной. Очень обидная вещь старость».

И вздрогнет сердце. Такое будет трогать всегда, пока не переменится сама природа человека. Как трогает песня древнеегипетской девушки, вздох израильского мудреца Соломона или плач китайского историка, оскопленного по приказу императора. Это все-таки не случайно записано человечеством. И если это называется литературой – думаю, это пребудет вечно.

ЗАМЕТКИ ЧИТАТЕЛЯ

МИР АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА

Станция Графская. Поезда на Усмань, Воронеж, Рамонь (там сейчас лагерь для заключенных, я еду на свидание). Платоновские места. На станции белобородые, нищего вида старики с палками. У одного мешок на плече, на босу ногу – опорки из резиновых сапог. Может быть, выросший мальчик Платонова. Не всем же удалось стать машинистами, поступить в техникумы. В Москве уже таких не встретишь – исконная, застарелая нищета.

16.7. 1966

РЕАЛИЗМ И МИФОЛОГИЯ

Первое чтение Платонова потрясает, как открытие нового мира. Потом, расширяя для себя этот мир от книги к книге, знакомясь с его обитателями, – похожими больше друг на друга, чем на разнообразие людей в остальном мире, – пытаешься осмыслить его, понять его суть и непростое отношение к нашему неплатоновскому (как: неэвклидову – или наоборот: эвклидову) миру.

Начало рассказа «Мусорный ветер» долго меня отпугивало: смущала недостоверность изображения Германии, страны, которой Платонов тогда не видел. Не сразу я понял, что дело тут не в достоверности, во всяком случае, не в достоверности внешней. Это как бы духовная модель бездушного, звероподобного, механического мира, где реалии (Германия, 1933 год, национал-социалисты, Гитлер) являются лишь знаками, привязкой.

Реальна ли коммунистка, заявляющая, что фашисты не способны ее изнасиловать, потому что они не мужчины? Она так же

далека от житейского правдоподобия, как и эти фашисты (уж насиловать-то они умели). Здесь не члены реальных политических партий, а сказочные представители сил добра и зла, и зло по природе своей бесплодно.

Какое отношение к портрету реального Гитлера имеет описание памятника ему? «На лице памятника были жадные губы, любящие еду и поцелуи, щеки его потолстели от всемирной славы, а на обыкновенный житейский лоб оплаченный художник положил резкую морщину, дабы видна была мучительная сосредоточенность этого полутела над организацией судьбы человечества».

Но не так ли и платоновская Россия – которую писатель знал вплотную, на ощупь – имеет далеко не явное, не прямое отношение к реальной стране? А люди... Красноармейцы, возвращающиеся с гражданской войны «с обмершим, удивленным сердцем» («Река Потудань»): «они выросли от возраста и поумнели, они стали терпеливей и почувствовали внутри себя великую всемирную надежду». Как будто мы не знали других типов. Тут едва ли не все на одно лицо, на лицо Никиты Фирсова: «скромное, как бы постоянно опечаленное... от сдержанной доброты характера».

Не так уж существенна для многих героев Платонова и национальная принадлежность. Конечно, у него очень много конкретных русских примет, русского быта. Но когда он пишет: «молодой нерусский человек Чагатаев», – это лишь оттенок в изображении некоего «общечеловека», какими, по сути, являются и представители других наций в «Джан», и немцы в «Мусорном ветре», и цыганка в «Чевенгуре», и карел в «Сампо». Платонова интересует антропологическая, экзистенциальная суть.

Многие книги Платонова, при всем своем вещном реализме, относятся к действительности как метафора, т.е. мифологичны. Здесь можно говорить о высшей, если угодно музыкальной, подлинности.

«Чевенгур» – почти сюрреалистическая модель нашей реальной истории, с ее вдохновенными, чистосердечными идиотами и нежными мудрецами.

Кажется, будто из этого романа извлек нынешний публицист свой вывод о социализме как об инстинктивной тяге к смерти, а я бы сказал: как о надежде слабого человека на конец мира и истории.

Не представляю, как это может звучать для читателя нерусского. При всей фантастичности здесь все – наша, конкретная, не теряющая своей злободневности проблематика.

Пластика «Чевенгура»: колоннада в виде женских ног посреди степи, рыцарь в доспехах, голый музыкант на фаэтоне, предводительствующий толпой женщин. Священник-фаллос в «Мусорном ветре», люди, обросшие шерстью... Спрашиваешь себя, знал ли Платонов Босха, средневековых мастеров, современных сюрреалистов? Мы пока так мало – меньше, чем о живших столетия назад – знаем о нем, нашем недавнем современнике, о его жизни, о характере его образованности. Связь его со многими философскими и художественными школами кажется очевидной, но в какой мере это именно связь, влияние, в какой – нечаянная перекличка?

ПОЭТИКА ПРОЗЫ

Читать Платонова бегло и легко нельзя. Сама структура фраз требует чтения медленного, углубленного, небольшими кусками: слишком густо замешенное письмо.

В «Чевенгуре» одна и та же тема повторяется, развивается, как в баховской музыке. А еще эта книга напоминает большие картины Брейгеля или Босха, где каждый фрагмент можно и нужно рассматривать особо: в этом смысл и цельность композиции.

Рассказы Платонова сделаны из того же вещества, что роман. Каждая клетка стремится вобрать в себя универсум, каждая представляет за целое. Разница не столько в степени, сколько в масштабе. Платоновский рассказ можно выкроить из романа, можно и продлить до романа.

Поэтика Платонова органично возникла вместе со всем платоновским миром и неотделима от него. К этому писателю удиви-

тельно подходят слова, сказанные совсем по другому поводу Н.Я. Мандельштам: «Поэт... не пользуется суждениями-формулами, которые в ходу у людей его эпохи, а извлекает мысль из своего миропонимания... Мысль – сырая, необработанная, с еще не стершимися углами. Не в таком ли смысле говорил О. М. о сырьевой природе поэзии, о том, что она – несравненно большее сырье, чем даже живая разговорная речь?»

Гениальные сгустки – как кристаллы в глине. Общая масса кажется именно глинистой, аморфной, по-русски бесформенной, но гениальность автора, как заряд великой мощности, вдруг, ударив, выплавляет, рождает из этой массы кристалл.

Он слишком мало заботится о чувстве меры и пропорции, которые создают видимость формального совершенства, – тоже русская черта. Его здания нагромождены из камней, среди которых есть и циклопические глыбы, и самородки чистого золота, но попадется под руку ком засохшей земли или даже кизяк – тоже идет в дело, казалось бы, без заботы о прочности, о связующем веществе. Иной из серенького кирпича выстроит что-нибудь изящное, с колоннами, приспособленное для удобного житейского пользования. А здесь – неуютно.

Провалы у Платонова под стать его взлетам. Тоже русское. Я здесь не говорю о вынужденных попытках насилия над собственными текстами, похожих на самокалечение, – до нас только сейчас доходят истории его издательских мытарств, черновики, несущие следы мучительных, подневольных переделок, редакционной цензуры и самоцензуры. Никто из пытавшихся существовать в реальной литературе советского времени не обошелся без потерь. Удивляться тут следует скорее другому: как ему при всем том удавалось почти невозможное: после всех переделок, почти самоудушения остаться все же самим собой – и в большинстве случаев все равно непригодным для печатанья: гениальное своеволие выпирало. Хотя, может, именно это стремление оставаться самим собой даже там, где это было едва ли возможно, произ-





водит порой особенно мучительный эффект. Иные места бывает неловко читать.

СОВЕТСКОЕ

В одной из статей Платонов упрекал Гоголя за то, что он, в отличие от Пушкина, не видел пути от мертвых душ. Он мечтал о восстановлении единства мысли и дела. Но он же и показал, как убога и болезненна оказалась попытка этого единства в «Чевенгуре», как ущербны тут и мысль, и дело.

Ранние стихи, рассказы, статьи Платонова написаны словами его бредящих будущим героев. Нет, он не оценивает их с посторонней высоты в зрелых своих романах. Он вскрывает несостоятельность этих слов и порывов изнутри, он мучительно соперничает своим героям, трагически правдивый и глубокий поневоле, даже против воли, ибо гениален.

(Нынешнему читателю, для которого это будущее уже минуло, не стоило бы гордиться превосходством своего понимания. Не только потому, что пониманию задним умом – другая цена, но и потому, что совсем без такого бреда, или, если угодно, без мечты, человек тоже ущербен.)

Заметим, что у Платонова гражданская война, коллективизация, взаимные убийства, все происходящее совершается самим народом, а не посторонней силой. Власть разве что исказила, поработила своими лозунгами мозги этих людей – они обосновывают свои действия чужими, непереваванными словами. Впрочем, по сравнению с этим порабощением массовое насилие, возможно, вторично.

В спорах о том, существовала ли на самом деле советская литература и что это, собственно, такое, стоит вспомнить Платонова. Его книги – одно из ярчайших свидетельств, что Октябрьская революция породила не просто новый общественно-политический строй, систему власти и экономики, но поистине новую, небывалую цивилизацию, со своей историей, мифологией и эсхато-

логией, со своей системой ценностей, эстетикой и моралью, культурой и словарем. Этот словарь заучивают в «Котловане» колхозницы, собравшиеся в «избе-читальне по делам культурной революции». По алфавиту, на букву «а»: «авангард, актив, аллилуйщик, аванс, архилевый, антифашист». На «б»: «буржуй, бессменный председатель, браво-браво, ленинцы!»

Представим, что это читает, допустим, Чехов, не доживший до описываемых времен всего двадцать с небольшим лет. Он мог бы понять все у Бунина, современника своего и Платонова, но здесь, как и Бунин, уловил бы, и то недостоверно, лишь отдельные слова; смысл разговоров, логика, поворот мысли этих людей остались бы ему недоступны, как иностранцу, как пришельцу из другого мира.

ИДЕОЛОГИЯ

Уязвимей всего писатель оказывается, когда пробует что-то проповедовать от собственного имени, т.е. когда он становится идеологичен – независимо от того, насколько правильна и хороша идея.

Читаешь, например, у Платонова, что после Пушкина никто в русской литературе не мог дать народу опоры в его тяжелой жизни; только Горький продолжил дело Пушкина. Ведь именно народ, а не интеллигенция – главный читатель. «Пушкин бы нас, простых людей, не оставил». И т.д.

Не только в критике – неловкое чувство испытываешь, читая и некоторые места военных рассказов Платонова. Конечно, надо иметь в виду, что при всей грубой реальности деталей здесь царит скорей дух сказки или былины. Враги, немцы – не люди, а воплощение бездушного зла, абстрактные силы Идолища поганого. Отсюда – непростое для оценки мироощущение: солдат испытывает «радость войны, счастье уничтожения зла». Увидев однажды немцев, убитых его оружием, «Артемов вздрогнул тогда от восторга: он увидел глазами и узнал на ощупь свое великое творение: убийство зла вместе с его источником – телом врага». Не будь это так абстрактно, это было бы в нравственном смысле до-

вольно сомнительно: восторг при виде человеческих трупов (скорей кровавых ошметков).

Великое достоинство Платонова: стремление поставить каждое движение, действие, ощущение человека в связь со всем мирозданием, оборачивается нередко и слабостью. Ощущение такой предельной сопричастности возможно не сплошь, а в высшие минуты – любви, рождения, смерти. Замес Платонова становится подчас слишком однороден и густ; как-то неестественно проталкиваться на высшем напряжении сквозь каждую фразу. Когда же на столь неестественной ноте долго держится и диалог персонажей, становится опять почти неловко: «– А ты, капитан, вот что! Ты приумножь-ка это доброе сокровище отцов в наших бойцах, раз ты его понимаешь правильно. Дурни мы будем, если отцовское наследство, сердечную свою натуру расточим... – Не расточим, товарищ полковник... Казак-боец не даст расточить, он даром не умрет, отец не напрасно его на свет родил...» И т.д.

Этот переход достоинства в слабость я наблюдал и у любимого своего Фолкнера. Их многое сближает в моем восприятии – и, между прочим, программное слово «ярость» в заголовках работ: «В прекрасном и яростном мире» – «Шум и ярость» (fury – вообще одно из любимых слов Фолкнера).

ЭРОТИКА ПЛАТОНОВА

Эротика Платонова нерадостна, нелегка, темна. В жизненной любви герою не хватает физической силы, страсти, просто желания – он любит преимущественно умом или, как кажется ему, сердцем. Так бьется вся сила в сердце у Никиты, приливает к горлу, «не оставаясь больше нигде». Когда «жестокая, жалкая сила» приходит к нему, он познает лишь «бедное, но необходимое наслаждение» («Река Потудань»).

А эротика вот где:

«Из небольшой уличной церкви выходили белые блаженные девушки с глазами, наполненными скорее влагой их любовного влагалища, чем слезами обожания Христа».

«На крыльцо католического храма вышел римский священник, возбужденный, влажный и красный, – посол бога в виде мочевого отростка человека» («Мусорный ветер»).

«Вздучался и делался твердым» губительный горбун Кондаев в «Происхождении мастера». Эротика разлита в платоновском мире; она бывает связана не столько с любовью, сколько со смертью и ужасом – достаточно вспомнить предсмертную судорогу Дванова в «Чевенгуре».

ПРАВДА СМЕРТИ

Говорят, никому не дано правдиво описать смерть: все будет умственная реконструкция. Но вот как это делает Платонов:

«Никакой смерти он не чувствовал – прежняя теплота тела была с ним, только раньше он ее никогда не ощущал, а теперь будто купался в горячих обнаженных соках своих внутренностей... Наставник вспомнил, где он видел эту тихую горячую тьму: это просто теснота внутри его матери, и он снова всовывается меж ее расставленными костями, но не может пролезть от своего слишком большого старого роста. Видно было, что ему душно в каком-то узком месте, он толкался плечами и силился навсегда поместиться» («Происхождение мастера»).

Или в «Чевенгуре»:

«Дванов увидел вспышку напряженного беззвучного огня и покатился с бровки на дно, как будто сбитый ломом по ноге. Он не потерял ясного сознания и слышал страшный шум в населенном веществе земли, прикладываясь к нему поочередно ушами катящейся головы... Он сжал ногу коня обеими руками, нога превратилась в благоуханное тело той, которой он не знал и не узнает, но сейчас она ему стала нечаянно нужна. Дванов понял тайну волос, сердце его поднялось к горлу, он вскрикнул в забвении своего освобождения и сразу почувствовал облегчающий удовлетворенный покой. Природа не упустила взять от Дванова то, зачем он был рожден в беспомысленности матери: семя размножения, чтобы новые люди стали семейством. Шло предсмертное время – и в

наваждении Дванов глубоко возобладал Соней. В свою последнюю пору, обнимая почву и коня, Дванов в первый раз узнал гулкую страсть жизни и нечаянно удивился ничтожеству мысли перед этой птицей бессмертия, коснувшейся его обветренным трепещущим крылом».

Правда ли это? Тут больше, чем правда.

Платонов говорил об этом: «Писатель должен знать, что делается на земле и на небе. О чем господь Бог думает».

1977 – 1987

ФОЛКНЕР И МЫ

НЕСЧАСТНЫЕ СУКИНЫ ДЕТИ

В нескольких прямых высказываниях (Нобелевская речь и др.) Фолкнер выстраивает ряд ценностей, которыми держится человек: мужество, честь, надежда, гордость, сострадание, жалость, самопожертвование.

Не правда ли, чего-то здесь не хватает для уха, воспитанного на русской традиции? Где поиск истины? (Не будем говорить: правды или справедливости.) Где мучительное раздумье, что есть добро, а что зло, – и проблема выбора? (Не говорю: проблема общественного служения, борьбы со злом, не говорю о нравственной проблематике и нравственном усовершенствовании.) В одном интервью Фолкнер доходит даже до такого немислимого утверждения: «Жизни нет дела до добра и зла. Постоянный выбор между добром и злом делал Дон Кихот, однако лишь в своем иллюзорном мире. Дон Кихот безумен... А люди живут в реальном мире, и все их силы уходят на то, чтоб просто жить. Жизнь – это движение, и важно лишь то, что заставляет человека действовать: честолюбие, власть, удовольствие. Время, которое человек тратит на то, чтобы оставаться нравственным, он насильно отрывает от общего движения жизни, частицей которой он является». Тут

же, правда, следует оговорка: «Рано или поздно, конечно, человеку приходится делать выбор между добром и злом. Потому что этого от него требует моральный долг, иначе человек не сможет жить». Но и к этой оговорке – оговорка: «А моральный долг – это проклятие, которое человек вынужден был принять от богов ради того, чтобы получить взамен право мечтать».

Не будь это Фолкнер, мы поспешили бы отмахнуться от этого эпатирующего... как бы это назвать... уж не цинизма ли?

Конечно, Фолкнер иногда не прочь был пустить интервьюерам пыль в глаза. Но русский писатель и такой пыли, пожалуй, себе не позволил бы. «Кто ваш любимый герой?» – спрашивают в том же интервью у Фолкнера. – «Как характер мне нравится Сара Гэмп (из диккенсовского «Челзуита»): пьяница, оппортунистка, жестокая и безжалостная женщина, в ее характере мало хорошего, но по крайней мере это настоящий характер... Я всегда восхищался образом леди Макбет». И в этом же перечислении – Дон Кихот, Фальстаф, Санчо Панса.

Но это говорит Фолкнер, и хотя бы потому к его словам стоит прислушаться всерьез, понять координаты, систему его ценностей, сопоставить эти слова с его творчеством и проникнуться чувством сложного, трудного, непостижимого мира, в котором живет, страдает, любит и умирает, через который пробивается мучительно человек.

Даже убийцу он описывает без предубеждения, без морализаторского гнева – но с болью за бессмысленную, запутанную, загубленную человеческую жизнь. Шум и ярость...

«Несчастные сукины дети» – эти слова одного из героев романа «Особняк» звучат для меня камертоном, который определяет тональность в любом разговоре о людях. Несчастные мы сукины дети.

Писатель здесь – словно бессильный Господь Бог, который все видит, все понимает, ко всему причастен, как к делу рук своих, но изменить в ходе событий, в бессмыслице жизни, в людской свободе и обреченности властен не больше, чем любое из его созданий: он может лишь сопереживать. Несчастные мы сукины дети.

РЕАЛИЗМ ФОЛКНЕРА

Реализм Фолкнера – того же высшего разряда, что и реализм Достоевского. Он выше заурядного правдоподобия: наблюдения возведены в степень работой ума и воображения.

Замечаем ли мы, что все его герои, даже малограмотные, забитые негры, индейцы, белые, выпускники университета и рабы говорят примерно одинаково?

Попробуйте различить, чьи здесь речи:

«Это я хочу рассказать. Как и для чего я был избран. И избрали-то меня для дела, какое на долю простому смертному выпадает не часто» (архитектор Мидлжлстон в «Черной музыке»).

«Только-только осознал ты, что жить – значит делать ошибочный выбор из двух возможностей, и тут же тебя вынуждают выбирать не из двух уже, а из трех» (сын вождя-индейца в «Нагорной победе»).

Цитировать можно подряд, кого угодно.

Герои Фолкнера произносят вслух монологи, какие человек не способен произнести даже про себя. Роза Колдфилд в «Авессаломе» рассуждает о своей судьбе, о своем девичестве, о мужчинах и женщинах, о жизни и смерти, как мог бы говорить (о ней) только один человек – гениальный Фолкнер. Так же одинаково, изобильно, философично говорят о себе и все прочие персонажи. В сущности, автор говорит за всех, не заботясь о характерной, индивидуализированной речи (перевод вряд ли это усугубляет). Так мог бы говорить о людях сам Творец.

Тут во всех порах, в каждой клеточке дышит мироздание.

Я удивился, впервые узнав из биографии, что Фолкнер, так убедительно писавший о первой мировой войне, сам никогда в ней не участвовал. (Как, естественно, не участвовал и в Гражданской войне, лишь понаслышке мог знать что-то об индейцах и т. п.) И это сделало мне еще ближе его представление о реализме.

А как описал Фолкнер сорокалетнее заключение Минка Сноупса в Парчменской каторжной тюрьме («Особняк»). Почти неконк-

ротно: возделывание хлопка да две истории с побегами. Чтобы их описать, не надо было самому видеть тюрьму даже издали. И разве нам не хватает подробностей: повседневности, социологии, психологии американской тюрьмы? Философия свободы и несвободы, бессмысленной мести, бегущего времени, страсти и безразличия – вот что извлек Фолкнер.

О КАФКЕ И ФЕТЕ

Что нам, читателям совсем другого мира, до странной темы расового проклятия? Можем ли мы сочувствовать трагедии Кристмаса («Свет в августе»), ощутившего или заподозрившего в себе частицу «проклятой» негритянской крови? Тем более что никому из окружающих и в голову такого подозрения не приходит, можно бы жить спокойно, он терзает лишь сам себя. Чисто расовый аспект, наверное, и в самой американской реальности звучал иначе, а уж для гуманиста вообще достойней было бы снять саму правомерность противопоставления рас.

Но странно, мы, далекие от подобных предрассудков, узнаем здесь что-то свое – на глубине гораздо большей. Мы воспринимаем чувство человеческой проклятости как таковой, отверженности, отторженности, первородного греха; негритянский элемент использован Фолкнером скорее как символ (или возведен в символ).

«Почти всегда человек является жертвой самого себя, своих близких, своей природы, своего окружения, и нельзя утверждать, что человек хорош, как и то, что он плох... Для меня самая трагическая ситуация та, когда человек не отдает себе отчета в том, что он собою представляет», – вот что оказывается на глубине*.

* Возникает еще одно сопоставление: история русского столбового дворянина Афанасия Шеншина, вдруг узнавшего, что на самом деле он Фет, человек сомнительного происхождения, возможно, даже еврейского. Тут, правда, существенна была утрата социального, не метафизического статуса, реальных привилегий, на восстановление которых было потом потрачено столько надрывных усилий. Но нельзя не ощутить и душевного потрясения – а ведь формировалась душа поэта.

Так отверженность землемера К. в кафковском «Замке» можно толковать как мироощущение еврея, чуждого окружению – но до чего это сужает подлинное, общечеловеческое звучание писательской мысли! В отличие от Фолкнера, сформулировавшего эту тему как «негритянскую», Кафка ни в одном произведении не упомянул, кажется, специально евреев – и слава Богу. Представим, что он это сделал, – все сразу перешло бы в другой литературный разряд: национальной или общественной проблематики.

О ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ

Как бы ни судить о подходе Фолкнера к расовым проблемам, сторонником рабства – спустя полвека и больше после Гражданской войны – он не был никак. Одна из основ «южного» мифа, который с детства впитал в себя Фолкнер, состояла в утверждении, будто Юг в этой войне сражался не за сохранение рабства, а за право самим освободить рабов.

Нет смысла говорить о том, как этот миф соотносился с реальностью. Политическое содержание событий меньше всего значимо в фолкнеровском мире; всякая идеологическая правота заведомо для него сомнительна. Писатель, по его словам, «либо обосновывает какой-то тезис, либо старается создать живых людей, страдающих, мучающихся, живущих».

А в душах этих людей миф о Гражданской войне переплетен с памятью о трагедии и вине, о подлости и героизме – так в безумных проповедях священника Хайтауэра («Свет в августе») «догма... вся перемешана со скачущей конницей, доблестью и поражением».

Я думал о Фолкнере, читая новейшие публикации и книги о нашей гражданской войне. Авторам вдруг открылась истина о ней – прямо противоположная господствовавшей до сих пор. Оказалось соблазнительным просто переменить знаки. Прежде канонизировался Чапаев – теперь возникает житие его противника, адмирала Колчака, рыцаря без страха и упрека, а противостоят ему безбожники, губители России.

Чем дальше от событий, тем заметней у авторов сознание своего превосходства и всепонимания, уверенности в способности указать правых и виноватых. Как будто дело литературы судить, морализировать, обосновывать тезисы и выносить приговоры.

1974 – 1988

ЧИТАЯ ХАРМСА

ДЕТСКИЕ УЖАСЫ

«Мимо шел Фитилюшин и посмеивался. К нему подошел Комаров и сказал: «Эй ты, сало!» – и ударил Фитилюшина по животу... Ромашкин плевался сверху из окна, стараясь попасть в Фитилюшина...»

Начинаешь читать, как о взрослых – и вдруг взгляд перестраивается: да ведь это все школьники на перемене или во дворе, с их «немотивированной жестокостью», скучными безобразиями, злыми мечтами!

«Комаров сделал этой бабе тепель-тапель...» Что такое «тепель-тапель»? Не знаю, но что-то, дающее ощущение своей жестокой мстительной силы. Тоже из подростковых фантазий.

Взрослый абсурд и черный юмор Хармса часто вырастают из детского ощущения мира.

«Человек с тонкой шеей забрался в сундук, закрыл за собой крышку и стал задыхаться».

Разве это не ребенок, ставящий эксперимент в попытке объяснить мировые тайны, загадки жизни и смерти? Можно назвать это игрой, но переживается такое взаправду.

«Вот, – говорил, задыхаясь, человек с тонкой шеей, – я задыхаюсь в сундуке, потому что у меня тонкая шея. Крышка сундука закрыта и не пускает ко мне воздуха. Я буду задыхаться, но крышку сундука все равно не открою. Постепенно я буду умирать. Я увижу борьбу жизни и смерти».

Это еще бормочет в сладком ужасе маленький философ. Но здесь лишь начало. Дальше начинается взрослый ужас – как будто пишуший дорастает до своего возраста.

А суеверная таинственность, книга МАЛГИЛ, детская магия Макарова и Петерсена («Макаров и Петерсен»)! Фамилии звучат взросло, но стоит вспомнить, что ведь так, по фамилиям, зовут друг друга школьники, как перспектива восприятия меняется.

А вся эта жестокость драк: «Елена била Татьяну забором. Татьяна била Романа матрацем. Роман бил Никиту чемоданом» – до какого-то момента это скорей реализованные угрозы, перепалка повздоривших детей («А я тебя!..») Даже когда дело доходит до вырывания рук и ног.

Есть в этом что-то от невинной жестокости младенца, когда он обрывает ножки у паука или душит в пальцах бабочку, бормоча любовно: «Бабочка моя милая».

(Так бывают невинны персонажи А. Платонова, почти что нежные к жертвам своих убийств:

«Я ему говорил, что убью, и зарубил, – обратился к Сербинову кавалерист, вытирая саблю о шерсть коня. – Пускай лучше огнем не дерется» («Чевенгур»).

Можно подумать, что речь об игре понарошку. Но тут смерть взаправду, и кровь на сабле – настоящая, человеческая.)

Хармс стал числиться по ведомству детской литературы после того, как прихлопнули ОБЭРИУ; но это не была просто вынужденная перекалфикация: взрослое и детское у него – ответвления от общего корня.

И, кстати, не случайно стал он переводить Вильгельма Буша («Плих и Плюх»), сильно облагородив его хамские трюки, – составляющие, между прочим, вспомнить Чаплина. Что-то детское есть именно в жестокости этого юмора.

С. Эйзенштейн в статье о Чаплине цитирует Киммингса, исследователя детского англо-американского юмора, – о склоннос-

ти детей, особенно маленьких, находить комизм в несчастьях других. Вот типичный детский рассказ:

«Один мужчина брился, когда раздался неожиданный стук в дверь; это его испугало, и неловким движением он отрезал себе нос. В волнении он уронил бритву, которая отрезала ему палец на ноге. Позвали доктора, и он перевязал раны. Через несколько дней сняли повязки, и оказалось, что нос был приставлен к ноге, а палец к лицу. Человек выздоровел, но был очень смешон, потому что когда ему нужно было высморкаться, ему каждый раз приходилось снимать ботинок».

Можно ли, читая это, не вспомнить о Хармсе?

ХАРМС И КАФКА

Вот начало одного хармсовского рассказа (из цикла «Случаи»):

Молодой человек спрашивает сторожа, «как тут пройти на небо.

– ...Ведь я по срочному делу. Там для меня уже и комната приготовлена.

– Ладно, – сказал сторож, – покажи билет.

– Билет не у меня; они говорили, что меня и так пропустят, – сказал молодой человек, заглядывая в лицо сторожу.

– Ишь ты! – сказал сторож.

– Так как же? – спросил молодой человек. – Пропустите?

– Ладно, ладно, – сказал сторож. – Идите».

Не напоминает ли это диалог с кем-нибудь из кафкианских стражей Закона? За этим при желании можно увидеть притчу, ждущую истолкования.

Но у Кафки нет этой житейской характерности идиотизма, его страж не размышляет над тем, придет ли конец мухе, если ее помазать столярным клеем.

И вот уже вся притча грозит обернуться недоразумением двух подвыпивших или не сразу понявших друг друга людей. «Вам куда нужно?» – переспрашивает опять сторож. – «На небо». – «Ты чего? Ваньку валяешь?»

Знаем мы этот повседневный абсурд, эти осоловелые глаза и чесание живота под курткой!

Но молодой человек, махнув желтой перчаткой, вдруг в самом деле исчезает.

Толкователю остается, подобно одураченному сторожу, плюнуть и пойти своей дорогой.

При чтении иногда трудно представить, каков был человек, так ощущавший мир. «Молодая толстенькая мать терла хорошенькую девочку лицом о кирпичную стенку... Маленький мальчик ел из плевательницы какую-то гадость». Бр-р... Не хотел бы я смотреть на мир глазами такого человека...

Но, может, и он не смотрел, вот в чем дело? Это Кафка выражал трагизм собственного бытия и несчастного сознания. По другим работам и некоторым воспоминаниям, Хармс предстает остроумцем, шутником, забавником. Может, он лишь моделировал абстрактную ситуацию, модель мировосприятия, новую литературную структуру? Тоже не так мало.

1982

В пору, когда я это писал, до меня еще не дошли дневники и философские заметки Хармса, я не подозревал о подлинном трагизме его собственной жизни, о глубоком религиозном импульсе его поисков.

1993

РЕВОЛЮЦИЯ И ТАНАТОС

Случайно встреченная цитата из Е. Замятина вдруг собрала вокруг себя и связала мысли разных лет:

«Да ведь это почти счастье! – пишет Е. Замятин своей будущей жене в 1906 году о своем недавнем революционном подъеме. – Когда что-то подхватывает, как волна, мчит куда-то и нет уже своей воли – как хорошо! Вы не знаете этого чувства? Вы никогда не купались в прибое?»

Как же! Случалось. Хорошо помню, как однажды огромная, внезапная волна захлестнула меня, перевернула, увлекла вглубь; я только подумал: как бы не стукнуло головой о камень – а потом почувствовал, что меня выносит на поверхность.

Но главное, я еще долго томился по испытанному ощущению, по этому растянутому мигу, когда меня влекла и переворачивала нежная, мощная, страшная сила, я чувствовал вкус воды, которой все же хлебнул, и пенные пузырьки на коже. Что-то затягивающее было в этом миге, который мог неизвестно чем обернуться, хотелось повторить его.

Позднее я подумал: не была ли эта тяга тем влечением к гибели, о котором говорил А. Блок: «...Я люблю гибель, любил ее искони и остался при этой любви... Я всегда был последователен в основном... я последователен и в своей любви к гибели». Эти слова из письма А. Белому 22 октября 1910 года заслуживают доверия, их можно подтвердить множеством других. «Но радостен мой век, в уничтожение влюбленный», – и т. п., вплоть до самых поздних:

Страшно, сладко, неизбежно, надо
Мне – бросаться в многопенный вал...

Почти те же слова. Это об отношении к революционной стихии из знаменитого послания Э. Гиппиус. Вслушаемся – слова-то какие:

Страшно, сладко, неизбежно, надо...

В этом контексте его знаменитый призыв «Слушайте музыку революции» не звучит ли как: «Слушайте музыку собственной гибели и не противьтесь неизбежному?»

Ядом напоенного кинжала
Лезвие целую, глядя вдаль.

(Из того же стихотворения)

Надо представить себе реально эту позу: целует лезвие кинжала, глядя вдаль, – чтобы почувствовать ее невыносимую, оперную фальшь. Отважимся ли мы сказать, что это не просто плохие стихи?..

В интеллигентском хоре, накликивавшем революцию, был и декадентский обертон: речь шла не только о социальных проблемах. Свою гибель «трагический тенор эпохи» накликал довольно скоро. Это по-своему величественная, многосложная, заслуживающая уважения драма. Но если б речь шла только о собственной гибели!

1988

МОЙ ВЕК

1

Вопрос знаменитой анкеты Марселя Пруста «Где бы вы хотели жить?» может иметь не только пространственное, но и временное измерение. «В каком времени вы бы хотели жить?» – спросил меня однажды полувсерьез-полушутя знакомый, профессор К.

Вопрос имеет смысл. Булгаков, должно быть, не случайно увидел своего Мастера в обители покоя с моцартовской косичкой: восемнадцатый век, золотая пора Просвещения – пристрастие к этому времени что-то говорит и о самом писателе.

Я тогда работал над повестью об Иване Грозном, только что перевел книгу С. Цвейга об Эразме Роттердамском, написал статью об «Уленшпигеле» Ш. де Костера. Эта эпоха – до середины XVI века, еще на вершине Возрождения, но уже в начале Реформации и религиозных войн – связывалась для меня помимо прочего с творчеством любимых художников, Брейгеля, Кранаха, Гольбейна, Босха – и казалась порой какого-то необычайного, драматичного духовного напряжения. Я уже готов был сказать, как она мне близка (особенно, может быть, именно где-то там, в прирейнских краях), – но осекся.

Боже, хотел ли бы я в самом деле, *реально* там жить? Не говорю о жестокости, войнах, инквизиции, пытках – нет, но о цивилизации, о быте, о гигиенических представлениях... Наверно, стоит так поставить вопрос хотя бы для того, чтобы убедиться: человек XX века реально не смог бы и не захотел жить ни в каком другом.

2

Чудовищный, потрясающий век! Когда сейчас, под занавес, пробуешь окинуть его взглядом, дух захватывает, сколько он вместил разнообразия, величия, событий, насильственных смертей, изобретений, катастроф, идей. Эти сто лет по густоте и масштабу событий сравнимы с тысячелетиями; быстрота и интенсивность перемен нарастали в геометрической прогрессии. Перебирать нет смысла, каждый мысленно может попытаться сделать это сам – и задохнется от восхищения и ужаса, ощутив, что не в силах вместить всей полноты происшедшего с человечеством. Даже технических перемен не перечислишь: автомобиль, электричество, авиация, радио и телевидение, компьютеры... А ведь одновременно еще живут в джунглях племена чуть ли не из каменного

века. Я сам еще застал избы, топившиеся по-черному, как столетия назад, и те же лапти, что носили наши пращурь.

На исходе минувшего века невозможно оказалось предсказать пути человечества: наивные попытки тогдашних прогнозов заставляют нас, как взрослых, покачивать головами. Осторожно, ни за что не ручаясь, заглядываем мы за новый предел. Какие возможности, какие надежды, какие угрозы! И насколько все еще более непредсказуемо!

3

Да разве не ошеломили нас события хотя бы самых последних лет? Объединение Германии, распад Советского Союза и Югославии, предощущение новых сдвигов. Нам кажется это каким-то небывалым потрясением, катаклизмом. Но стоит оглянуться...

Европа цезарей! С тех пор, как в Бонапарта
Гусиное перо направил Меттерних, –
Впервые за сто лет и на глазах моих
Меняется твоя таинственная карта!

Мандельштам писал это под впечатлением начала первой мировой войны. Впереди был распад Австро-Венгрии и Оттоманской империи, возникновение новых независимых стран; еще дальше – распад Британской и прочих колониальных империй; новый вид приобретала карта Африки и Азии.

Я предложил бы кинематографистам идею: перемены европейской политической карты за два тысячелетия, мультипликационное ускоренное превращение разноцветных пятен, переливчатые изменения конфигурации: образование княжеств и государств, слияния, раздробления, завоевания, расширения, распад. Бурление пенистого узора между морских камней.

Можно ли понять законы и смысл этого движения? Оно совершается не впервые и, надо думать, не в последний раз. В наших ли силах предотвратить его или направить?

Полезно взглянуть на историю именно в таком, тысячелетнем масштабе, напомнить себе, что государства так же не вечны, как люди. Изнутри истории это видится иначе – потому что проживаем мы лишь свою короткую, единственную жизнь. Вот в чем проблема.

4

Как просто было в заводи «застойных» времен, когда мы действительно чувствовали себя вне истории, когда ничто не двигалось, не менялось, стояло колом, – как просто было философствовать о причинах и природе минувших событий, об истоках революций, об ошибках правителей, о слепоте современников! Как очевидно было нам все, во что они тыкались, точно слепые щенки!

С таким чувством смотришь фильм о временах надвигающейся и даже уже совершающейся катастрофы. А они там, внутри будто не сознают, что их корабль вот-вот потонет, они занимаются житейскими пустяками, говорят о пустяках, переживают из-за пустяков. Мы-то об этом уже знаем, нам дал понять режиссер.

Или читаешь вот это, из «Доктора Живаго»: «Нависало неотвратимое... Кругом обманывались, разглагольствовали. Но доктор видел жизнь неприкрашенной. От него не могла укрыться ее приговоренность... Он понимал, что он пигмей перед чудовищной машиной будущего...»

Быть может, никогда эти страницы не читались, как сейчас. Но ведь и Пастернак реконструировал свои предреволюционные ощущения время спустя, уже зная последующий ход событий и поневоле внося задним числом поправку.

А сейчас вот нас самих сорвало – и несет, кружит. Знать бы, куда вынесет. Если обернется все хорошо – каким поучительным, будоражающим переживанием покажутся нынешние тяготы! Как бы не так! Мы не успеваем осмыслить происходящего, нам не дано заглянуть в завтрашний день. Да если бы даже что-то поняли – история не в нашей власти, она творится столкновением многих сил, как водоворот создается столкновением течений. И так же,

как те, на экране или в книге, мы судачим о ценах и о политиках, мы волнуемся в очередях, что-то выгадываем, чиним, латаем, приспособливаем для жизни – мы живем.

1992

О ФАТАЛИЗМЕ

Откуда, однако, это представление о «неотвратимости», «приговоренности», о своем и общем бессилии у Пастернака? В самом ли деле ничего нельзя было отворотить? Сейчас-то, задним числом, очевидны нехитрые механизмы многих событий, ясно, как можно было бы их повернуть. Словно какая-то загипнотизированность происходящим.

Ведь и Ахматова о том же:

А здесь, в глухом чаду пожара
Остаток юности губя,
Мы ни единого удара
Не отклонили от себя.

(1922)

Это говорится не просто с горечью, но и с гордостью – в противовес эмигрантам, тем, «кто бросил землю на растерзание врагам». Здесь в каком-то смысле именно женское, страдательное достоинство. Но мужчине-то – не грех бы и отклонить удар, сопротивляться, в конце концов – почему бы и не бежать?

Ахматова повторяла это и потом с гордостью:

Нет, и не под чужим небосводом,
И не под защитой чуждых крыл, –
Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был.

(1961).

Она заслужила право это говорить, как и Пастернак. Но этой ценой – какая подлинность, какая интенсивность жизни, во всем,

в страдании и счастье! Ахматова и это сказала наперед от имени многих в том же стихотворении 1922 года.

И знаем, что в оценке поздней,
Оправдан будет каждый час...
Но в мире нет людей бесслезней,
Надменнее и проще нас.

31.08.1994, 19.12.1994

МЕЧТА О ЧИСТОЙ СОВЕСТИ

Который раз, обнаружив, что газетные и телевизионные новости опять не оставили ни времени, ни души для более насущных занятий, разговоров и даже мыслей, для давно отложенных книг или музыки, даешь себе зарок плюнуть на всю эту политику. Не твоя это, в конце концов, профессия, не по твоему это характеру, слишком многое здесь оскорбляет твой вкус и нравственные представления, порой же попросту тошнит от позерства, пошлости, подлости, нагромождения глупостей, борьбы корыстных политических честолюбий – и если бы только в откровенно враждебном лагере! А главное, чувствуешь себя перед всем этим бессильным: слишком мало от тебя зависит.

«Отвернуться, отвернуться! – записывает Томас Манн в дневнике, получив известие о позорных Мюнхенских соглашениях. – Ограничиться областью личного и духовного. Мне нужна душевная ясность и сознание своей привилегированности. Бессильная ненависть не по мне».

Подобные записи повторяются у Томаса Манна не раз, в разные годы. И сама напряженность интонации выдает, что не все для него тут на самом деле просто и беспроблемно. Когда нет проблем, не приходится уговаривать себя – просто думаешь о другом.

Бывают времена и ситуации, когда отвернуться в самом деле не так-то легко; ни один выбор не обходится без потерь. Необхо-

димось борьбы с фашизмом, по признанию того же писателя, «упрощала чувства»: для ироничного, неоднозначно мыслящего интеллектуала состояние не самое естественное и желанное. Впоследствии он с усмешкой замечал, что «в политическом морализировании художника» неизбежно есть что-то, «граничащее с пошлостью».

Что говорить, искусству и политике трудно сойтись по меньшей мере в одном отношении. Художник по природе своей взыскует совершенства, он не может довольствоваться ничем другим; уступки и компромиссы творчеству противопоказаны. Политика на них строится и из этого состоит. У нее, как у истории, не бывает одного гениального творца; говоря словами моего героя: «это ублюдок слишком многих родителей – стоит ли удивляться, что он оскорбляет любой отдельный вкус?»

Человек моего склада не лучшим образом чувствует себя на массовом митинге. Среди плакатов, под которыми ты стоишь, есть такие, что тебе претят; с трибуны звучат порой слова, под которыми ты бы не подписался, – но толпа встречает их общим ревом, и твое молчание поглощается им. Я помню это чувство на январской демонстрации 1991 года, после Вильнюсских событий, – но помню и чувство, что пойти было необходимо, нельзя не пойти. Я и сейчас думаю, что эта демонстрация, возможно, помешала наихудшему развитию событий. Не говорю о трех августовских днях того же года у Белого дома – нельзя было там не быть.

«Тягостный разговор о невозможности правильного поведения... – заносит Томас Манн в дневник очередную запись. – О потребности в духовной свободе и душевном покое». Все о том же. Почему-то в этой жизни не удается раз навсегда устроиться удобно, без постоянных метаний и возобновляющихся проблем. Но может, как раз это и плодотворней всего – духовно и творчески? Кто нам, в самом деле, внушил, что мы можем жить спокойно и при том с незамутненной совестью? Мы, не сумевшие обеспечить себе и своим детям нормального существования в своей стране и считающие себя при этом ни в чем не виновными, не причастными к собственной истории?

Снова включаем телевизор, привычно проглатываем вместе с ужином информацию об очередных ужасах – и не поперхнемся. Возможно, есть в этом даже какая-то своя правда – жизнь, человеческая душа нуждаются в подобии самозащиты. Не всем дано ощутить происходящее, как свою личную боль и личный грех.

Вряд ли о политике думал Иосиф Бродский, когда стал писать вдруг свою «Песнь для Боснии»:

as your hand adjusts your tie, people die.

Пока ты завязываешь свой галстук, пока ты пьешь виски, бьешь тараканов или делаешь другие, несомненно, нужные и почтенные дела, где-то умирают люди. Нет, это, пожалуй, вовсе не о политике – и обращено не просто к другим. Слова, как всегда, бессильны, люди продолжают умирать: дело поэта всего лишь напомнить (хотя бы самому себе), что не стоило бы к этому привыкать. Опасно. Для собственной души, для собственной жизни.

Тому, кто это почувствовал, мечту о душевном комфорте и чистой совести приходится отложить до лучших времен.

1993

МЕЖДУ БЕЗНАДЕЖНОСТЬЮ И НАДЕЖДОЙ

Есть удивительное свойство русской истории, которое я бы назвал ее неизжитостью. Иван Грозный – все еще злободневный персонаж; я ощутил это по напряженному отношению к моему роману о его эпохе. Дореволюционные стихи Саши Черного можно цитировать как загадку: когда это было написано? («Дух свободы... К перестройке вся страна стремится». – 1905). Читая сейчас иные документы ушедших лет, испытываешь странное чувство: как будто оказались смещены во времени хорошо знакомые, сегодняшние слова, мысли, ощущения, как будто исторические коллизии то ли бесконечно повторяются, то ли делятся в каком-то

неизменном качестве все с теми же проблемами, с вопросами, открытыми и по сей день.

«Все это непрочно – но мы привыкли теперь к непрочности. Будущее для меня темно – но я думаю, что оно тяжелое: в России подымается тяжелое национальное чувство, озлобленное чувство унижения и гордыни. И это грозит многими бедствиями».

Взглянем на дату. Это пишет 10 марта 1923 года великий ученый и мыслитель Владимир Вернадский. Опубликованные не так давно, эти письма звучат сейчас не просто злободневно – какой-то неожиданный ответ бросают они издали на наши нынешние умонастроения. Скажем, на разговоры об эмиграции. «Если бы я был совсем моложе – я бы эмигрировал, – пишет Вернадский 24 апреля 1924 года. – Во мне чувство общечеловеческое много сильнее национального. Но сейчас это трудно и невозможно, так как всегда требуется несколько лет, потраченных на приобретение положения. Я не делаю никаких иллюзий – жить в России чрезвычайно трудно, и труд настоящим образом не оплачивается. Может быть я оттуда скоро уеду».

Переклички находишь едва ли не в каждой строке. Но сейчас они мне показались существенными не просто сами по себе. При всем созвучии умонастроений и оценок временная дистанция позволяет нам кое-что заново в них проверить. Наше будущее, как всегда, для нас темно и неведомо, но будущее Вернадского успело стать для нас прошлым. Вслушаемся еще раз в его размышления и прогнозы.

«Чем больше вдумываюсь в происходящее, тем больше вероятным мне представляется положение в России мрачным. Я учитываю возможность продления кризиса еще 10 – 15 лет... Не знаю, не развалится ли тогда Россия». «Если продлится такое состояние несколько лет – Россия поколениями не оправится от последствий».

Это писалось в 1923 – 1924 годах. Не десять и не пятнадцать лет прошло с тех пор, и, быть может, самое удивительное, что те же тревоги и предсказания воспроизводятся сейчас как будто в прежнем виде – неопровергнутые, неотмененные, но словно от-

тянутые во времени. Вопреки представлениям о пределе возможного трагедия, развал, катастрофа делятся перманентно, как будто не оставляя надежды даже на близкое будущее, но не доходя до последней точки. Каждое новое десятилетие обнаруживает возможность продолжения, откуда-то берутся новые силы, возникают новые люди.

«Научная работа в России не погибла, а, наоборот, развивается... – не без удивления пишет Вернадский. – Несомненно, этого не должно было бы быть по логике, это иррационально, но это факт (подчеркнуто мною. – М. Х.)... В разговорах скажу, как это достигнуто и сколько погибло. Людей погибло» (10.3.23). «Все же самая главная сила, которая в конце концов переборет все, – это мысль и умственное творчество – науки, философии, религии, искусства. И оно сейчас в России не иссякает» (20.4.24). «Вообще, логика никогда не может охватить разнообразия жизни и, вопреки всем нашим расчетам, в жизни совершается многое, что, кажется нам, – при данных условиях – не могло бы в ней совершаться (опять подчеркнуто мною. – М.Х.)... Я мрачно смотрю на ближайшее будущее России – и мне кажутся эти искания и достижения непрочными – но они есть и достигаются огромной волей и самопожертвованием работающих... Может быть, в этом главная возможность возрождения. Я уверен, что все решает человеческая личность, а не коллектив, élite страны, а не ее демос, и в значительной мере ее возрождение зависит от неизвестных нам законов появления больших личностей... Если действительно на смену идут новые силы – а факты, к моему совершенному удивлению, как будто начинают на это указывать, – возрождение России может совершиться скорее, чем я думаю. Конечно, если тот же процесс будет проявляться в разных областях культуры, а не только в науке... Но я не верю в чудеса и думаю, что все это совершится медленно» (21.8.24).

С высоты прожитых лет видней, как все обернулось на самом деле. Развитие культурной, духовной жизни, науки, литературы, искусств продолжалось вопреки всем ожиданиям и вероятностям, вопреки той самой логике, которую поминает В. Вернадский. Зем-

ля не оскудевала талантами; удивительно перебирать в уме имена, старые и новые, в разных областях, по десятилетиям: в 20-е, 30-е, 40-е, 50-е – они составят честь любой культуре. Эти перечни в значительной части совпадают со списками расстрелянных, изгнанных, сосланных, ошельмованных – но ведь каждый раз, из десятилетия в десятилетие, находилось же кого преследовать, и каких людей! Если вдуматься, больше всего достойно изумления это – откуда они еще брались, всюду: в музыке, биологии, в литературе, в физике? Как они могли выжить, сохраниться, зародиться заново в атмосфере, непригодной для нормальной жизни, после всех войн и волн террора, физического и духовного, когда уничтожались учителя, целые школы, направления, области науки и духовной жизни, когда подрубались и выкорчевывались самые корни? Поистине великая страна, великая культура – какой другой хватило бы так надолго?

В. Вернадский в 20-х годах застал лишь начало этого процесса, однако из года в год воспроизводится этот мотив. «Логически я благоприятного выхода не вижу. Но учитываю, что моя логика не может охватить все явления и пропущенные мною члены могут коренным образом изменить выход. Должен сказать, что первое отчаянное впечатление ослабляется – а не увеличивается – с большим присматриванием к жизни. Я боялся больше, чем теперь, биологического вырождения. Раса, кажется, достаточно здорова и очень талантлива. Может быть, выдержит» (14.6.27).

С особым чувством вчитываешься в эти строки сейчас, когда так обострено ощущение всеобъемлющего кризиса: нет ли в них и для нас обещания? С одной стороны, мы знаем, что худшие опасения В.Вернадского сбылись, и с лихвой: пришлось пережить и террор 30-х, и страшную войну. Но, с другой стороны, – пережили же! Парадоксальным образом слабая, наперекор логике, надежда Вернадского оказалась не совсем безосновательной, она и сейчас не опровергнута до конца. Разве что видоизменяются соображения «за» и «против». С одной стороны, люди культуры теперь, слава Богу, не уничтожаются физически, как во времена Вернадского, разве что уезжают. С другой – не повреждена ли

все-таки роковым образом какая-то основа, какая-то грибница, на которой только и могут вырастать крупные индивидуальные явления? Они ведь не возникают сами по себе, без среды и почвы, без школы и учителей. Еще куда ни шло человеку моей профессии: есть бумага и карандаш, есть мироздание и жизнь вокруг, есть великие книги и собственная голова на плечах – спрос только с тебя; ссылки на житейские трудности или невозможность напечататься не принимаются – не ты первый. Но танцовщик попросту невозможен без школы, музыканту нужны не только учителя достойного класса, но и приличные инструменты, как экспериментатору и программисту – современные приборы и компьютеры. Может, существует какой-то критический предел, за которым самовоспроизведение культуры, умственного творчества, духовного существования оказывается под угрозой.

Я знаю только, что многое все же зависит от нас. Не нам одним доводилось пережить катастрофу. В автобиографической книге знаменитого физика Вернера Гейзенберга «Часть и целое» есть замечательная глава: «Поведение человека во времена политической катастрофы». Речь о конце 30-х годов. Гейзенберг не строит никаких иллюзий относительно природы нацистского режима, он настолько не сомневается в неизбежности войны (и в ее исходе), что покупает для семьи дом в горной местности, где можно не так опасаться бомбежек. В Америке только что эмигрировавший туда Энрико Ферми убеждает коллегу последовать его примеру: «Чего вы еще ждете от Германии? Предотвратить войну вы не в силах... А здесь вы начали бы новую жизнь». Среди доводов, которые приводит в ответ Гейзенберг, – чувство ответственности перед учениками, которые «после войны... смогли бы содействовать возрождению настоящей науки в Германии». Его поддержал в этом Макс Планк: «Вы сможете попытаться вместе с другими образовать островки устойчивости. Вы сможете собирать вокруг себя молодых людей, показывать им, как делают настоящую науку, и тем самым сохранить в их сознании старые верные масштабы... Подобные группы смогут стать центрами кристаллизации, вокруг которых образуются новые жизненные формы».

Понадобились десятилетия, прежде чем в Германии, когда-то лидировавшей в физике, снова появился нобелевский лауреат.

Наша надежда поддерживалась и поддерживается не в последнюю очередь напряженной, самоотверженной деятельностью таких людей, как Вернадский, который все-таки остался в стране, – людей, сохранявших и возрождавших традиции, создававших школы, воспитывавших учеников. Этих людей не так много и, кажется, их с каждым годом меньше, но им еще дано аккумулировать и поддерживать энергию, необходимую для дальнейшего.

В такие времена, как наши, настроения подавленности и безысходности не только питаются реальностью – они на эту реальность влияют и потому небезобидны. Тем важнее для нас вслушиваться в голоса, подобные голосу В. Вернадского. Оглядываясь, яснее видишь: у нас есть опыт тревог – но есть и опыт надежды, нужной нам, как никогда; о нем стоит напоминать. Может быть, выдержим.





«ДУША МОЯ,
СКУДЕЛЬНИЦА»



Я ИХ ВИДЕЛ

1

Помнит ли кто еще знаменитую картину 40-х годов «Они видели Сталина»? Взрослые и дети возвращаются с демонстрации, глаза их горят. Они теперь не простые люди, они выделены среди прочих и смогут рассказывать до конца жизни: видели! У меня в классе были такие, я им слегка завидовал. Сам я Сталина не видел, только много лет спустя – мумию в мавзольном саркофаге.

Сомнительная, что говорить, гордость: видеть своими глазами изверга или его мумию; но не о том сейчас речь. Те, кто проходили с демонстрацией мимо Мавзолея, видели издалека, по сути, лишь невнятное пятнышко в мундире или шинели. И то еще вопрос, был ли это он или его двойник.

Но, если вдуматься, какая разница?

2

В век телевидения и кино, в век репродуцированных изображений, цветных, движущихся, чуть не объемных, иллюзорно правдоподобных, – что значит: я видел его, *настоящего*? Луч света, отразившийся от его кожи, от поверхности его одежды, попал в сетчатку моих глаз безо всяких посредников, без объективов и преобразенных волн? Только и всего?

Вот поклонники эстрадного идола собрались на стадионе, чтобы впасть в экстаз от грома усиленной музыки, от световых вспышек, от заразительного соседства себе подобных – и чего еще? Сам-то кумир едва различим или неразличим вовсе, где-то дале-

ко-далеко, электронное изображение воспроизведено на огромном экране, и голос звучит с магнитофонной фонограммы – почему бы не обойтись вовсе без него? Что дает сознание его подлинного присутствия? Откуда это чувство сопричастности, наконец-то осуществленного события: я его видел?

Ну, конечно, самое совершенное, иллюзорное изображение чего-то передать пока не может. Например, запаха. Запах – знак подлинности. Или, может, в самом деле есть еще какое-то энергетическое излучение, живое воздействие, которое ничем не заменить? Хотя, говорят, экстрасенсы теперь умеют ставить диагноз и разыскивать пропавшего по простой фотографии. Что, интересно, в нее-то передается, из нее излучается?

Я видел в Дюссельдорфе японского императора с женой. Собравшиеся на площади перед ратушей тамошние японцы ждали его появления, как чуда. Для них в этом было что-то небывалое: прежде императорам не полагалось появляться перед людьми – поддерживалось представление о их божественности. И вот можно увидеть божество въяве – нет, никаким телевидением не возместишь этого чувства.

3

«Он встречался с лучшими людьми своего времени». Это звучит как характеристика человека. Потому что, в самом деле, надо кем-то быть самому, чтобы встречаться с такими людьми.

Например, швейцаром в элитной гостинице. Вахтершей в Доме литераторов. Или секретаршей в Академии наук.

Или заключенным в тюрьме 30-х годов.

«Кого я только там не встретил! – рассказывал мне в больнице старый зэк Аркадий Маркович Левин. – Каких людей! Да в обычной жизни я к ним бы приблизиться не мог!»

Подумать только, по возрасту я еще мог бы видеть – и понять, что вижу, – Альберта Эйнштейна и Томаса Манна! Но что говорить о них!

«Почему ты не пришел к Ахматовой? – спросил меня как-то Давид Самойлов. – Вот Тоша Якобсон пришел и был принят». Я знаю. У нее многие бывали. Но мне как-то в голову не приходило.

Так что единственный раз я увидел ее, уже проходя у гроба в морге где-то на задворках Мещанской. Меня тогда поразили разорванный, измятый рисунок ее губ – не было в них спокойствия.

А несколько лет спустя в коридоре издательства «Восточная литература» мне показали: «Вот сын Ахматовой». Я узнал Л. Н. Гумилева среди многих: очень был похож на мать. Тогда он еще не стал телевизионной знаменитостью.

Знакомые звали меня к М. Бахтину; теперь я жалею, что не поехал. Но если подумать, в каком качестве я бы к нему явился? Любопытствующим экскурсантом?

Особый разговор о тех, чья профессия – демонстрировать себя публике: об актерах, музыкантах, спортсменах. Хотя увидеть живого артиста не на сцене, а в обычной жизни – тоже кое-что, этим можно небрежно похвастаться перед знакомыми. Мой приятель, киевский инженер, а в прошлом артиллерийский капитан, с удовольствием рассказывал, как по пьянке подрался в ресторане со знаменитым киноактером Андреевым. А я однажды стоял за этим Андреевым в очереди к буфету во Дворце съездов.

Я видел кинорежиссера Феллини в день, когда ему вручали премию Московского кинофестиваля за «8 1/2» – фильм, который обновил мои представления о возможностях кино. Он стоял в фойе с Джульеттой Мазиной, к нему подходили наши знаменитости поздравлять – я был очень рад, что его вижу.

Несколько раз я видел Шостаковича, один раз совсем рядом, он говорил с моим спутником, композитором М. В 1962 году я был на первом исполнении его Четвертого квартета в Союзе композиторов. Небольшой зал был заполнен музыкантами, начальством; Хренников, поглаживая живот, объяснял соседке, как потолстел за лето. Шостакович волновался, как начинающий, когда

рассказывал историю создания квартета, ерошил хохолок на макушке. Квартет сыграли два раза, потом встал некий Урбах (если б я тогда же не записал эту фамилию – как бы теперь вспомнил?) и сказал: «Товарищи, я думаю нет надобности обсуждать это замечательное произведение». Шостакович растерянно встал, попытался что-то возразить, но в зале уже поднимались с мест, многие, как и я, недоумевая. Кто-то говорил: правильно, есть музыка, о которой нельзя говорить словами. А я все-таки не понимал, как это могло быть. Он ведь уже тогда был председателем российского Союза композиторов.

Я пишу сейчас не о тех, кого знал, – лишь о тех, кого видел.

У кинорежиссера Андрея Тарковского я как-то провел вечер в гостях. Мы пришли к нему с моим знакомым, а его родственником, кинорежиссером А. Г. В комнате горела слабая, как ночничок, лампочка под зеленым колпаком. В полутьме я не сразу увидел хозяина. Он лежал, укрытый чем-то, на тахте, читал Блока.

Это было в феврале 1969 года – еще не разрешили выпустить на экраны «Андрея Рублева» и только замышлялся «Солярис». Для меня Тарковский был автором единственной картины «Иваново детство» – об остальном ходили слухи. Он оказался не похож на известные мне фотографии: отпустил усы, чуть обвисавшие над уголками губ. Острый подбородок, нервный нос, широкие ноздри, взметнувшиеся брови, красивый профиль.

Вначале мы долго так беседовали в полутьме. А. Г. потом мне сказал, что с тех пор, как положили на полку «Рублева», т.е. два с половиной года, Андрей в основном так и лежит на этой тахте, читает; буддизмом одно время интересовался. Сейчас картину выпускают, и он, кажется, ожил. Нервишки у него никакие, – сказал А. Г., – но при этом в работе он выносив нечеловечески и с начальством держится достойно.

Говорил Андрей о каких-то недоразумениях с деньгами на поездку в Польшу – он должен был в Кракове говорить с Лемом о постановке «Соляриса». «Я ничего не понимаю, – говорил он большим, капризным тоном. – Какие деньги? Почему я получу их толь-

ко там? Ничего не понимаю». Потом о новом фильме Клода Лелюша, который ему резко не понравился. «Как можно ставить проблему смертной казни, великую проблему – и при этом развлекать?» И стал рассуждать о смертной казни, о праве на месть, о различии между моралью и нравственностью. Достал томик Бердяева, стал нам цитировать «Истоки и смысл русского большевизма» и комментировать. Рассуждал он, надо сказать, на уровне общих мест, как человек, впервые открывший для себя какой-то круг идей...

Время от времени звонил телефон, Андрей вставал и выходил в коридор поговорить. Извинился, что лежал в кальсонах («Извините, ребята, я в кальсонетах»), надел халат, который подарили какие-то гости из Средней Азии. Я сознавал, что был для него одним из таких же докучных посетителей, которым интересно пообщаться со знаменитостью.

Звонил социолог, задумавший провести исследование проката «Андрея Рублева»; я слышал, как Андрей объяснял ему: «Что может сказать зритель, если ему приходится сидеть столько времени в духоте, без эйр кондишн?» И еще: «Мораль нельзя путать с нравственностью, это огромная ошибка, понимаешь?» Позвонили от Шукшина – пригласить на его новый фильм. Приглашали в ресторан «Седьмое небо». Я прикоснулся к обыденной домашней жизни действительно знаменитого человека.

Потом мы сидели за столом. Уже горел верхний свет, и я увидел Андрея Тарковского как бы в другом образе – или в другой роли. Хозяйничала Лариса, тогда еще не жена его, ассистентка по «Рублеву» (я увидел ее потом в «Рублеве» и в «Зеркале»); он жил с ней и в ее квартире, но разговаривали они при нас почему-то на «вы». Это была странная игра. Лариса подала очень вкусный суп из консервированных грибов, жареную утку – и тут разыгралась сцена, отголоски которой (сильно преображенные) вошли потом в главу моего романа. «Мне что-то нехорошо, – сказал вдруг Андрей, оскалив зубы в остренькой усмешке. – Лариса, не положили ли вы в этот суп бледной поганки?» Лариса побледнела и закусила губу, предчувствуя скандал: «Андрей, ну какой мне смысл вас от-

равлять?» – «Если вы будете говорить мне такие вещи, я вас пну». – «Что?» – побледнела она еще больше. – «Пну», – ответил он со смешком. – «Попробуйте», – сказала Лариса.

Что могла означать эта сцена, разыгранная, заметьте, при человеке совершенно постороннем, каким был я? Разговор между тем как-то сам собой перешел на примитивные коврики, которые были куплены во время съемок «Рублева», и как эти коврики пристроить в новой квартире, куда они переселялись. Андрей подходил к Ларисе, неподвижно и прямо сидевшей на стуле, обхватывал ее под грудью, трогал за подбородок...

В романе я косвенно воспроизвел эту сценку как образец «фантического», фрагментарного восприятия жизни: выхвачен из связи эпизод, услышана на ходу фраза – что она значит? какому целому принадлежит? Так публикуют в виде загадок обособленно снятую и увеличенную лапку насекомого или тычинку цветка – попробуйте угадать, что это за странное существо, мохнатое, с присосками или щупальцами?.. А ведь таково, в сущности, любое наше знание о человеке: мы знаем больший или меньший фрагмент его жизни, личности, который открывается в более или менее краткий момент общения, – но пробуем по этому фрагменту судить о целом, дополняя непосредственное знание домыслами воображения, обобщая...

Вот, кстати, почему осмысленней и значительней выглядят воспоминания о людях знаменитых: любая новая подробность лишь дополняет образ, уже в чем-то известный заранее, вписывается в контекст творчества и судьбы, связывается с другими воспоминаниями.

Кто-то, знавший обоих с другой стороны, сумеет, возможно, и эту странную сценку поставить в общую связь. Мне она вспомнилась, например, когда я услышал, что Андрея уговаривают вернуться на родину из эмиграции и что Лариса, теперь уж его законная жена, возвращения не желает. Я вспоминал эту встречу, когда смотрел фильмы Тарковского и, восхищаясь его кинематографическим языком – вот режиссер Божьей милостью! – испытывал порой чувство неловкости, слушая рассуждения словесные. Не его это язык, казалось мне, не его инструмент...

Время спустя я вновь встретил его на Мосфильме. Я пришел туда с его отцом, поэтом Арсением Тарковским. Андрей стал уговаривать его прочесть стихи для задуманного фильма (наверно, для «Зеркала»), Арсений Александрович отмахивался... Меня Андрей не узнал – иначе вряд ли могло быть. Не единственный случай: я запоминал людей, а они меня нет.

Это про людей, с которыми я не был знаком. Могу только сказать: я их видел. Иногда и они видели меня.

1975 – 1986

НЕМАЯ АКТРИСА

Она до самых холодов обычно сидела на веранде с цветными треугольными стеклами поверху и расписывала тонкой кисточкой пластмассовые крышки для шкатулок. Работу эту давала ей артель инвалидов, я иногда подходил и смотрел, как быстро и точно она обводит золотой краской узоры или кремлевскую башню со звездой. Евгения Александровна поднимала на меня взгляд поверх очков, улыбалась доброй немой улыбкой и ничего не говорила. Она вообще не говорила, она была немой, хотя кто-то уверял, что слышал однажды, как на рынке она своим голосом спрашивала цену у торговца. Последние годы она никуда уже не ходила, ей было лет восемьдесят, а может, и девяносто, и было просто удивительно, как четко и уверенно ее большие, будто опухшие пальцы обводили на пластмассовом рельефе филигранный узор.

От ее одеяния – не то платье, не то капот из серой, многократно стиранной ткани поверх чего-то тяжелого, толстого, огрузнявшего и без того крупную фигуру, – пахло чистотой и как будто воском.

Дом стоял на краю бывшего дачного поселка Лосиный Остров, почти у самого леса. В углу большого пустующего участка имелась обветшалая деревянная сцена и несколько рядов деревянных скамеек: когда-то здесь игрались летние любительские спектакли. Я приходил в этот дом поначалу с другими драмкружковцами: здесь можно было одолжить на вечер настоящий театральный костюм; иногда Евгения Александровна даже нас гримировала. Она была незаурядный мастер этого дела; говорят, когда-то к ней в Лоси-

ный остров ездили гримироваться даже знаменитости из московских театров.

Рассказывала нам про все это сестра Евгении Александровны Анна Александровна, не многим, наверно, ее младше; ей хотелось, чтобы мы знали, кто такая Евгения Степная, какая это была актриса. Едва сестра начинала подобный разговор, та оборачивалась и с доброй немой своей улыбкой подносила палец к губам: не надо. Она не могла говорить, но слышала все, и Анна Александровна уводила нас в комнаты, чтобы там рассказать все же, кто такая ее сестра.

По ее рассказам выходило, что слыла Евгения Александровна чуть ли не соперницей самой Ермоловой, только играла больше в провинции и потому оказалась не столь отмечена («а в провинции тогда артисты были не хуже, чем в императорских-то театрах, получше даже»), что учитель ее, Немирович-Данченко, два часа уговаривал Евгению Александровну остаться в Художественном театре, когда она сказала о своем решении уйти к Мейерхольду («вы такого не знаете, враг народа оказался. Странный был человек»), и что уже в 20-х годах, когда заслуженную артистку Евгению Степную увидел проездом не то в Саратове, не то в Ярославле Луначарский, он тотчас рекомендовал ее в Малый театр, откуда, однако, опасную соперницу скоро сумела выжить знаменитая впоследствии Вера Пашенная.

Мир театра открывался мне с незнакомой, житейской стороны; я слушал про актерские интриги и бедствия; звучали знаменитые имена. Народная артистка Слонова в этих рассказах оказывалась Надюшей Слоновой, дочкой старого товарища по театру; когда она осиротела, Евгения Александровна приютила ее, обогрела, определила в труппу. Проскользнуло однажды имя знаменитого Царева – я потом имел случай с ним встретиться и, преодолев робость, заговорил об Евгении Александровне. «Так она еще жива?» – произнес он своим поставленным, искусственным голосом и, выслушав подробности о ее существовании, заключил

разговор: «Ну, передавайте ей привет». У меня это вызвало неприязненное чувство, мне казалось, он должен был сказать или сделать что-то большее. Я уже слышал (от той же Анны Александровны), как обнаружили в богадельне «трепетную Роксанову» – первую чеховскую Чайку, исполнительницу роли Заречной. Мне казалось, этот блестящий мир блестящ и благополучен во всем. Я листал бумаги Степной, членский билет Союза работников искусств со штампами на страничках 20-х годов: «Безработная», «Безработная». Анна Андреевна приносила сложенные шестнадцатеро старые афиши, где крупно было набрано имя Евгении Степной (тонкие буквы в тяжелых нашлапках по моде начала века), пожелтевшие газетные вырезки. «В бенефис известной артистки Евгении Степной была дана пьеса Ибсена «Бранд». Отличная школа бенефициантки, ее изумительный темперамент, одухотворенность и истинная красота...» – что-то в таком духе; так тогда писали. Она была действительно красива – я листал альбомы с давними фотографиями: крупные правильные черты, большие, подчеркнутые гримом, яркие глаза – во всем облике какая-то аура начала века. (Как определить особенность этих лиц, которая создавалась не только прической, костюмом, подчеркнутостью грима?) Под фотографиями стояли имена артистов: Е. Степная и И. Слонов, Е. Степная и А. Таиров, Е. Степная и К. Алексеев – лицо мужчины на этой фотографии долго озадачивало непонятной похожестью на кого-то, но лишь с третьего или четвертого раза я сообразил, что это Станиславский. Одна из фотографий представляла собой репродукцию с портрета, в уголке была различима подпись: И. Репин. «Да, это Евгению Александровну он рисовал, друзьями они были». – «А это?» – я показывал еще одну фотографическую репродукцию, без видимой подписи, но чрезвычайно напоминавшую стиль Врубеля. «Тоже она, это в роли игуменьи Митрофаньи, была такая пьеса... Может, и Врубель, уже не помню. Он вообще бывал у нас, рисовал... Сами картины? да не помню. Лежат где-нибудь. Или в музей отдала». Меня озадачивала такая небрежность к работам великих людей; испросив разрешения, я начал было рыться в захлавленных комнатах, надеясь найти – шутка ли! – репинские и врубелевские подлинники. Но от поисков пришлось скоро

отказаться: при первых попытках облака пыли поднялись от потревоженных углов, от сундуков с атласными, в украшениях из мишуры, платьями – остатками богатого гардероба актрисы первого положения, от высоких полок с книгами, ценность которых я тогда не способен был даже понять. У меня осталась единственная брошюра, которую я как-то взял почитать у Анны Александровны и просто не успел вернуть – обвинительная речь Вышинского на процессе Пятакова и прочих. (Анна Александровна откликнулась на политические разговоры, вздыхала, что Сталин уже тоже немолодой, и как без него будет?) Между страницами завалилась газетная вырезка – рецензия на спектакль с участием Степной. Куда потом девались все вещи, кто растащил бесценную библиотеку – не знаю.

Понимать начинаешь после, то-то и оно, тогда созревают и вопросы, и готовность интересоваться, узнавать, выспрашивать и слушать. Только вот уже и спрашивать некого. Сколько людей из времен легендарных мы застали, но оказались не способны по-настоящему расспросить; а что-то вовсе было не для нас, тогда еще детей. Теперь остается лишь домысливать в меру своих способностей...

Почему, например, в этих альбомах не было семейных фотографий? Почему ни разу не были упомянуты муж или дети? Не было их – или не имели никакого значения по сравнению с главным: жизнью, отданной искусству и так фатально, так трагически надломленной?

Что это был удар судьбы, казалось уже понятно без объяснений: нагрянуло несчастье, болезнь, она потеряла голос, и театр для нее – кончился, и не осталось уже свидетелей былой славы... Одна из многих печальных историй о старости, пережившей себя.

Я еще раз навестил Анну Александровну, когда Евгения Александровна уже умерла. Фамилия Анны Александровны была Шмидт, она приходилась какой-то родственницей знаменитому одесскому лейтенанту, окончила одна из первых в России женские медицинские курсы, но бросила все, чтобы сопровождать по

гастролям свою знаменитую сестру. Жизнь, можно сказать, ей посвятила – так это выглядело в ее рассказах; и в скрипучем сердитом голосе мне слышалась теперь обида.

Потому что все было не так, как я думал. Из театра Евгения Александровна ушла сама. Ушла, почувствовав, что не остается в ней прежней силы для прежних ролей, а переходить на характерные и старушечьи не захотела. На нее однажды произвел сильное впечатление провал великой Сары Бернар, которая попробовала играть прежнюю, не подходящую ее возрасту роль и была освистана. «Тогда публика была более жестокая, не такая, как нынче», – объясняла Анна Александровна. Нет, это было, пожалуй, не объяснение. Просто вдруг решила и ушла в зените славы – не захотела, чтобы увидели закат. Может, и одумалась бы вскоре, но именно после этого решения она внезапно лишилась голоса. Вышло это так: затеяли с ними соседи суд из-за жилплощади, то есть вот этой дачи. Занималась тяжбой, как всеми делами, Анна Александровна, сестре ничего не говорила, не хотела волновать, и без того ей тогда хватало. Но в день разбирательства та от кого-то обо всем узнала, и вернувшись из суда Анна Александровна застала сестру уже онемевшей. Доктора объяснили, что такое бывает на нервной почве, от лечения скоро отступились – может, со временем само пройдет...

Я сидел в сумрачной комнате с многолетней пылью на окнах. В углу стояли холсты на подрамниках и картоны: Евгения Александровна одно время рисовала маслом. На верхних полках книжных шкафов выстроились в ряд кукольные головки из разрисованного папье-маше, довольно крупные – тоже ее изделия. Я видел их раньше, но как-то не обращал внимания: этакая портретная галерея, разнообразные улыбчивые рожицы. Я смотрел на эти застывшие немые улыбки – и мне становилось все больше не по себе. Что-то сквозь эти улыбки просвечивало – именно просвечивало, как сквозь полупрозрачную бумагу, смущало непонятым чувством... Гримаса, ускользнувшая из-под пальцев, заставляющая вспомнить под слоем артистических румян, под поволокой улыбки – серое тоскливое вещество...

Я ничего, оказывается, не понимал – и смогу ли понять эту силу страсти и подлинности, когда речь идет не об ударе судьбы, а о собственном решении, принятом однажды и, оказывается, навсегда, эту нешуточность игры и жизни?..

От кого-то я потом слышал, что перед смертью к Евгении Александровне вернулся голос. Что она сказала напоследок? Этого никто не знал – и уже некого спросить.

БОРИС ПЕТРОВИЧ ЧЕРНЫШЕВ

Он ходил в потертом пальто, старой ушанке, потрепанных брюках; на улице, при случайной встрече, можно было принять его чуть ли не за нищего – покуда не всмотришься в лицо: удивительной, одухотворенной красоты. Тонкие черты, тонкий, остро изогнутый нос, седеющая борода, рыжая буйная шевелюра, голубые яркие глаза – таким, казалось мне, мог быть Андрей Рублев. (Должно быть, на облик переносилось и впечатление от его работ – они заставляли вспоминать мир древнерусских фресок.) В неотмываемо-черной изящной руке – старая клеенчатая кошелка; в нее Борис Петрович собирал по дороге приглянувшиеся камни для мозаики. Он и краски готовил сам из камней, растирал на мраморной доске; фабричные материалы ему не так нравились, да они и денег стоили. Привозил эти камни из разных поездок, в мешках, ящиках, дома рассортировывал. (По его следам мы с женой как-то набрали камней в Ферапонтове – и поняли, какими красками расписывал Дионисий дивный храм Рождества Богородицы.)

О сохранности своих работ, даже о долговечности материала Борис Петрович мало заботился – многое рисовано на клочках, на оберточной бумаге, обоях, даже на газетах (шрифт, просвечивавший сквозь краску, создавал своеобразный эффект). Впрочем, и каменные плиты, как показала жизнь, отнюдь не обеспечивали долговечность. Множество работ было раздарено.

– Я не могу не дарить, когда меня просят, – говорил он как-то. – Знаю, у человека нет 200 рублей, чтобы купить мою работу, а предложить 20 рублей он стесняется. Я с удовольствием дарю. Недавно пришли два физика, один видит, что я в пиджачишке рваном, снял с себя пиджак, вот этот, и подарил мне. А работу попросить постеснялся.

При мысли о Борисе Петровиче мне как-то вспомнились слова философа: «Добродетель (благо) не нуждается в награде (блаженстве), ибо она сама есть блаженство». Спиноза, по обыкновению, формулирует непреложно, как теорему – и, наверно, можно бы ее доказать; все, кому доводилось испытать, хоть намеком, хоть краткой вспышкой, счастье подлинного творчества, знают, что выше награды нет и не может быть, что непризнанные гении всех времен были счастливейшими людьми, как бы трагично ни складывалась их жизнь. Но такое знание не избавляет от повседневной горечи.

Борис Петрович был из тех, кто мало заботится об условиях внешнего существования. Он даже из невзгод и потерь умел что-то извлекать. Однажды стал, например, рассказывать, как при перевозке повредили мозаику, которую он сделал для пансионата «Клязьма»: выбили все лицо.

– Но нет худа без добра. Я взял, добавил туда раствора и написал лицо фреской, по сырому. И получилось замечательно: нежное лицо в обрамлении мозаики – как икона в окладе. Понимаете? Тогда уж срочно пришлось выбивать руку и тоже писать фреской. Только ноги остались в мозаике. Честно сказать, на них уже просто не хватило силенок. Ведь это не просто: вырубить мозаику, добавить раствора и написать. Это нельзя механически делать, нужен какой-то душевный порыв. Так я и оставил. Но когда находит щепетильность, я вспоминаю, что за мной неоплаченный должок... Другая мозаика тоже упала и разбилась. Я переделал всю левую половину лица, а в фон вернул золото. Раньше я его убрал, а тут вернул. Золота у меня не хватало, и я местами сделал просто желтый камень. Получилось даже лучше. В пасмурную погоду лучше выглядит золото, но в солнечную погоду оно иногда бликует, иногда от зеленой травы отсвечивает темным. А желтый камень – всегда яркий...

(Думал ли тогда кто-нибудь, что много лет спустя новое пансионатское начальство, проводя ремонт, все эти мозаики просто ломает и выбросит на свалку?)

Разговор происходил в ноябре 1963 года. Мы сидели у него в комнате на Волхонке. Маленькая, метров пятнадцать, она казалась еще меньше из-за огромного рыжего рояля, который занимал ее большую часть. Он жил здесь с женой, сыном и двумя дочерьми. Кругом соседи, требовавшие тишины уже в половине одиннадцатого. На полках мелкая скульптура, керамика. Впечатление бедности и тесноты.

Мы пришли поддержать и утешить Бориса Петровича: в тот день, 28 ноября, в молодежном клубе должна была состояться его выставка, едва ли не первая, во всяком случае, на нашей памяти, короткая, дня на два, без каталога. Но утром того же дня прибежали какие-то райкомовские деятели, сказали, что был звонок из ЦК – выставку, с таким трудом подготовленную и размещенную, отменили.

Борис Петрович в стареньком свитере с оттянутым воротом сидел за столом, ел ливерную колбасу с хлебом, пил крепко заваренный чай. Утешать его вовсе не пришлось, наоборот, он нас убеждал не расстраиваться.

– Я к этому привык и даже понимаю, в чем дело. Конечно, что ЦК заинтересовался моей скромной фигурой, я не очень верю. Просто в МОСХе нашлись люди, которым не понравилось, что меня приглашает молодежь. Им бы хотелось, чтоб их пригласили, но их не приглашают. Поэтому они сначала дали согласие – чтобы отметить выставку в плане своих мероприятий, а потом постарались, чтоб ее не было... Но мне все же принесло большую пользу, что я готовил эту выставку. Я смог посмотреть, что у меня получилось, что нет. Как мои картины смотрятся на стене. Увидел множество недостатков. Это большой труд. На весь зал, по правде сказать, силенок не хватило, я только половину развесил. Ведь это не просто так – развешивать, нужно каждую стену решить... Нет, большая была польза...

Это, как рефрен, повторялось во множестве ситуаций, с убеждением искренним. Он был из поколения художников, где одни оказались развращены, другие задушены; выстоять удавалось немногим, и то не без потерь. Все время требовалась какая-то внутренняя самозащита.

Однажды мы пришли к нему, когда он ждал представителей выставкома, отбравших работы для выставки «Москва». К тому времени у него уже было подобие мастерской – склад для хранения работ какой-то детской студии. (А прежде работал у себя дома под лестницей.) Это был подвал, вызывавший мысль о новостройке, с которой еще не вынесен строительный мусор: цементная пыль, камни, красные и голубые кирпичи, стеллажи из необструганных досок, похожие на строительные леса. К стенам прислонены огромные плиты мозаик и фресок – дивные работы Бориса Петровича; но ни нормального освещения, ни возможности отойти, чтобы охватить их взглядом как следует.

Борис Петрович сидел среди всего этого хаоса и читал «Поэтику» Аристотеля. Между плитами, шебурша разнообразным мусором, бегала белая мышка без одной лапки. Кто-то из нас опрокинул ее банку с водой, она подбежала к ногам Бориса Петровича. Он сразу понял, что произошло, налил воды, мышка долго пила, потом зашебуршала с удвоенной энергией.

Мы принесли с собой колбасы (и водочки), он обрадовался: вот хорошо, а то я с утра ничего не ел. На Клязьме, пожаловался, жить ему дороговато: 90 копеек за одну еду, да на папиросы 60 копеек, на чай, на сахар – всего рубля два.

– Какая у вас красивая борода, – сказала Галя.

– Да, с трудом отбиваюсь от желающих меня нарисовать. Работал за городом, никто не видел, вот она и отросла...

Члены выставкома, придя, даже раздеваться не стали и подвал не осматривали, взглянули только на эскиз фрески «Москва»: прекрасная женская фигура, мотив лучших работ Чернышева, а за ней нелепый флаг с надписью «Мир».

– Я представляю так, – объяснял он, – что Москва – это мир... – и было неловко за это вынужденное юродство и уродство. Но тех интересовали все какие-то оргвопросы: надо будет принести на выставком детальный эскиз, вы же знаете, какая это будет выставка, там нужны прежде всего портреты передовиков...

И не посмотрев на шедевры вокруг, ушли.

– Ну и типы, – сказал я.

– А они были просто ошарашены, – сказал Борис Петрович. – У

них ведь самих ничего нет. Они ничего не делают, вот только ходят. Увидели, сколько у меня наработано...

Зачем он это нам говорил? Ведь сам не верил.

– Но хоть бы они понимали что-нибудь в искусстве. – Он уже немного хлебнул, хотелось, видно, выговориться. – А то ведь не понимают ничего. Да мне все равно. Примут не примут, буду работать для себя. Только жрать-то надо... Конечно, я эту Москву не всерьез делал. Да и нельзя всерьез писать Москву или Россию, это же смешотворно. Я бы мог написать им такую Москву, чтобы сразу приняли. Только вставить ей в лоб звезду и дать серп с молотом. Но это же не дело...

Нотка усмешливой горечи звучала теперь все отчетливей. По-немногу он разошелся.

– А вообще у меня нет работ, от которых я бы отказался. Если мне работа не нравится, я ее просто уничтожаю. Хотя, бывает, сделаешь, например, скульптуру, уже обожжешь, но чувствуешь: не нравится. И уже отложишь ее, чтобы разбить. Но проходит время, смотришь опять – нравится. Или придет кто-нибудь в гости, попросит на память именно эту скульптуру – которую хотел разбить. И ты думаешь: почему именно она ему понравилась? И сам благодарен ему... Нужно время, чтобы оценить работы.

Как-то он пришел к Гале в общежитие, принес показать свои рисунки – удивительные. За стеной пели, Борис Петрович пил шестидесятиградусный ром, стал рассказывать, как любили солдаты петь грустные песни по дороге на фронт, как он шел с отрядом по пустыне и мучился жаждой, как пили воду из ямок в песке...

– Хорошо я себя чувствую в студенческом общежитии. Вот недавно я был у физиков, там был шикарный стол, но они плохо себя вели. Они хотели показать, что они миллионеры, а видно было, что они только что из грязи да в князи. Как-то неэстетично у них все это получалось. А я, знаете ли, эстет.

И про то, что он – корабль, который плывет где-то посредине течения, сам по себе, ни влево его не тянет, ни вправо, и что эти вот рисунки когда-нибудь будут стоить 500 рублей каждый.

– Этим летом я сделал самые лучшие свои работы. Потому что приступил к ним так, будто я ничего прежде не делал и ничего не знаю, не слышал ни о кубистах, ни об импрессионистах. Делал, не думая, что кто-нибудь будет это смотреть, понимаете?.. У меня этих работ мало осталось, все роздал...

Последний раз я встретил его в феврале 1967 года на персональной выставке, в зале по улице Вавилова. Впервые собранные вместе, при сносном освещении, его работы поражали, как никогда: выявлялось их внутреннее единство, цельность, глубина. Не берусь описывать словами эти нежные, сдержанные тона, эти едва намеченные, неуточненные очертания: чем дольше вглядываешься в них, тем больше тебе открывается. Там же были «Однополчане», единственная в своем роде фреска на обугленных досках (может быть, подобранных на пожарище, может, обожженных специально). Лица солдат как бы проступают из обугленной среды, из обугленных воспоминаний...

У Бориса Петровича борода отросла еще больше, стала почти совсем седой и еще красивей. Рука, протянутая для рукопожатия, такая же неотмываемо черная, маленькая и изящная. Из-под голубой рубашки, надетой по случаю торжества, выглядывает драгая фуфайка.

Мы потом зашли к нему на чаек, в чью-то чужую мастерскую. По пути заглянули в магазин, купили колбасы, водки, хлеба, пили из неотмытых, со следами краски, стаканов.

– Работать в пьяном виде не рекомендую, – говорил, повеселев, Борис Петрович. – Но смотреть в таком виде свои работы очень неплохо. Все ясно видно.

В черных пальцах все время сигарета, он много курил, покашливал. О чем мы говорили в тот раз, я не записал. Запомнилась единственная фраза: «Вот, вроде бы все теперь есть, а работать труднее».

О его смерти мы узнали случайно, из газетного сообщения. Гроб стоял в том же зале на улице Вавилова, где два года назад была выставка. Бледное умиротворенное лицо с еще более утон-

чившимися чертами, острым красивым носом – стариковское, и в то же время проявилось в нем что-то детское.

Все-таки есть какая-то справедливость, – думал я, – по какому-то закону среди всей нищеты и невзгод до самой смерти все прекрасней становилось его лицо. Не случайно же. Это не всем дается, это соответствовало какому-то развитию души, ума, творческих способностей, которые ему дано было сохранить до конца дней.

Пожалуй, даже знавшие и любившие его лишь к концу его жизни начали понимать подлинный масштаб этой фигуры – и понимание это с годами продолжает расти и утверждаться, пусть пока в сознании немногих: это уже залог посмертной судьбы.

Он оставил после себя не только работы в материале более или менее стойком. Есть ценности, порождаемые самим существованием таких людей, как Борис Петрович, присутствием их духа, их мысли. Они могут проявляться в работах его учеников, в чьей-то памяти и будут передаваться дальше, словно частица некоего фермента, необходимого для доброкачественного существования и продолжения культуры.

УЧАСТЬ

1

В ночь после смерти Ильи Габая я перечел его стихи – и заново открывшегося слуха впервые коснулась пророческая их пронзительность.

Я ощутил до богооткровенья,
Что я погиб. Что лето не спасенье,
Что воробьи и солнце не спасут.

Это написано за пять с лишним лет до гибели, но лишь после нее прозвучало вдруг во всей подлинности, в обнаженности души – исповедь и объяснение, горестное и скорбное. «Мне невозможно жить», «Мне стыдно, что я жив, когда творят правед безжалостность и жадность, ложь и вошь», – слова, многими произносимые в худую минуту искренне и все же риторично, для него были исполнены смертельной серьезности.

О.Мандельштам говорит о смерти художника как о «телеологической причине», высшем акте его творчества, как о последнем, заключительном звене в цепи его творческих достижений. Не знаю, ко всем ли можно отнести эти слова, но я вспоминаю их, когда думаю о судьбе и творчестве Габая.

Как немислим был для него разрыв, зазор между стихами и жизнью, так не оказалось его между стихами и смертью.

В марте 1971 года он писал мне из Кемеровского лагеря о своих стихах: «Я недавно многие из них перечел (мысленно) и подивился одному обстоятельству: многое все-таки было предугадано. Интересно, интуиция ли это, или как-то малозаметно подго-

няешь жизнь под стихи, которые все-таки при всех обстоятельствах – определенная квинтэссенция помыслов».

Стихи всегда о главном для него, а по сути, единственном: о трагическом самоощущении человека, обнаженная душа которого воспринимает, как свои, все боли времени, о страстных поисках достойной позиции в разорванном, невоссоединимом мире.

Значит, должен я выискать место
В этом крошечке местей и свар?
По какому наитью? Родства?
Но, сударыня, что за родство
С задохнувшейся речью пророка
У ублюдка, не пасшего стад?
Значит, должен я выискать место?
По какому наитию? Чести?
Но откуда ж мне ведома честь
Государственных тяжб и воительств?

Однако именно потому, что стихи всегда о главном и единственном, Габай как личность не сполна выражается и уж во всяком случае не исчерпывается в них. Стихи для него могли быть лишь этапом душевного поиска, событием и возникали редко. Его складу предельно чужд был принцип «Ни дня без строчки», чужда фиксация впечатлений, мыслей и состояний. Дневников он никогда не вел, хотя на моей памяти несколько раз, казалось, загорался этой идеей.

И все же в стихах, в прозаических отрывках читаются не только события внутренней жизни, но и пунктир внешних обстоятельств, отзвуки биографии: сиротское детство, армия, студенческая пора, казахстанская целина, учительство в алтайской деревне, тюрьма, лагерь – судьба.

2

Как мы сокрушаемся, вникая в судьбы живших прежде нас, о потерянных бумагах, о незаписанных свидетельствах, как мы досадуем на тогдашних современников. На их месте мы бы знали цену

каждой мелочи и штриху, мы бы впитывали, запечатлевали все жадно, без лени, постарались бы вникнуть, понять...

Как бы не так! О давно ушедших мы знаем часто больше и полнее, чем о тех, кто жил и живет рядом. Часто ли выпадает открыто рассказать о себе другому и так ли просто задать вопрос? Умышленное исследование живой жизни вообще в чем-то сомнительно и невозможно, как вивисекция по-живому. О документах не говорю: в каких сейфах хранятся сейчас анкеты и автобиографии Ильи Габая, записи, бумаги, стихи, изъятые при обысках? Времена, когда вести дневники небезопасно, да и непозволительно по отношению к ближним, когда письма пишутся с расчетом на лагерную или иную цензуру, неблагоприятны для историка. Я не историк, я пишу об Илье Габае, каким он был для меня, и я благодарен сейчас отчасти легкомысленной, отчасти педантичной, вьезшейся в кровь привычке вести записи. Перечитывая их, обнаруживаешь, как много не сохраняет, а иной раз и подделывает память, всегда склонная подгонять прошедшее под что-то более желанное, удобное, неранящее, под более позднее умонастроение и понимание. Главная ее слабость – не в способности отказать, а в этой сомнительной услужливости, без которой жизнь, возможно, была бы мучительной. Память – слишком в большой мере инструмент самосохранения, чтобы быть безупречно строгой; это творческая, благотворная сила, чем-то родственная искусству, и пишущие историю – творят ее. Но дать ей такую волю – значит лишить достоверности жизнь. Записи разоблачают ее ухищрения, дарят, как новыми встречами, казалось бы, канувшими в небытие разговорами, событиями, подробностями.

В самом начале нашего знакомства, году в 1957-м, я по умонастроению Габая сразу решил, что он из семьи репрессированных. В ту пору у многих моих приятелей обнаружилась эта скрываемая прежде тайна. Возможно, поступить с предосудительной анкетой в педагогический институт было проще, нежели в университет или технический вуз*, возможно, знакомства складывались по неосознаваемому отбору – меня поразило, сколько их оказалось.

* Институт был и пристанищем некоторых педагогов; наш знаменитый философ и специалист по античности А. Ф. Лосев, например, вел в группах занятия по латыни.

Когда я спросил об этом Илью, он смутился, точно ему не по праву приписали заслугу. Нет, родители его просто давно умерли; одним из смутных воспоминаний было – как на похоронах отца он засмеялся непонятному еврейскому речитативу кантора.

От бакинских родственников Габая я услышал потом, что отец его был бухгалтером, удивлявшим своими математическими способностями: без всякого образования он решал сложные алгебраические задачи. Сын этих способностей явно не унаследовал, он был скорей в деда, непрактичного мудреца и знатока талмуда.

Я впервые увидел его родственников в январе 1974 года, когда мы, двое друзей, вместе с вдовой и сыном Габая приехали в Баку хоронить урну с его прахом – через два с лишним месяца после тягостной панихиды в крематории. Что-то жутковато-непозволительное было в повторении обряда: человека надо хоронить только один раз. Но такова была его воля: он сам назначил это место.

Случайно ли перед смертью человека тянет на родину, даже если, казалось, давно оторвался от нее и от родственных связей? В своей последней, лагерной поэме «Выбранные места» (1971) он с небывалой прежде остротой вспоминал

Про город зноя, роз и алычи
И очень копперфильдовского детства.

И в день выхода из заключения, как о первом желании, сказал мне, что хочет съездить в Баку. В том же 1972 году он осуществил эту поездку и впервые за много лет посетил могилу родителей, в ограде которой мы полтора года спустя хоронили его.

Я бродил среди безглазых, обезображенных снаружи сосудами газовых труб домишек, образующих улочки Старого города. Здесь иногда снимают фильмы о жизни дореволюционных или зарубежных восточных окраин, нищих азиатских кварталов. (Впрочем, говорили мне, если войти в дверь, которая, как положено, ведет не в дом, а во внутренний дворик, откроется порой обстановка далеко не нищенская.) Здесь он жил до пятнадцати лет. Здесь бродил когда-то Марат, герой его прозаических фрагментов, и сквозь

зимний, напоминавший московскую осень день высвечивался передо мной «крикливый южный город с запахами гниющих фруктов», «море, семицветное от пронизанного солнцем мазута». Вот в этот дом Марат был приглашен на «большой байрам» по случаю обрезания хозяйского сына. Здесь разыгрывались скандалы с криками и бранью на высокой ноте, вынимались ножи, бегали без штанов и дрались вот такие же, как сейчас, горластые пацаны. И, может быть, автобиографичен эпизод, когда герой Габая однажды попытался разнять дерущихся ребяташек: «приподнял одного из них за пояс и перенес на тротуар, и вдруг малый стал орать истошным голосом, рвать на себе майку, и сразу с какими-то криками (в переводе, видимо: наших быют) толпа окружила Марата и стала избивать его».

Родственники рассказывали некоторые эпизоды этого сиротского детства: как Илья ходил получать по карточкам хлеб и редко доносил его домой в целости – раздавал по пути нищим и попрошайкам; как сестра, с которой он жил, однажды утром, проснувшись, не смогла поднять голову с подушки: волосы примерзли к стене... Я долго не знал одного обстоятельства: на какой-то срок он был отдан родственниками в детский дом, хотя, по его словам, они в состоянии были прокормить его.

Как рассказать о родичах моих
За давностью бестрепетно и просто?..
Куда большей привычного сиротства
Я ощутил немудрость их сердец.

Милые, добродушные, гостеприимные люди, встречавшие нас в Баку, – наверно, речь шла не о них, о ком-то старше; да и в том ли дело? Речь шла о ранних болевых ощущениях, запечатлевшихся на всю жизнь, оттиснувшихся на личности и характере.

О, как хвастливой был вконец задражен
Я добротой, унизившей меня!

Повзрослев, он больше всего не позволял унижать себя ни добротой, ни чем бы то ни было. При его постоянном безденежье не

всем и не всегда просто было всучить ему трешку или хотя бы угостить обедом. Он убедительно отнекивался, уверял, что недавно ел. Потом, бывало, выйдешь с ним на улицу, а он заторопит: «Скорей куда-нибудь пожрать. Подыхаю от голода».

С этим переплетено было многое, прежде всего обостренное чувство независимости и достоинства. То не было вольное и легкое чувство аристократического равенства со всеми, для этого слишком оно было напряженным – скорей, плебейская, разночинная гордость, родственная комплексу неполноценности. С годами самосознание это уточнялось, формируя точный и строгий кодекс чести. Дворянство наше, что говорить, не потомственное. Но это свойство порождало особую чувствительность не только к своему, а и к чужому достоинству, унижению, беззащитности. Я не встречал человека, который воспринимал бы это так остро, как Габай.

Порой мне казалась даже чрезмерной его реакция на эпизоды, которые можно было бы воспринять скорей как забавные. Однажды на квартире, где мы собрались встречать Новый год, две наши девушки поболтали у порога с почтальоном, принесшим поздравительную телеграмму, пригласили приходить – так, между прочим, среди формул любезности, которые не воспринимаешь всерьез: кто ждет, что на вопрос «как поживаете» вам в самом деле начнут рассказывать! А почтальон возьми да и приди под самую полночь. Сидел за столом, красноносенький, бледный, напряженный, неизвестно кто и откуда взявшийся, в лоснящемся галстуке и с перхотным воротником. Это можно было еще обернуть занятым и даже веселым недоразумением, но Илья был вне себя.

– Что за барство! – выговаривал он в коридоре виновницам. – Пригласить человека, чтобы он чувствовал себя неловко. А он молодец. Молодец. Я на его месте нарочно бы так сделал. Пригласили – так вот и буду сидеть.

Потом напряжение немного спало. Илья отошел. По радио уже начиналось новогоднее поздравление.

– Ну, тише вы, – шумел Габай. – Я опять ничего не расслышал. «Слава советскому...» кому советскому? Ничего не слышно. «Вперед к победе...» чего? На самом интересном месте вы начинаете

кричать. Я так и не пойму, к победе чего?..

Начинался новый, 1964 год.

3

В соседней с институтом столовой работал гардеробщик, щуплый, с гладеньким и каким-то приторным зализом; столь же приторной и в то же время неумолимой была навязчивость, с какой он помогал надевать пальто. Отказаться было почти невозможно. Он не обижался, если ему не давали потом на чай, но не давать при такой услужливости было трудно, и некоторые студенты из-за него избегали этой столовой.

Илья давал всегда, и ему, и другим. Он буквально выворачивал карманы перед встречным – не нищим даже, пьянчугой-попрошайкой. Собственное безденежье в ту пору его, казалось, не угнетало. Получив свои двести сорок рублей стипендии, он раздавал долги, на оставшиеся деньги покупал книги, бутылку-другую вина и снова оставался без копейки. Иногда мне случалось принести ему деньжат, на которые, по тогдашним ценам, можно было бы прокормиться несколько дней; он в тот же вечер как-то незаметно спускал их на общую выпивку, виновато хмыкал:

– Ладно, не жалей свои рубли...

На столе общежитийской комнаты толпятся бутылки «Сапери-ви» или еще более дешевого «Вин де масэ», лежит нарезанная на серой магазинной бумаге колбаса, ломти хлеба – бессмертный натюрморт студенческой вечеринки. Воздух вокруг голой лампочки светится от табачного дыма. Открывается дверь – сосед пришел к Илье просить на вечер брюки. Из карманов вместе с табачным крошечком вытряхивается на пол медаль «За освоение целинных и залежных земель» – Габай никогда не носил ее и, полагая, не упоминал в анкетной графе о правительственных наградах. И, отдав брюки, он продолжает застольный разговор о том, что наступает эпоха сытости. У него к этой теме было сложное отношение...

Мы одно время наведывались в мастерскую замечательного, еще не оцененного до сих пор художника Бориса Петровича Чер-

нышева. Это был удивительно красивый старик, мало, казалось, тяготившийся внешними обстоятельствами жизни. В своем трепаном пальтишке, ободранной ушанке, с неотмываемочерными, красневшими без рукавиц на морозе пальцами он напоминал бы деревенского нищего – если бы не одухотворенное, исполненное значительности лицо с невыцветшей голубизной глаз. Я уже писал о нем; встречи с ним вызывали у меня, среди прочего, мысль, что все-таки есть на свете высшая справедливость, и по какому-то закону, не в пример обрюзгшей, бесплодной старости официальных знаменитостей, этот человек с годами становился лишь просветленней, до последних месяцев наращивая творческую силу. Во всяком случае, мне казалось, что старик достоин скорей восхищения, чем жалости – чувства, которое прежде всего пронзило Илью при встрече с ним.

– Это не жалость, а горечь, как ты не понимаешь, – с горячностью возражал он. – Меня просто резануло вот тут, у горла, когда мы принесли колбасу, а он сказал: очень кстати, я сегодня с утра ничего не ел. А был уже вечер. Это величайшая несправедливость, когда такой старичок весь день ничего не ест, а в мастерской у него сокровища на сотни тысяч. Это социальная несправедливость. То, что ты говоришь, – абстрактные, ницшеанские штучки. Прости меня, но ты в этом отношении всегда был немного толстокож. А я знаю, что значит целый день не есть... Да пусть даже и жалость, это самое естественное чувство. Что за глупые горьковские штучки: не унижать человека жалостью. Когда я вижу этого старика, который тоненькими ручками ворочает такие тяжести и целый день ничего не ест, мне стыдно за себя, за то, что я после шашлычной отрыжки пишу стихи о правдоискательстве. Поэтому я и не пишу последнее время. Не только поэтому, но и поэтому тоже. Нужно моральное право писать некоторые вещи.

Разговор происходил в марте 1964 года – какая там могла быть «шашлычная отрыжка»! Случайно оказались при деньгах, хорошо пообедали. Да и Борис Петрович не голодал в прямом смысле, просто не выходил, наверное, в тот день из мастерской. Несколько месяцев спустя я услышал отголосок этого разговора в строках из поэмы Ильи «Книга Иова»:





13.

Так ль слово «жалость» – скверный тон?
 Так ль уж постыдно слово «милость»?
 Вы их превыше, ваша милость,
 Я – ниже! И стою на том!

«Стою на том» означало осознанную и подтвержденную позицию; но основой всех его душевных движений и поступков было непосредственное чувство, порыв, начинавшийся до осмысления и доводов. Это чувство заставляло его пригревать за пазухой случайно встреченную кошку и долго бродить с ней по улицам (домой он ее принести не мог – не было у него тогда еще своего дома). Оно заставляло его днями дежурить у постели попавшей в катастрофу, не особенно даже знакомой женщины...

Была ли толика сентиментальности в этой сердечной незащищенности и доброте? Он сам признавал за собой такую слабость. «Я, конечно же, не чужд, как тебе известно, некоторых сентиментальных черт» (письмо 12.10.1970). Может, точнее было бы здесь русское слово «чувствительность» – способность ощущать ком у горла от жалости и сострадания. Этим свойством был наделен глубоко чтимый им Радищев – с душой, уязвленной «страданием человечества».

Но я хотел бы, чтобы боль чужая
 Жила во мне щемящей сердце болью, –

писал он в юношеском стихотворении «Чужое горе» (1957); и в этих строках – нравственная основа всей его дальнейшей жизни, всей общественной его активности. Здесь словно заклинание от душевной глухоты и слепоты. Для него незаживающим укором совести была память о том, что совершалось рядом с ним и на что у него открылись глаза непозволительно, не по возрасту запоздало:

Своей беды нам ворон не накличет,
 Беда других – ничтожна и мала...
 Наверно, от такого безразличья
 И повелись преступные дела.

В нашей действительности, в общем-то, можно устроиться обособленно, находя свое достоинство в позиции неучастия, уклонения, даже гордясь способностью поступиться известными выгодами; не всем, но некоторым, «счастливым праздным», доступно даже свести до минимума столкновение с подлыми сторонами жизни, ограничить общение избранным кругом и не слишком жаловаться на свой опыт.

«Ваши права когда-нибудь нарушались?» – уличал меня как-то следователь в Лефортове, изображая возмущение моей подписью под текстом, где говорилось о нарушении гражданских прав; и, представьте, в первый момент мысль заработала в подсказанном направлении, я с неловкостью стал припоминать: вроде бы нет... зачем же я так?

Да хоть бы и нарушались! Мало ли приходится переносить самых разных обид и невзгод! Ты можешь относиться к жизни стоически и философски, принять неизбежность всех противоречивых ее элементов, горечь, поражение, боль, смерть, признать разумность действительного и найти опору в самом трудном и даже трагическом знании.

Но вот страдаешь не ты, а некто близкий тебе, не всегда склонный и способный к возвышенному философствованию; он страдает и хочет вырваться из своей боли. Ты скажешь ему, что заранее уверен в своей бессилии помочь? что сам страдаешь от своего бессилия? что этим возвысишься?..

Как много складных этических систем рушится, когда нужно перенести добытое знание с себя на другого. Чужие жизни и судьбы зависят от нас больше и иначе, чем нам хотелось бы знать. Быть может, самое трудное в самопожертвовании – сознание, каким горем это обернется для твоих близких.

Габай всегда настаивал, что каждый вправе рисковать только собой; на всех допросах его первым правилом было говорить только о себе, но других имен не касаться. Как непросто это было в реальности, как часто сказанное о себе было уже сказанным о других! профессиональные ловцы душ знали это по роду службы. Слишком все переплетено. Даже в самых, казалось бы, обыденных житейских обстоятельствах не все определялось твоими доб-

рыми намерениями. Забота о страдающих дальних, увы, бывала за счет ближних, семьи, например, – уж в этой сфере отношений куда как много тупиковых закоулков...

Сам Габай был слишком сложен и неоднозначен, чтобы укладываться даже в собственные свои представления. Он слишком навидался изнанки жизни, чтобы быть благостным: в колонии для несовершеннолетних, где работал воспитателем, в армии, в глухой деревне, на целине; о позднем тюремном и лагерном опыте не говорю. Он не был домашним сентиментальным мечтателем. Это был сильный человек; я бы не назвал его и физически слабым, хотя он был начисто чужд спортивных добродетелей.

Многие его стихи вдохновлены Библией, но не Евангелиями, а Ветхим заветом, где мало кротости и смирения, где все в гари, смуте и душевной скорби, в величественном порыве, где читится более дух воинственный.

Нищего жалеют не за рвань:
За то, что он не борется, а просит,

писал он в «Еврейских мелодиях». То-то и оно; жалость – чувство непростое. Порой бывает трудно возлюбить тех, кого жалеешь; не всегда хватает духа евангельского.

В юношеском (1959 года) стихотворении «Баржи и яхты» Габай противопоставлял романтическому «Рожденный ползать летать не может» мир низких и трудных будней:

А вы все славу курите
Летающим над пропастью!
Летают даже курицы,
Попробуйте – поползайте!

И эта искренняя юношеская программа отнюдь не отменяла способности восхищаться полетом, «яхтами» – чем был бы мир одних «барж»?! Развитый вкус не мог не знать цену сильного, величественного – даже если на нем лежал отсвет нравственной сомнительности. И последовательный нравственный выбор Габая – не благонравие певца прописных истин, а испытанное искусствами

убеждение человека незаурядного, сознающего свою незаурядность.

В феврале 1971 года он писал из лагеря, отвечая на какое-то мое размышление о теме «маленьких людей»: «Быть может, во всей мешанине современных литературных перипетий это самая надежная, если не единственная пристань гуманизма – при скомпрометированности героической симфонии... Все-таки возвращаются на круги своя болевые ощущения XIX века. Рад, что мы с тобой оказались в конце концов при одном истоке. Ежели это даже и разбитое корыто – ну и пусть; стало быть, все прочие дары государыни-рыбки следует почтительно вернуть людям с иной кожей: не про нас».

4

Летом 1964 года Габай рассказывал мне, как ввязался в спор с Эренбургом на каком-то вечере в ЦДЛ. Его разозлили пренебрежительные рассуждения Эренбурга об инфантилизме современной литературной молодежи по сравнению с прежней.

Я усмехался. Сам-то я, конечно, казался себе достаточно зрым. Еще два года, год назад – неловко вспомнить, каким был дураком, но сейчас, в каждый данный момент – отнюдь. Пока не взбирался на следующую ступеньку.

Давние записи выдают меня с головой мне же самому. По многим статьям уровень наш бывал постыдным для не столь уж невинного возраста. Да вот вопрос: не скажу ли я чего-нибудь сходного через год-другой и об этих вот, нынешних своих откровениях? По опыту не станешь зарекаться. Всякое понимание, знание с годами углубляется – должно углубляться; в каком-то смысле зрелость, может, вообще недостижима. Но это знание и незнание, зрелость и незрелость вместе образуют некоторую целостность, существуют внутри нее, мы чувствуем ее всегда; отсюда в каждом возрасте оправданное ощущение полноты бытия. Юность вообще можно воспринять как недоразвитость – но какая тут правда? Мне бы хотелось саму незрелость нашу увидеть внутри этой целостности.

Что – уровень! Откуда ему было взяться у школьников зябкой, с приморозками, поры? Школьная теплица сквозь пыльные стекла пропускала свет убогий; стоит удивляться скорей, что все-таки росли – с задержками, с искажениями, но и с какими-то свойствами, не предусмотренными селекционерами. Бывало по-разному, и стоит, наверно, ограничить это «мы» тем общим, что сблизало внутри поколения нас, мальчиков из семей, интеллигентных настолько, чтобы заложить в детях понятия, дающие прививку от хамства (не всегда ее хватает на всю жизнь – всякая прививка нуждается в подкреплении), чтобы подчас нелегкой ценой позаботиться об их образовании, передав в наследство собственные, чаще всего не осуществленные мечты – но редко присовокупляя к этому наследству не то что библиотеку – книжный шкаф; наши первые этажерки заполняли мы сами в меру своих возможностей и разумения, постепенно и не без вреда для здоровья учась отплевывать шелуху от зерен, но сперва заглатывая все: благородную классику вместе с напозвавшим чтивом, газетами, радиопередачами, ждановскими докладами, внутри которых только и существовала для нас, например, Ахматова. А скольких не существовало!

И все же абстрактные, общие основы, формировавшиеся в нас неравноценной и неполноценной духовной пищей, содержали в себе зерно благородное и доброкачественное. Проблема состояла в том, как соотносить эти основы со все более открывавшейся нам реальностью.

– Я помню, – рассказывал однажды Илья, – когда мне было семнадцать лет, я шел по улице и думал: как хорошо, что я живу в Советском Союзе, а не в Америке, где линчуют, что я могу в этом году поступить в институт, если захочу. Вообще было чувство такой уверенности. А ведь прошло уже дело врачей, и семнадцать лет, что ни говори, – возраст.

«Это мы потом подросли и научились стыдиться жеребьячьих глупостей своей юности. Черт-те что, болтать о всяких там Кантах и Эйнштейнах» и не замечать рядом трудных, исковерканных судеб, – вот чем казнится герой одного из ранних рассказов Габая. Персонажи этих рассказов – алкоголик, бывший инженер, побы-

вавший в немецком плену; беспутный парнишка, угодивший в тюрьму, ненароком забеременевшая девица. Как-то у метро нам встретилась женщина, которую Илья потом назвал одной из своих героинь. Едва поздоровавшись и удивившись нечаянной встрече, она вынула из авоськи пачку халвы, сунула ему: «Возьми, возьми, вон ты какой худой».

Такие вещи формируют душу не меньше отвлеченных формул; да и чтение «Кантов и Эйнштейнов» (если человек их, конечно, читал) откладывалось вовсе не во вред. Несовпадение внутренних абстракций с реальностью могло порождать, конечно, и лицемерие, и цинизм; бывало по-разному. Наверное, тут можно говорить о некой предрасположенности: она определяется, среди прочего, душевной организацией, той самой совестью чувствительностью, болевой обнаженностью и не в последнюю очередь – глубиной, требовательностью ума, не склонного удовлетвориться полуправдой, подделкой. Эта глубина неотделима от честности (как и мужество); она ее мера. Основу жизненной цельности дает способность к душевному поиску; потребность же в нем для нас особенно была задана временем.

Обозначенная 1956 годом ломка была ломкой не столько понятий, сколько понимания, сменой ориентиров, но не критериев. Сколько представлений сдвигалось, сколько репутаций переворачивалось, сколько рушилось кумиров, сколько имен всплывало из небытия! Эпоха наделяла нас новым сознанием вместе с чувством соучастия в ужасах, о которых былые века не слыхивали. Для поколения тогдашних 16 – 22-летних это особенно много определило в будущей жизни. Более старшие успели сформироваться другим опытом, более младшие не знали столь крутой ломки. Во всем есть своя сила и слабость; блажен обеспеченный наследством от рождения; но есть свое достоинство и в том, что добыто с духовным напряжением, – прежде всего, повторяю, само это напряжение.

Жизнь Габая представляется мне историей некоего сквозного поиска, запечатленного в стихах, и суть этого поиска важнее, чем любой обособленный промежуточный вывод. Я не случайно ставлю даты, цитируя его высказывания и стихи. Мысли, которые сей-

час кажутся нам привычными, естественными, даже тривиальными, далеко не всегда были такими; надо воздать должное тем, кто пробивал ступеньки.

Когда, не видевшись несколько месяцев, мы, бывало, встречались и заводили долгие разговоры, удивительно было ощущение, как параллельно развивались наши мысли. Параллельность не означала, конечно, совпадения: иные его фразы мне казалось не обязательно дослушивать до конца, я уже понимал с полуслова и мог бы закончить за него. Но он продолжал, и конец фразы оказывался не совсем таким, как я предполагал. Ощущение сходства, может, возникало отчасти от не дослушанных до конца фраз. И все-таки в существенном сходство было. Наша близость порождалась не только личными свойствами – слишком много в характерах, в проблемах, в направлении умов было задано временем. Мы не всегда отдаем себе отчет, насколько мы участники потока, – как не чувствуем, что несемся вместе с Землей сквозь Вселенную.

Общность порождалась в чтении одновременно доходивших книг, в обсуждениях и спорах, от которых Габай никогда не уклонялся, ввязывался горячо, всерьез, часто один против многих – они ему непросто давались. Иногда потом, уже поздней ночью, он отправлялся бродить один по улицам, чтобы прийти в себя. Эти встречи, обсуждения и споры вспоминаются как первая примета той поры...

Потом мы выходим вместе на улицу, мокрую от дождя. Немного навеселе, запеваем «Гренадеров». Впереди, приплясывая с гитарой, Юлик Ким. Заглянули к кому-то еще, соблазненные возможностью выпить, читаем стихи, и я, помнится, как-то подумал, что нас, вот таких, можно заснять для фильма о современной молодежи... Да, мы как раз зашли к артисту, исполнявшему заглавную роль в фильме «Застава Ильича». Примерно то же почувствовал, видимо, Ким:

– Ну что, похожи мы сейчас на современную молодежь, которую показывают у вас в кино? – спросил он.

Фильма мы тогда еще не видели.

Но, как уже говорилось, время определяло далеко не все, и

речь о «нашем» поколении следует, видно, ограничить сравнительно небольшим кругом близких по типу людей. Слишком далеко расходились пути моих сверстников. Дожив до некоторого возраста, успеваешь увидеть разные метаморфозы. Для притчевой наглядности упомяну, как на одном из позднейших допросов собеседником Габая оказался его бывший сосед по студенческому общежитию. Я знал не его одного, облюбовавшего эту стезю. Два бывших однокашника по разные стороны следовательского стола – картинка, впрочем, не новая для нашей истории. Тут можно бы подробнее порассуждать о внешних обстоятельствах и внутренних причинах, которые определяли пути; но и эти рассуждения вряд ли будут новы. Скажу лишь об одном: на многих жизненных поворотах меня поддерживала и остерегала близость с Ильей, всегдашняя оглядка на него в работе, мыслях, решениях: «Что бы он сказал об этом?» Я думаю так и сейчас, когда пишу эти страницы.

5

...А время каменеет, и у фраз
Нет свойства передать из дальней дали,
Что люди жили, мучились, страдали,
А не свершали действия напоказ.

Недавно я в очередной раз услышал знакомое застольное рассуждение о том, что политикой надо заниматься профессионально. Когда художники ввязываются в политику, это выходит непрофессионально.

А можно ли жить профессионально? Политикой ли занимался Габай?

Но откуда мне ведома честь
Государственных тяжб и воительств?

Он мыслил не политически – для этого слишком мало в его действиях было заботы о победном результате.

– Мы чистоплюи, – усмехнулся он как-то в разговоре, – мы не согласимся ни на какой политический пост – чтобы не пачкать рук.

И в своем последнем слове на суде в 1970 году, ярком, страстном, умном слове, которое, надеюсь, когда-нибудь войдет в хрестоматии по истории нашей общественной мысли, по праву мог заявить: «Мне, я думаю, не свойственно общественное честолюбие».

Исходным мотивом его действий, как уже говорилось, всегда был непосредственный нравственный импульс:

Ах, слава богу, мы не Робеспьеры,
Но почему должны терпеть мы стыд?
(1968)

Как-то осенью 1963 года в кругу друзей зашел разговор о слабости любой положительной программы.

– Это вредная теория, – вспылал Габай. – Из нее следует, что ничего не нужно делать, что если мы сволочи, то не потому, что мы сволочи, а потому что мир такой. Какая положительная программа была у Радищева?.. Можно и нужно бороться не только за что-то, но и против чего-то. Если мы чего-то не делаем, то потому, что мы трусы. И ты трус, и я трус. Потому что мы больше всего заботимся, как бы не потерять стул из-под задницы. Из всех вас я, пожалуй, наиболее способен наделать глупостей. Вся беда в том, что мы слишком себя любим, слишком себя уважаем. Мы боимся даже показаться смешными...

Он действительно способен был натворить глупостей, мальчишеских, не по возрасту нелепых. Например, швырнуть камень в окно дома на Лубянке. Потребность действия не находила еще адекватного выхода, и если что останавливало, удерживало от многих небезобидных выходок, которые могли плохо кончиться, так это та самая боязнь оказаться смешным – существенный элемент его мироощущения.

Любимым героем Габая всю жизнь был Дон Кихот. Он говорил мне об этом в первый год нашего знакомства и верность «священному донкихотству» сохранил до конца.

– Чем больше перечитываю эту книгу, тем лучше вижу ее слабости как романа и тем сильнее чувствую величие образа.

Помнится, в ходе одного из споров о смысле и бессмысленности отчаянного порыва, единственным результатом которого может быть тюрьма, Илья воскликнул с искренней тоской:

– Да поймите, нам, может, очень надо за что-нибудь посидеть в тюрьме.

– Ты не знаешь, что это такое, – усмехнулся в ответ Петр Якир. – Тюрьма ломает. Мне-то ничего, я привычный. Я попаду в тюрьму, возьму свою пайку и песни стану петь (запись 20.10.1963).

(Увы, он ошибся лишь отчасти.)

Сделай меня смелым,
Чтоб не бояться смеха,
Смелости дай, Всевышний,
Смелости быть нищим! –

писал Габай в отрывке, впоследствии исключенном из «Книги Иова».

Его тяготило чувство неполноценно текущего времени. «И что самое обидное, с ума от такого образа жизни отнюдь не сойдешь», – писал он мне с Алтая 7.11.1962, посылая стихи, где предьявлялся горький счет самому себе – «за то, что так бесславно жил, что жил – не рвал, не знал сожженья». Он тосковал о подлинности, вспоминая в «Книге Иова» очередной ушедший год -

год не невзгод – когда б невзгод!
год ошущенья: загостился...
Он даже шел на срыв, на слом,
но это было той же ложью,
как смелость тени – под подошвой,
как стойкость радуг – под веслом.

Прекрасный образ иллюзорной жизни, мнимой смелости. Не умышленный поиск невзгод, а требование неподдельной судьбы.

В 1963 году мы затеяли сочинять с ним совместный роман; каждый в рамках общего сюжета должен был вести свою «партию»,

своих героев. В этом незаконченном, а верней сказать, ненаписанном романе есть «малоназидательная сказочка», принадлежащая перу Габая.

«Человек некий вообразил себя богоборцем, предстал он перед светлыми очи и сказал: «Бог, тебя нет, и я тебя знать не знаю». – «Недосуг мне, – сказал Господь, – некогда мне с тобой валандаться, и вообще время у нас сейчас такое, умеренное. Валяй, богоборствуй. И пошел Человек, и стал кричать: «Бога нет, он мне сам об этом сказал...» Так витийствовал он некоторое время, и с платы за собрания построил себе рай не рай, но уютную-таки жизнь. И очень эта уютная жизнь тяготила Человека... Чем пуще он гневил Бога, тем лучше ему жилось на земле. И взмолился он: «Накажи меня, покарай, а то люди на меня пальцами показывают, что я со своего богоборчества, со своей богоненависти себе жизнь хорошую устроил». – «Вот уж это – хрен тебе, – так сказал Бог, – это уж ты у меня не проси. Я вас, блудных, хорошо знаю... Все вы блудите с твердым расчетом на тельца, всем вам, блудным, для успокоения совести вашей, суетной и тщеславной, страдания нужны и испытания, в рубище походить хочется... А ты у меня не страданием, а жиром помучаешься, не жертвой, а жратвой будешь обставлять свои исступления... Шиш тебя в конце ожидает вот такой, и, кроме шиша, нечего тебе будет вспомнить...»

Нет, он не принадлежал к прирожденным, умелым бойцам, уверенно, хоть и с риском, нацеленным на победу; у них своя честь. И своя – у тех, кто предчувствует, что в столкновении с властью людей, не претендующих на власть, нет победы, кроме моральной. Возможно, что это не более трагично, чем жить, заведомо предвидя смерть. Но родиться нам или нет, мы не выбираем. Впрочем, может, и нравственный императив, а с ним и жизненный выбор определен человеческим устройством больше, чем мы думаем, – когда человек чувствует, что просто не может иначе:

Но ты отмечен свыше: ты помечен
Обязанностью к действиям вотще.

Чем были бы мы без таких людей?

Я не верю в любовь к мятежам, —

писал Габай в лагерной поэме, —

так создается зло
и не верю в право уклоняться от мятежа:
так допускается зло
я не верю в возможность
ответить на вопросы души
и в право души не задавать их.

Это — как бы отрицательный синтез темы: речь о непозволительном, о невозможности однозначного решения. Есть ли синтез положительный? Во что верит автор? «На что я надеюсь?» — спрашивает себя Габай и отвечает:

...что на кручах,
Узнав хоть краем боль,
Я обрету не роль,
А участь, друг мой. Участь.

6

Я пишу о личности и судьбе Ильи Габая, следуя за его стихами, и чувствую, как поневоле складывается образ человека, жившего в силовом поле одной думы, одного комплекса проблем. В его поэзии нет гармонической широты, но есть напряженность и глубина страсти. Вдохновение всегда выше поэта, но и человек не укладывается весь в свои создания. Я уже говорил, что по многим причинам к Габаю это относится особенно.

Возможно ли по стихам составить представление о его остроумии, живости, обаянии? Разве что единственная шутливая поэма, сочиненная как-то на скучной лекции, позволяет судить о той атмосфере искрометной, блистательной хохмы, которую он создавал вокруг себя: на школьных уроках, где мог устроить соревнование «лжецов» (дети его любили, и многие бывшие учени-

ки приходили к нему спустя годы); в славном нашем застолье и импровизированных «капустниках». У меня хранятся магнитофонные пленки с мелодрамами, детективами, трагедиями и водевилями, которые мы сочиняли иногда экспромтом, передавая микрофон по кругу. Как-то, играя в буриме, мы создали новую авангардистскую поэтессу Нету Некрасер; сборник ее заковыристых стихов был изъят на одном из обысков, и среди всех тревог мы забавлялись мыслью о задачке, которую задали следователям. Ранние, алтайские письма Габая бывали чудо как смешны. Вдруг он обращался ко мне, как к даме, которую ревнует: «Как вы, Марка, в сущности неглупая женщина, могли прельститься показным лоском этого хлыща и не заметить, что под грубым сукном моего учительского кителя бьется трепетное и любящее сердце?» То начинал просить совета для своего приятеля, который «влюбился сразу в четырех девушек. В двух потому, что они ленинградки, в одну – потому, что ее дед был знаком с отчимом Володина, и еще в одну – потому, что у нее очень талантливые уроки по народной песне «Не шуми ты, мати зеленая дубравушка» в 6-м классе». То письмо вообще писалось, как пьеса:

«Марк (один): Что-то Илья не пишет. Зазнался, наверно, с тех пор как получил возможность проверять по 120 тетрадей.

(Входит Илья. Он, как всегда, чисто выбрит и отутюжен.)

Илья: Здравствуй, Марк.

Марк (сурово): Почему ты до сих пор не писал мне?

Илья: Я не писал до сих пор потому, что не знал, где я буду находиться.

Марк: Что ты можешь сообщить мне во первых строках своего письма?»

Дальше таким же манером следовали подробные ответы на вопросы о жизни и здоровье совершенно неизвестных мне Виктора Ефимовича, Марьи Ефимовны, Михаила Степановича и Марьи Прокофьевны, а попутно сообщалось и о существенных новостях: «Какое у тебя настроение, Илья?» – «Правду сказать, несколько вшивее, чем мне хотелось бы».

Он умел посмеяться над своим «вшивым настроением», и эта способность воспринимать невзгоды в юмористическом свете, как

бы со стороны, помогала превозмочь их. Почему же почти не найти следов этого вольного юмора в его стихах и прозе?

Нельзя сказать, чтобы он вовсе не проявлялся, – можно вспомнить и либерально-поэтическое «современное кафе», «где нету правых стен – все четыре, как искусство, левы», и остроумную игру слов вроде «ползет элита» в «Выбранных местах». Но это всегда скорей язвительный, напряженный сарказм, чем та исполненная превосходства, объективная ирония, с высоты всепонимания взвизгивающая на жизненную драму. Наверно, тут и ответ на вопрос. Поэзия его не знает эпической дистанции – почти полная слитность автора с тем, что он пишет; даже когда возникают на первый взгляд эпические образы: Юдифь, дочь губернатора, волхвы – это всегда либо рупор авторских мыслей, либо повод высказать их. Он мог критически оценивать эти мысли – но изнутри собственной противоречивости, не отстраняясь ни на шаг, и это лишь прибавляло напряженности, но не снимало ее.

В последние годы, особенно после лагеря, веселость все больше оставляла его. Он способен был, как прежде, шутить и дурачиться – но именно как прежде; была в этом инерция, воспоминание, отголосок, уже чуть дребезжащий, словно лопнул на струне волосок или сама струна ослабла. Легкие минуты, литературные разговоры становились все менее обязательными – мысль и душа его схвачены были другим.

Точно так же почти нет в его стихах любовной темы, не найти даже отголосков его многочисленных увлеченностей и романов, один из которых кончился женитьбой, во многом вынужденной. Это деликатная тема, но совсем ее не обойти, ибо с ней связано немало в жизни и судьбе Габая. От этого он убежал из Москвы на Алтай, не закончив институтского курса, и рвался потом еще куда-нибудь, возвращался, жил по чужим квартирам, восхищался при встречах сыном, строил фантастические проекты его воспитания, собирался даже взять его к себе у жены на год-другой – и та готова была уступить даже этому безумному плану: она ждала его с терпением и настойчивостью, какие даются, видимо, истинной любовью. В те годы я видел ее лишь изредка: Илья звал меня на неизбежные семейные встречи (в день рождения сына, напри-

мер), где ему не хотелось быть одному. Что-то начало меняться лишь после первого его ареста в 1967 году. Тогда его жена впервые стала появляться среди друзей на признанных правах: собирала передачи, хлопотала об адвокате, обсуждала новости – возбужденная, похорошевшая, в каком-то вдохновении: жена арестованного мужа. Из следственной тюрьмы Илья впервые вернулся к себе домой, в полученную тем временем кооперативную квартиру. Ко многим чувствам, связывавшим его с женой, прибавилась теперь и благодарность, и эта благодарность крепла с годами их трудной жизни, принесшей столько испытаний и горя самоотверженной и незаурядно стойкой женщине. До второго ареста Илья жил в своем доме мало, по-прежнему то и дело куда-нибудь исчезал: уезжал рабочим в археологическую экспедицию, учителем в деревушку под Кинешмой – и побеги эти были вынуждены не только необходимостью найти работу. После нового заключения он прожил дома около полутора лет – до своего последнего побега.

Да, все это называлось его жизнью и смертью, но почти никак не было связано с его поэзией. Особняком стоит сказать о теме природы. Пейзажной лирики, вообще пейзажа в строгом смысле его поэзия тоже не знает. Немногие, чаще всего небрежные, почти условные описания появляются в стихах всегда как будто именно ради того, чтобы заметить, как все это, по сути, несущественно для автора или его лирического героя: «Я отчужден от этих взаправду красивых буколик».

Был ли он действительно невосприимчив к природе? Если бы так просто! Порой казалось, что он не позволяет себе этого чувства – оно прорывалось лишь изредка.

– Чего в тюрьме не хватает, так это зелени, – рассказывал он в мае 1967 года, освободившись после первого четырехмесячного ареста. – Я не любитель природы, но зелени явно не хватало. Если бы разрешили в передаче передавать цветы, было бы намного легче...

Он снял очки, чтобы протереть; взгляд его незащищенных близоруких глаз с припухлыми веками был по-детски беспомощен. Я вспомнил, как мы купались в Енисее, и он, совсем ослепленный светящейся на солнце водой, не заметил, что на него наплывает

кошель сплавного леса; наружная цепь связанных между собой бревен подмяла его, он вынырнул уже внутри кошеля, среди вольно плывущих стволов, еще не совсем понимая от слепоты, что произошло, а течение стремительно уносило его. Он выбрался на берег километром ниже (неплохо плавал) и вот так же, шурясь, с безоружной улыбкой возвращался вдоль воды к месту, где оставил одежду и очки...

В тоне его, в этой знакомой оговорке «я не любитель природы» сквозило нечто вроде смущения, он словно признавался в слабости, не совсем позволительной. Та же извиняющаяся оговорка звучит в стихах, посвященных тому красноярскому лету:

Так много солнца – честно забываешь,
Что где-то есть дурак и фарисей...

И опять мне слышатся отголоски наших тогдашних споров. Я не мог принять этой неизменной оговорки, вносящей привкус сомнительности, недозволенности едва ли не во всякую радость, в само наслаждение жизнью. В детском туберкулезном санатории, где я когда-то лечился, был, помнится, шутник, любивший приговаривать среди общего веселья: «В Корею война идет, а вы смеетесь», – чем забавлял нас еще больше. Возможно ли было все время думать о несчастьях Кореи? Да и когда думали – так ли уж проникались? Какой-то высший инстинкт жизни, видимо, не позволяет держать в душе постоянно, «что где-то есть дурак и фарисей» (формула не Бог вещь какая удачная, но каждому нетрудно додумать и переиначить ее). И если цель всех поисков, борьбы, испытаний – какая-то будущая, вряд ли сбыточная гармония, – разве не божий дар все, что способно напомнить об этой гармонии, об этом смысле сейчас?

Старый вопрос. Еще Достоевский обсуждал право писать пейзажные стихи посреди страшного землетрясения. В том-то и дело, что Габай чувствовал себя живущим в потрясенном мире. Поступить памятью об этом казалось ему изменой чему-то; в своей противоречивости он был целен, не переставал, старался не перестать быть самим собой.

В одном из стихотворений эта тема развивается как бы в ответ строкам популярной студенческой песни «Мой друг рисует горы». Не помню, что я писал ему по этому поводу в лагерь; он отвечал мне 9.12.1970: «В мире все-таки существуют и утраты, и невежество, и победное шествие хамства и зла, и наше недостойное поведение. Здесь может быть безусловное, органичное явление Фета в «Дневниках» Достоевского перед лицом Лиссабонского землетрясения – кто же вправе упрекнуть человека за то, что он живет в своем мире. «Горы» – это все-таки не свой внутренний мир, а равнодушное, хотя и искусное, особенно на неискушенный взгляд, проектирование его. Это прекрасная почва для пилатства. Один мой знакомый, который в основном занимался хождением в гости, говаривал, что его удерживают от поступков интересы нации, которой будет трудно без него... «Фаустус», которого я тогда еще не прочитал, ответил на этот вопрос, по-моему: полный крах гения именно из-за невозможности любви, детской привязанности и пр.».

В «скверне и Содоме» лагеря эта тема приобретает особое звучание; щемяще-яркими становятся воспоминания о красоте и радости мира, оставшегося по ту сторону колючей проволоки. «Я сейчас иногда удивляюсь, – писал он мне 2.9.1970, – что можно было в то красноярское лето не чувствовать себя счастливым». В сновидениях поэмы «Выбранные места» возникают образы прекрасной природы.

И как я только мог, тупец и бездарь,
Лишь (так сказать) почти у края бездны,
Почти у рубежей небытия
Понять, что бор – не робость. И не бегство.
Но жизнь. Но жизнь: сакральный смысл ея.

Это словно извиняющееся за высокий слог «так сказать» не снимает выстраданной серьезности сказанного – особенно когда о «крае бездны» читаешь сейчас. Но следом за этими строками тотчас наплывает иное воспоминание – о «неправе и разбое»; мысль и чувство вновь мечутся в неразрешимом противоречии –

«с надеждой уточнить, с надеждой опровергнуть»:

Какие лес и дача? – не взыщите:
Какая благодать? – Скверна и Содом.
И нету сил! (И где мой утешитель!)
И худо мне! (И чем утешит он!)
Утешусь ль тем, что сложен человек?
Что много в нем намешано от века?
Что мы – когда Аврелий! и Сенека!
Когда поэт! Философ! Имярек!

.....

А если это вчуже и не впрок?

7

Стихи Габая – вечное самоопровержение, за и против, вечное «ясно – не ясно», словно две половинки собственного существа не в ладах одна с другой. Случалось, я запоминал иные его понравившиеся мне суждения и время спустя повторял их в разговоре. Габай почти всегда опровергал их, забыв, что опровергает собственную недавнюю мысль.

Он был слишком глубок, чтобы всякий раз не видеть *другой* стороны истины, слишком честен, чтобы удовлетвориться компромиссом. Ни одна мысль или тезис не становятся у него окончательными, не выражают сполна того, что он хочет сказать. Отсюда всегдашнее тяготение к большим поэмам с бесконечным, открытым варьированием мотивов; в кратком стихе не всегда удавалось быть цельным. В ноябре 1970 года он впервые писал мне из лагеря о замысле «Выбранных мест» – опять, по его словам, «попытки углубления вечных (для меня) тем, спора с самим собой, но боюсь, что каждый раз и теза, и антитеза будет слишком категорична – и потому схематична» (29.11.1970). Некоторые главы поэмы он присылал в письмах – и следом жалел об этом, боялся, что фрагмент будет неверно понят: «...без контекста, без сопаривания и опровержения чего-то высказанного (так у меня по-

строено) буду понят неполно и превратно» (25.1.1971).

Это относится ко всему, что он писал. Как бы выразительны, порой афористичны ни были отдельные его строки, как бы содержательны и интересны ни были отдельные его мысли – цитированные отдельно, вне контекста всего его творчества, его жизни и смерти, они могут создать неточное, иной раз даже превратное представление о его целостной сути. В какой-то мере это верно для всех, но для Габая с его противоречивым и напряженным миром – особо. Я никогда не мог воспринимать его стихи отдельно от всего, что знал о нем, что неразрывно связано не только с его, но и с моей жизнью. Мне бы хотелось, чтобы так же перечли их и другие.

Стихи его – своего рода свод противоречивых раздумий, вопросов, которые на разный лад задает себе в наше время и в наших условиях душа совестливого и мыслящего человека. Но ответа они не дают. Меньше всего его поэзия способна дать уверенность и основу для самоутверждения. И все же она служит уверенности, показывая читателю, что он не один в своих сомнениях и поисках. Она расшатывает самодовольство, половинчатую мудрость.

Счет его к самому себе труден – соразмерял ли он посильность своей ноши?

Я сам свой Бог. Но слабый, вздорный Бог,
Издерганный, юродивый, убогий.
Не дай вам Бог – любить такого бога.
И быть, как он, – не приведи вас Бог...

Но божьего величия – карать
Не пожелаю ближнему: не смею
Желать ему таких шахсей-вахсеев.
Не дай вам Бог – как Бог себя карать.

Чтобы быть нетрагичным в трагической действительности, надо либо обладать известной степенью толстокожести и поверхностности, либо возвыситься до некоего надличного представления о мире как о вечном и неизбежном круговороте жизни и смер-

ти, радости и страданий, – представления, не знающего ни страха перед миром, ни отрицания, ни оправдания его. Крушение отдельной человеческой судьбы выглядит тогда частной дисгармонией внутри гармонического целого; ценность ее относительна, все происходящее имеет свой смысл, и даже предательство Иуды служит вящей славе Христа. Такая мудрая примиренность с судьбой тоже не дается без потерь. Страсть, любовь порождены напряжением, которое говорит об утрате целостности; не всякому дано прорваться к гармонии через напряжение и разрыв, можно считать целостностью и отсутствие страсти, неспособность к истовому жизненному поиску. Возможно самодовольство, самолюбование в трагизме; искусство нередко служит зеркалом такого самолюбования. Это мироощущение заведомо отказывается от поисков выхода, считая его иллюзорным, зато находит нравственно сомнительное утешение в чувстве превосходства над другими, не способными к столь героической позиции. Этот аристократический эстетизм высокомерен и лишен любви; он знает лишь о своем страдании.

У Габая нет примирения с жизненным трагизмом, приятя его, столь близкого равнодушию. Терпя в своем поиске поражение за поражением, он не отказывается от него – он не верит в право души не искать выхода из противоречий:

Свести – но воедино как свести?
Ищи рубеж – но где его найти?..

Он так и не сумел свести воедино своего трагически-разорванного мира. Тот, кто считает, что ему это удалось, пусть спросит себя: какой ценой?

8

Габай был поэт по душевной организации своей. Стихами он жил, стихи были для него естественной формой самовыражения. Писал он редко, но сразу – ему было ведомо вдохновение.

Меня мелодия завертит,
Как ветер – горсточку золы.
Я буду в этой песне ветра
Песчинкой, поднятой с земли.
Лечу! И значит: вон из кожи,
Вон из себя, из пустяков,
Из давних, на стихи похожих,
И все же якобы стихов.

К написанному он почти не возвращался, хотя все время говорил, что надо бы еще поработать, пошлифовать. Отчасти это объяснялось тем, что он быстро вырос из давних строк и не мог вызвать в себе прежнего интереса к ним. Нередко причиной бывали обстоятельства.

«Думаю, что на шлифовку ее (поэмы) не хватит никаких сил и времени, – писал он мне из лагеря, – для того, чтобы сейчас ее писать, я и так должен был поступиться кое-какими удобствами, пойти на некоторые, невозможные долго, вещи» (15.1.1971). Наверно, лишь побывавшие в лагере, и в лагере общем, уголовном, смогут оценить, что кроется за словечком об «удобствах». «И это жаль: мне сейчас как-то ясны неудовлетворительные для меня места... Можно бы и переделать или написать заново – но где уж сейчас!» (20.4.1971).

И все же бывала досадна небрежность в его обращении со словом, которой при его технике нетрудно бы избежать; стих его часто звучал слишком невразумительно, темно, почти зашифровано. Но именно такой, как есть, он и составляет неслучайное, противоречивое явление, сила и слабости которого одинаково много могут сказать о человеке.

Сам Габай не только не отклонял упреки в косноязычии, но не без вызова утверждал его как некий поэтический принцип:

Я пишу, как с вами спорю,
Косноязычно, на авось.

Косноязычие это было иного рода, чем знаменитое пастернаковское, возникавшее от переизбытка, напора всего, что проси-

лось в стих, когда вспыхнувшие в озарении слова мгновенно застывают в немыслимом соседстве друг с другом, одним своим соприкосновением порождая превосходящий грамматику смысл. Но оно и не происходило от версификаторской слабости. Порой казалось, что ему, с ранних лет живущему в мире созвучий и ритмов, проще изъясняться стихами, нежели прозой, – так легки были его экспромты. Он отдал свою дань формальным находкам, звукописи («О, зовы Азова!» и пр.), но в зрелых стихах уходит от этого сознательно – словно боясь «променять на живость слов живую боль и душу живу».

Тут было не пренебрежение художественным совершенством, но чувство, что человек, которому надо выкрикнуть что-то жизненно важное, меньше всего станет заботиться о выверенной интонации или удачном решении:

Язык псалмов, пророчеств, притчей,
Язык мессий, язык заик,
В радищевском косноязычье
Ты захлебнулся, мой язык.

Мне в самом деле казалось, что такое отношение к поэзии связано с определенной духовной традицией – традицией пророков, людей, которые не занимались «литературным трудом», а жили неотделимо от своих слов, и слова эти были самовыражением, но не самореализацией профессионалов:

Не светлые и робкие стихи,
А боговдохновенные призывы.

Они жгли сердца – разжигая от своего собственного. Они размышляли, предостерегали, звали, обличали, скорбели, переливая душу в дымящиеся строки:

Потому что смысла в слове нет,
А правда только в стоне, крике, кличе.

Такую душевную слитность со своим словом-стоном нельзя долго вынести безболезненно. Профессиональное самосохранение требует некоторой отчужденности от материала; искусство всегда немного игра, полагающаяся на мастерство и технику, – не может же актер умирать вместе со своим героем. Речь пророка была не игра и не работа с поэтическим материалом, а смертельно серьезная жизнь людей великой страсти.

Осенью 1971 года я писал ему в лагерь о некоторых мыслях на эту тему, вызванных одной появившейся в ту пору статьей С.Аверинцева. Мне казалось применимым к стихам Габая проведенное этим филологом последовательное сопоставление «литературы» в классически-греческом понимании и ближневосточной, прежде всего библейской, традиции. Литература, «связанная с жизнью», самим этим сочетанием противопоставлялась жизни как самозаконная и самоценная форма человеческой деятельности. Она допускала и требовала рефлексии над своими специфическими результатами в виде поэтики, теории литературы, критики. Библейская поэзия была чужда профессиональной самооценке. Она пребывала внутри жизни и создавалась людьми, которые по своему общественному самоопределению не были литераторами и не заботились сознательно о создании литературного шедевра, о том, чтобы запечатлеть мир и себя со стороны, объективно, для будущего. Здесь нет дистанции между «я» и «не-я», стихия боли захватывает и автора, и читателя, превращая их не в слушателей или зрителей, но в соучастников, и самому Богу свойственно не просто эпическое милосердие, но «чревная» материнская жалость.

В противопоставлении этом нет оценки: что выше, что ниже; условность термина «литература» применительно именно к греческой традиции вовсе не отлучает традицию иную от литературы в более широком понимании. Мне казалось даже, что это близко подходу самого Габая к своим стихам. Не помню, в каких выражениях я высказал все это в тогдашнем письме; вероятно, неточность слов или разная настроенность мысли вызвали непонимание – в письмах, где нет возможности, как в разговоре, тотчас уточнить сказанное, это случалось нередко; но я был изрядно озадачен суровой отповедью, которую получил в ответ. Видимо, со-

поставление мое задело его за живое больше и иначе, нежели я мог предполагать. «Вы только отчасти правы, услышав в моем письме голос рассерженного человека» (3.10.1971), – полушутливой цитатой смягчал он впоследствии свои слова; но в первый момент ему все-таки почудилась в моих (по Аверинцеву) размышлениях попытка объявить «не литературой» кровно близкое ему.

«В самом деле, почему речи Демосфена или Цицерона – литература, а речи Исайи или Иеремии – нет? Потому что Исайя не набирал камней в рот?.. Наиболее убедительное место у Аверинцева – о дилетантах, пропускающих у Гомера описательную часть. Я, конечно, меньше, чем дилетант; может быть, в оригинале это действительно перлы поэзии, но мне кажется описание щита или хозяйства малолитературным: так, метафорическим, окололитературным источником по истории материальной культуры. И наоборот, событийный ряд, об интересе к которому Аверинцев отзывается пренебрежительно, глубоко интересен, так как он содержит исконный намек на «почву и судьбу» и на характеры. Гекуба, Пенелопа, Гектор, Парис, Аякс – это все-таки, вопреки умному и парадоксальному утверждению Аверинцева, и есть главное (для дилетантов, конечно, для дилетантов; но мы все, действительно, в гимназиях не учились и в древнегреческом не сильны). Как и Юдифь, Самсон с Далилой, Иосиф, Моисей и Аарон и пр. ...Обращенность к духовному, внутренняя ассоциативность Библии куда современнее (и «литературнее») гомеровских поэм». Греческая традиция, утверждал он дальше, оказала больше влияния на живопись, скульптуру, архитектуру, чем на литературу. «Исключение – драматургия, самая сильная сторона греческой литературы», где звучит «исконное ощущение человеком своего трагического, потерянного существования. У иудеев не было поэтики; может, это их сила: известно, чем могут стать каноны Аристотеля – Буало – эстетических отношений к действительности... Словом, по-моему, ты неправильно понял «нелитературность» библейской традиции; я уверен, что, вопреки изученному в школе, она куда сильнее, чем хрестоматийная греческая традиция: не случайно же Достоевского неплохо читать параллельно с Библией... Если... иудейскую «нелитературность» ты распространяешь на все, мною

написанное, то это очень грустно – для моих стихов, разумеется» (15.9.1971).

Как будто он говорит совсем об ином, чем я. Перечитывая теперь письма Ильи и свои давние записи, я по-новому понимаю истоки и подтекст этого несогласия. Я заметил, в частности, нечто, что склонен был забыть: он все же болезненно тяготился непрофессиональным существованием, положением непечатающегося поэта. Он не делал ничего, чтобы печататься, но услышанным быть хотел. Он не старался сделать свои стихи доступней, но непонимание его задевало. При всем том он внутренне отталкивался от «литераторства», в том числе от литературного (или окололитературного) заработка. Наше время меньше, чем когда-либо, благосклонно к таким людям.

Я в это лето перечел страницы
пророческих косноязычных книг.
Они открыли мне, как духовидцу:
пророков нет, и ты давно погиб, –

повторил он еще раз в стихах 1968 года.

9

Я пишу о Илье Габае, каким он был для меня. Был, остается, становится, ибо в памяти моей он продолжает расти, новым смыслом наполняются его слова и строки, я продолжаю, порой даже во сне, свой давний разговор, свой спор с ним, и в споре этом он отнюдь не безответен – он далеко не все еще мне сказал, я еще не все услышал.

Другой наверняка напишет о нем иначе – иное, потому что неизбежно будет говорить не только о нем, но и о себе, как ни станет отталкиваться от неуместной в таком разговоре исповеди или самоутверждения. В зависимости от собственного склада, от характера отношений с ним каждый видит своего Габая, и тут без некоторых примечаний не обойтись.

Пятнадцать лет, со студенческих времен и до его смерти, он был для меня самым близким из друзей. Долгие годы и он выде-

лял меня среди других*»; я был горд и счастлив этим, тем более что порой сам сомневался: что я могу значить для него?

Он-то для меня значил много. Я уже писал, что долго развивался как бы под его знаком, с оглядкой на его личность и мнение; я развивался в сопоставлении и спорах с ним, ибо по складу мы были все-таки очень несхожи, и это сказывалось чем дальше, тем заметнее.

Видимо, и для него не были пустяком наши отношения; его грела искренняя моя любовь, поддержка, просто житейское тепло – в своей вечной неприкаянности он особенно был к этому восприимчив. «Славно все-таки, что помимо всего прочего связывает нас с тобой в сей юдоли и общая земная теплота», – писал он 20.12.1970.

Не так уж много настоящего дарит нам судьба; дары эти не вовсе случайны, как не случайна способность распознавать их, и сколько горечи в мысли, что полную цену всего постигаешь запоздало.

С середины 60-х годов в его жизнь стало входить множество все новых и новых людей. Наш некогда узкий дружеский круг разрастался до утраты четких очертаний. Об этом речь еще впереди. Порой просто физически не случалось времени и возможности уединиться, поговорить, как бывало. «Очень жаль, – писал он из Молдавии летом 1968 года, – что за всеми событиями как-то мало нам приходилось общаться. Надеюсь, что в будущем нам удастся потрепаться и обговорить тысячу вещей».

Увы, это удавалось все больше лишь урывками; начиналась пора его долгих отсутствий, переписки, которая по подбору слов была более обязательной, но и более скованной и неполной, чем живое общение. «Теперь подождем старости, – шутил он. – Дети вырастут, внуки пойдут – ну, мы и наговоримся всласть» (11.11.1970). Правда, письма можно было перечитывать, все ближе проникаясь их искренностью и глубиной, постигая их грусть и безысходность; я понимал его, казалось бы, лучше, чем прежде, – но пре

* «Для меня представляет особую драгоценность не расторгимая ни суетой, ни превратностями судьбы связь с тобой», – писал он мне из Кемерово (12.10.1970).

жного было не вернуть, и очень его не хватало. А по опыту предчувствовал, что, когда он вернется в Москву, я не всегда буду способен ощутить это так ярко и многое снова затмит суета. Он тоже отдавал себе в этом отчет и в последнем своем лагерном письме 21.2.1972 говорил об этом: «Я ощущаю, что неизбежны большие куски отчуждения – так много прожито всеми вами без моего хотя бы отдаленного присутствия».

То действительно были годы, когда я, вдали от него, все больше утверждался в своем, отличном от его, пути. Увы, и он вернулся из лагеря слишком непрежним; несовпадение тогдашнего душевного настроения помешало мне различить его потрясенность. Облегчает ли мою совесть знание, что не я один повинен в этой глухоте? Сомнительной оказалась действенная полноценность дружбы – не оправдаться. Я без особого успеха пробовал помочь ему в каких-то житейских делах, не понимая его действительной нужды и покинутости – в непонимании этом покидая его, хотя мы по-прежнему встречались, говорили – жили мы уже в разных мирах, и он только со слабой улыбкой переносил мое присутствие – в предсмертной примиренности и прощении.

10

Друзья, молитесь за меня!
Выбранные места

Живший в сиротстве, по сути, без родных и дома, Илья всю теплоту свою обращал на друзей. Это было для него одной из главных ценностей. Он был всегда верен небольшой компании, сложившейся у нас году к 1960-му; состав ее видоизменялся, отставался, но сохранившиеся связи были особенно дороги.

Мы, помнится, любили шутя заглядывать в будущее: что станет с нами, с нашими детьми, которых тогда мало кто имел. Так же шутя обсуждали проект поселиться всем в одном доме, вести общее хозяйство, самим учить детей – среди нас нашлись бы педагоги всех специальностей.

– А раз в год, – увлекался Илья, – мы бы освобождали одного из нас месяца на три работать, писать. Потом он бы отчитывался перед всеми, что сделал. Каждую неделю мы бы обсуждали друг друга. А посторонних бы никого не пускали.

Но доходило до житейских подробностей, и, пофантазив, мы признавались, что долго совместной жизни не выдержим. И так намечалась уже какая-то ущербность в этой атмосфере знакомых шуток, намеков, с полуслова понятных лишь посвященным. Общение в слишком замкнутом и узком кругу всегда грозит выродиться, как вырождается потомство от повторяющихся близких браков. Были и иные причины выявлявшихся трещин.

Среди прочих легкомысленных острот на темы будущего Илья однажды изобразил, как нас вскоре посадят в одну камеру и мы будем раз в три года избирать старосту. Шутка, может, не бог весть какая, но в духе времени, и потом не раз был повод ее вспомнить.

– Если хочешь, ищи себе другую компанию, где тебя не арестуют, – при мне обрушился он как-то на одного нашего давнего знакомого. И потом говорил мне: – Он хочет жить двойной жизнью: между светским раутом и нами. У нас он будет над всем этим иронизировать, потом опять возвращаться туда.

Он был терпим, но пристрастен в своих отношениях и глубоко переживал охлаждение, наметившиеся уже разрывы. Зимой 1963 года он писал мне в санаторий из Москвы, куда приехал в мое отсутствие, что чувствует «совершенную неясность... в том числе и относительно прочности и искренности товарищеских уз. Последнее – это то, что меня весьма держит на земле и что очень и очень может свалить меня с ног». И в другом письме: «Хорошо бы нам всем не потеряться, но так, поди, не бывает. Я же за тебя держусь – и крепко держусь».

Как-то еще в одном письме с Алтая проскользнула фраза: «Не очень приятельствуй там, Марик. Меня, признаться, немного ревность пробирает».

Я понимал его. Я сам ревновал его ко многим людям, которых все больше стало входить в его жизнь. Впрочем, не только в его – в нашу. Начинались времена, когда небольшие разбросанные по

Москве компании вроде нашей какой-то неясной еще тягой находили друг друга, соприкасались, перемешивались – как ртутные пылинки и капли сливаются во что-то готовое растечься.

Тогда это еще не называлось демократическим или правозащитным движением, вообще никак не называлось. Встречались, знакомились, собирались люди самого разного опыта, возраста, специальности, судьбы, достоинств, даже взглядов – хотя взглядам еще лишь предстояло во многом оформиться и уточниться, и все эти знакомства, обсуждения, споры немало тому способствовали. Объединяла этот переливчатый конгломерат людей разве что неудовлетворенность общественным состоянием, потребность прояснить его, что-то, может, изменить – это смутное поначалу брожение тоже со временем уплотнялось в различные формы протеста против замалчивания и искажения прошлого, против новых несправедливостей, о которых узнавалось теперь друг от друга, в терминологию заявлений о гражданских правах, в демонстрации и письма. Без этого незрелого движения не было бы многого позднейшего. Далеко не все тут были правдоискатели по натуре: могли же терпеть притеснения по службе, житейские несправедливости, обыденную ложь – и помалкивали, даже не чувствовали себя несвободными; а тут, где лично многих из них как будто еще не кололо, молчать и терпеть казалось вдруг постыдно и невыносимо. Ведь здесь-то явен был риск, еще непривычный, здесь требовалась самоотверженность, пусть даже относительная, и хотя у многих ее не хватало всерьез и надолго, свойство это тоже можно назвать единящим признаком группы; оно делало этим людям честь, – впрочем, отнюдь не даря безусловного патента на благородство.

Взаимное сближение здесь было потребностью не только ради выработки мнений; оглядка друг на друга давала поддержку на все более рискованном пути. Эта близость делала конкретными и более сильными чувства: одно дело говорить о несправедливостях, арестах, обысках вообще, или в прошлом, или где-то в неизвестных краях, другое – переживать за человека, которого успел узнать воочию, оценить, полюбить, в достоинстве и благородстве которого убедился. Как же можно его? И уже по-новому видел

других, своих сверстников и людей постарше, и юных совсем ребяташек, с которыми это происходило вот сейчас, пока мы в многолюдной прокуренной комнате по очереди читаем, беря друг у друга листки, о новых несправедливостях, арестах и обысках, а потом за разговором узнаем еще о многом, о чем пока не дошло книг и писем: цепная ли пошла реакция или просто росла осведомленность и понимание – мир вокруг был полон боли, исковерканных судеб, лжи, несвободы, и казалось невозможно, совестно жить чем-то другим...

Потом ты выходил на улицу, в электрическую зелень сквера, после дождя пахло весенними почками, мимо шли спокойные и даже веселые люди, для которых не существовало всего, что ты знал и чувствовал, им это было *до фени* – а неужели иначе? – и по странному закону психологического восприятия, когда от перестройки взгляда зависит, увидишь ты на рисунке выпуклый куб или полый ящик, – можно было утверждать, что каждый взгляд имеет свое обоснование...

Илья Габай был в этом кругу явлением незаурядным; он неизбежно должен был стать одним из центров притяжения. К нему льнули. При всей неполноценности отношений, когда люди сцеплены все же не главными своими отросточками, для многих здесь была основная жизнь; она поневоле требовала самоотдачи – во всяком случае, большей, чем профессия (которой многие и лишались возможности заниматься). А иногда складывалась и полновесная долгая дружба. Дни рождения Габая, всегда бывшие праздником для друзей, превратились в столпотворения: маленькую его квартиру наполняли сорок, пятьдесят человек, – впрочем, кто их считал? Дверь попросту не закрывалась, люди выходили, входили новые; иных он сам не знал – пожимал плечами, когда я спрашивал: кто это?

Мне, правду сказать, бывало неуютно в таком расплывшемся многолюдье, невозможен был разговор, общение – банный шум в ушах. Не скажу, чтоб и его не тяготила стихийность этих не всегда управляемых отношений – была некоторая несвобода в такой зависимости от людей, дел, требований, часто случайных для него. Свобода – странная вещь; мы ищем ее вовне, опутанные сами

тысячью внутренних зависимостей. Дано ли кому-нибудь освободиться полностью – и благом ли была бы такая несвязанность, неземное парение в пустоте?

– Не могу же я их прогнать, – разводил руками Илья. Как и все в его жизни, эти отношения были противоречивыми – но как много они для него значили!

В первую его лагерную осень я написал ему, как много людей в его отсутствие пришло к нему на день рождения – едва ли не больше, чем при нем. Он отвечал: «То, что ты пишешь об отношении ко мне людей, греет меня чрезвычайно и кстати. Тем острее незаслуженность этого, которую не исчерпать жизнью» (12.10.1979).

Мысли о друзьях поддерживали его в лагере; в «Выбранных местах» он с нежностью и гордостью обращался «к товарищам по перьям и пирам»:

Я б навсегда укрылся, если б смог,
 (Как в старину сказали бы: под сенью)
 В такую малость, в сущности, в письмо
 От друга, – кроме – в чем мое спасенье?
 Там, под пятой воинственных систем,
 В проверке человечности и мужеств
 Вы – человеки, сколько вас ни мучай:
 Вы дружества не предали. Ничем.

Как об исполнении самых счастливых желаний он мечтал о воссоединении с друзьями:

Нам встретиться нужно. За нашим столом.
 И вот мы собрались. Никто не увечен.
 Никто не напуган, и *Нечто* увенчит
 Шутливая дружба за нашим столом.

Что значило это невнятное *Нечто*? Долгожданную перемену в общей жизни?.. Ко времени выхода Габая из лагеря многое действительно переменялось в близком ему кругу, но перемены эти были нерадостны; то была пора кризиса и переоценок.

11

Среди близких Габаю людей, особенно много значивших в его жизни, нельзя не выделить Петра Якира. Писать о нем сложно, сам человек этот непрост, и за десяток с лишним лет, что я его знал, он не оставался одинаков. Всего, что могло бы дать о нем относительно полное, а значит, приближающееся к истине представление, здесь не скажешь, да и не мне писать – есть люди, знающие его больше. Но в разговоре о судьбе Габая совсем его не обойти.

Я познакомился с Якиром весной 1963 года, на несколько месяцев раньше Ильи, писал ему на Алтай об этом действительно ярком и незаурядном – во всем – человеке, и он несколько ревновал к моему увлечению. Когда он сам приехал в Москву и близко сошелся с Петром, пришел черед ревновать мне.

У Ильи было предубеждение против «именитых», это относилось и к наследственной именитости. Якир понравился ему не то что независимо, а вопреки ей. Открытый, приветливый, много испытавший и повидавший человек, любитель выпить и поесть (Илья находил в нем что-то фламандское), живо заинтересованный в людях, осведомленный и способный историк, наверстывавший в институте, а потом в аспирантуре незавершенность школьного образования, обладавший той особой лагерной эрудицией, которую дает человеку с цепкой памятью разнообразие встреч, – он и вправду многих к себе привлекал. Но больше всего отозвалась в Илье судьба человека, четырнадцатилетним мальчиком попавшего в тюрьму, прошедшего через страшные лагеря, ссылку, испытания, через ту «непридуманную беду», к которой он был так восприимчив. Якиру посвящена глава в его «Книге Иова»:

У непридуманной беды
Есть все права – до слова злого,
До права учинять суды.
Прости – не мне судить Иова.

Он знает многое, что можно бы сказать иным из этих Иовов,

жертвам-соучастникам, претерпевшим вовсе не за бунт против неправды и сейчас, после всего, вновь готовым к смирению. Но -

Ты вправе ль, зависть затая,
Искать улики для прошедших
Сквозь муки и покой обретших,
Вернувшись на круги своя?
Есть точность фактов бытия.
Есть факт беды. Факт крика. Крови.
А что да как – судить Иову,
И я Иову не судья.

Стихи о «покой обретших» не относятся прямо к тогдашнему Якиру, хотя можно было уловить понятную жажду столько испытывавшего человека пожить, наконец, в свое удовольствие. После многих позднейших наслоений забылось, насколько сдержан и осторожен по сравнению с другими, не хлебнувшими лиха, был в ту пору этот сорокалетний, с обаятельно-плутовскими глазами, человек. Его общественная активность, составившая ему тогда имя, не выходила за рамки разоблачений Сталина, лояльных духу партийных съездов. Неудовлетворенность Габая «либеральными» разговорами, потребность и готовность «выйти на площадь» были ему чужды; он охлаживал его. Он был против резких действий и выступлений, убеждал делать свое неприметное, но порядочное дело и в подтверждение рассказывал истории своих бунтарских побегов из разных исправительных учреждений, которые заканчивались лишь жестокими побоями; после этого он понял, что так ничего не добьешься, только себя погубишь, и стал искать других путей; например, попав на должность хлеботорга в лагере, он принес гораздо больше пользы, имея возможность помочь многим людям.

Я говорю об этом потому, что мне позднее приходилось слышать, будто Якир оказал решающее влияние на Габая. Влияние было скорей обратным. Во всяком случае, поведение и взгляды Якира менялись заметнее. Впрочем, на обоих влияло менявшееся время. События влекли Якира не совсем по его воле. Он, думаю, лучше других знал свои слабости и в душе опасался начи-

навшегоя развития. Но он обладал качествами, чтобы в подъеме общественной активности не без основания оказаться на первых ролях, и это было ему по нраву. Габая, я помню, злили казенные упреки в честолюбии, в стремлении попасть на страницы западной прессы и стать мировой знаменитостью: хорошенькое честолюбие, за которое расплачиваешься тюрьмой, а то и жизнью. Но все же было тут и тщеславие, и моральная неразборчивость, и много чего еще; взвинченная, напряженная жизнь выявляла то, что в нормальных условиях осталось бы приглушенной житейской слабостью.

Самые худшие и кризисные три года были годами отсутствия Габая; мне казалось, что это не просто совпадение, что, будь Илья в Москве, что-то пошло бы иначе; его моральный авторитет и заинтересованность удержали бы Якира от многого. Я писал ему об этом в лагерь, по необходимости в окольных выражениях, он плохо понимал, что происходит, тревожился; это настроение выразилось в строках поэмы:

Я не судья вам – мне б один удел:
Строжайшей и пристрастной охраной
Вас удержать от ссор и перебранок! –
Да вот беда: далек я и в узде.

Он призывал не спешить с суждениями; совсем по другому поводу, в ответ на замечание об одном из наших общих знакомых, он писал: «Система прямого и косвенного мучительства столь разветвлена, что может уловить и самых стойких и проницательных. Как будто бы человек приуготовляет себя для западни, для всегдаготовности к правильным словам и даже поступкам» (25.01.1971).

Я уже упоминал, что к году возвращения его из лагеря в близком ему кругу все сложилось тягостней, чем можно было предполагать, и становилось чем дальше, тем хуже. Мне приходилось слышать мнение, что история с Якиром доканала Габая. Не думаю, что она сыграла главную роль. Но свою роль сыграла.

12

Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды;
Рукою чистой и безвинной
В поработанные бразды
Бросал живительное семя -
Но потерял я только время,
Благие мысли и труды...

Эти пушкинские строки Габай поставил эпиграфом к статье о суде над участниками отчаянной августовской демонстрации 1968 года. Стихи говорили ему не только о друзьях...

Прошли времена, когда потребность в действии не получала выхода. Пятилетие 1965 – 1969 годов, как вехами, отмечено активными выступлениями.

Впервые Габая задержали в КГБ «для беседы» в связи с намечавшейся демонстрацией 1966 года. Идея почтить в тот день память жертв сталинского террора обсуждалась у меня дома; записи сохранили неуверенные из-за новизны дела, нервные разговоры: «это не принесет никакой пользы, только вред», «распылит силы мыслящих людей, которых пока и так немного», «хорошо бы привлечь кого-нибудь именитого» – и т.п. Илья не спорил и никого ни в чем не убеждал; для него вопроса не было – он шел.

– Если рисковать – то можно только собой, – сказал он. – Никого не звать, не приглашать именитых. Разве что написать петицию, собрать подписи, а потом их огласить. Но подвергать опасности каждый имеет право только себя, потому что все может обернуться неудачей, фарсом – чем угодно.

Когда органы госбезопасности, узнавшие о замысле и изрядно встревоженные, позаботились ее предотвратить, Габай пошел на Красную площадь один.

Во время беседы с ним сотрудники КГБ впервые узнали, что он уже участвовал в другой демонстрации – 5 декабря 1965 года на Пушкинской площади; до сих пор он просто не был в сфере их внимания. Случайно задали вопрос – и он сам об этом сказал.

Еще не было опыта поведения на таких допросах и «беседах», правила вырабатывались на ходу, и Илья пытался объяснить, что оказался на площади ненароком, по пути в кино. Его легко поймали вопросом, какое в тот день шло кино. Потом уже утвердилось понимание, что, выступив открыто, странно прятаться. Но взгляды свои уже и тогда Габай умел утверждать с достоинством. Впрочем, разговор был пока сравнительно мирный, увещательный.

В марте 1966 года Илья написал письмо в «Правду» об опасности возрождения сталинизма. Не знаю, сохранилось ли оно у кого-нибудь; я помню главный его смысл: «Мне, как учителю, было бы стыдно смотреть в глаза детям, если бы произошло возрождение сталинизма». Недели через две из «Правды» пришел ответ, где ему предлагали следить за материалами газеты и предстоящего съезда партии – там все узнаете. Наверху еще что-то не было до конца решено.

В январе следующего года он принял участие в еще одной демонстрации на Пушкинской площади против очередных арестов и введения новой статьи Уголовного кодекса (наказание «за распространение клеветнических сведений» и т. д. – той самой, по которой его потом и осудили). После демонстрации его арестовали, потом на время отпустили, и он успел рассказать подробности состоявшегося разговора.

– А, старый знакомый! – встретил его генерал С., беседовавший с ним год назад. – Ну, долго вы будете выступать против Советской власти?

– А долго вы будете выступать против Советской власти? – сказал Илья.

– То есть как?! – немного опешил генерал.

– А так. Долго вы будете издавать и поддерживать законы, противоречащие Конституции, отменяющие свободу совести, слова, собраний?

– Этот закон принят Верховным Советом. Верховный Совет – это Советская власть? Значит, выступая против закона, принятого Верховным Советом, вы выступаете против Советской власти, – логично отпарировал тот.

– Тогда скажите: если бы в 1946 году я выступил против зако-

на, по которому выселяли чеченцев и ингушей, я тоже был бы против Советской власти?

– В 1946 году – да, – ответил генерал.

Им бы жить в разных мирах или измерениях, каждому по своей логике и совести, не соприкасаясь! Нет, столкновение было неизбежно.

Через три дня, после обыска на квартире, где он тогда жил, его арестовали вновь. Трое суток мы ждали, что все и на этот раз обойдется. Сбывалось почти неизбежное, и толкотню мыслей, укоров совести, тревог о дальнейшем окрашивала горечь, лишенная уверенности, что так надо. Истекли 72 часа, допустимые для заключения предварительного, случившееся стало фактом – впервые захлопнулось так близко.

Следствие длилось меньше месяца: вызовы знакомых для дачи показаний, составление писем в защиту, поиски адвоката. От адвоката Илья отказался – не хотел обременять близких расходами, да и считал ненужным. Оказалось – действительно не нужен. 17 февраля Габая привезли на суд вместе с В. Хаустовым, но в самом начале заседания прокурор возбудил ходатайство: в связи с тем, что в деле Габая фигурируют более тяжкие преступления, совершенные ранее, передать его на следствие. Илья, державшийся до того бодро, улыбнулся сидевшим в зале друзьям немного вымученно и заметно сник.

Хаустова в тот же день осудили на три года заключения; Илья просидел под следствием еще до мая. Трудно сказать, какие умонастроения сменялись в инстанциях, причастных к его делу; по некоторым смутным, не предназначавшимся для уточнения намекам я мог судить о каких-то влиятельных ходатайствах. В середине мая возник слух, что Габай будет освобожден.

Его выпустили поздно вечером 22-го. Худой, нестриженный, смеется, притоптывая, как ребенок, вытворивший занятную проделку: ловко, мол, я! – но чувствовалось за этим смущение. На следующий день квартира его, в которую он впервые вселился, была полна народу: пол-Москвы. Илья рассказывал о своих соседях по камере: валютчике и колымчанине, попавшемся на продаже золота, о том, как они не могли взять в толк, ради каких на-

слаждений и выгод он-то рисковал свободой; о молоденьких, после десятилетки, надзирателях, еще красневших на своей работе и охотно исполнявших просьбы; о том, какой отрадой бывало услышать музыку из радиоприемника машины, остановившейся под окнами...

Выпустили его под расписку; он продолжал числиться под следствием, но было ясно, что дело спускается на тормозах. 27 июля 1967 года его вызвали к следователю, дали прочесть последнюю страницу дела – только последнюю, остальное, предупредили, не читать. Суть этой страницы состояла в том, что Илья Габай действительно принимал участие в том-то и том-то, подтвердил то-то и то-то, но (тут начинался второй пункт), поскольку он не был при этом организатором и активным участником, дело решено прекратить.

Этот странный и, кажется, беспрецедентный тогда поворот внес, пожалуй, некоторую двусмысленность в его самоощущение. Вроде бы самое трудное решение было уже позади – но нет, вышвырнуло на прежнюю позицию, обдав холодком, обратив поступок в репетицию, которая бросала на все ответ сомнительности: теперь он знал, чем все пахнет, чего стоит, должен был заново думать об оправданности, цене и результатах:

Совет покуртуазничать – и баста?

Совет покрасоваться – и уйти?

В августе, получив эту вольную – или отсрочку, он уезжал в археологическую экспедицию; на ближайшие два месяца это давало возможность не заботиться об устройстве и заработке.

– Как-то смешно все получилось, – сказал он, прощаясь. – Но я все равно сяду. Уж больно мы с советской властью не сходимся.

В январе 1968 года появилось ставшее скоро широко известным его вместе с Кимом и Якиром обращение к интеллигенции. Основа, насколько я знаю, была написана Габаем – его стиль угадывается. Некоторым, обсуждавшим текст до распространения, показалась излишней резкость отдельных выражений: например, «барабанные шкуры» – о тех, кто аплодировал пригово-

рам на недавнем процессе Галанскова и других. Илья разволновался:

– Именно: барабанные шкуры. Надо бы еще резче. Надо называть их подлецами, мерзавцами. Когда откормленные рожи, получающие свои 250 или 180 рублей за то, что они сидят в зале суда и почитывают книжки, просыпаются лишь для того, чтобы крикнуть: «Мало!» – Лашковой, девочке, которая, говорят, так исхудала, что стала почти прозрачной, – когда эти сытые мерзавцы кричат ей в спину: «Мало!» – я бы их расстреливал из пулемета.

Была памятная пора, когда впервые под письмами тревоги и протеста собиралось так много подписей – и каких подписей! – когда прояснялись позиции и что-то обещающее зрело в Чехословакии: казалось, еще немного последовательности, и что-то могло сдвинуться. Нет, социальные чудеса не таким усилием даются; сдвинуться должно было что-то прежде в нас – накапливаясь, требуя цены посерьезней.

В августовские дни 1968 года Габай был в Молдавии, и я, что скрывать, чувствовал облегчение. Будь он в Москве, он наверняка стоял бы с другими на Лобном месте. (Потом не раз думалось, как все могло сложиться по-другому, если бы он прошел по этому, сравнительно мягкому процессу.) Но речь могла идти лишь об еще одной отсрочке – путь его был predetermined:

Я и впотымах сыскал, как видно, тропку, –

напишет он потом в поэме.

Философы утверждают, что ситуация, в которой оказывается человек, не совсем для него случайна: она знак его личности, и судьба, может быть, заложена в душевной структуре, как в генетическом коде.

Я ощутил до богооткровенья,
Что я погиб. Что лето не спасенье,
Что воробьи и солнце не спасут, –

это написано в ту самую молдавскую передышку. Он вернулся в

Москву в начале сентября – вырвался, не дожидаясь конца экспедиции. Изменившийся, с отросшей рыжеватой бородой, перебинтованным торсом (у него было сломано ребро).

– А я-то думал: хорошо, что тебя нет, – усмехнулся я при встрече.

– Но ты, надеюсь, понимаешь, что я не мог не приехать, – ответил он без улыбки.

Это я понимал. Но, слабый человек, надеялся, что обойдет его жребий. А уже были пролистаны «страницы пророческих косноязычных книг», он уже сказал в знакомых мне стихах, –

что возвращенье к полубедам
заведомо таит в себе побег.
Что не сбежать. Что нет тебе побега.
Что просто ты нелепый человек.

Потом был суд над участниками демонстрации – об этом он рассказал сам в известном очерке («У закрытых дверей открытого суда»). Я перемолвился с ним несколькими словами у здания суда; он был угнетен, сказал мне:

– Скверное настроение оттого, что мы играем не в свою игру.

В октябре он уехал в Ивановскую область, ему была обещана там работа в деревенской школе; в Москве он уже не мог устроиться. Но долго там не выдержал, кажется, уже зимой вернулся, с головой ушел в нараставшую правозащитную деятельность. Печатались с его участием «Хроники», составлялись письма и обращения, приезжали из Средней Азии и останавливались у него крымские татары, он занимался их делами.

19 мая 1969 года его арестовали последний раз, в январе 1970 года осудили на три года и отправили в Кемеровский лагерь общего режима.

13

Лагерь обернулся для Габая испытанием страшней, чем для многих других. «Общий режим», считаясь легче особого, вынуждал жить не среди политических, где были возможны хоть какие-то

отношения, солидарность, чувство общности, а среди уголовников, блатных; можно только представить, что это могло значить для еврея, не сильного физически, с обнаженными нервами, – только вообразить в этих условиях органическую его бескорыстность, полнейшее нежелание и неспособность выгадывать житейские блага, простую невозможность для него хотя бы припрятать от жадных глаз доставшийся в передаче кусок – да много чего еще... Он признавался в лагерной поэме,

Что испытанье пагубой и порчей,
 Проверка униженьем и стыдом
 Не для моей отнюдь тщедушной почвы.

Не так давно я читал созданную в заключении книгу талантливого писателя, где лагерь будто и не пропущен сквозь душу, воспринят со стороны, как фольклор. С первых умных, наблюдательных, расположенных хронологически записей и до последних страниц не чувствуешь, что пять лет «мертвого дома» хоть в чем-то изменили автора, как меняют человека пять лет и менее напряженной жизни. Он пришел сюда зрелым, со сложившимся духовным миром и, толкая тачку, продолжал «думать о птице Сирин» – есть в этом свое достоинство. «Писателю и умирать полезно», – записывает автор афоризм одного из своих солагерников, знающего, видно, толк в накоплении писательского «жизненного опыта».

Этот афоризм мог бы служить основой для различения двух типов не только художнического отношения к жизни: жизни-сюжета, с коллекционированием, накоплением ощущений и замет – и жизни-сживания себя, где все невозвратно и отдается болью.

В письмах из лагеря Илья был поразительно сдержан, и объяснялось это не просто всегдашней оглядкой на цензуру. Это была душевная собранность, не допускающая жалоб, перекладывания на других своих тягот. Лишь изредка, намеком прорывалось: «Есть, дорогой мой, и некоторые поводы для житейских огорчений, но в предвидении нового, високосного года это все побоку» (20.12.1971);

«Я в последнее время в совершенной подавленности. На это есть причины юмористические, когда все это станет воспоминанием о прошлом, но очень существенное, совершенно выбивающее из колеи – меня с моими нервишками особенно» (25.01.1971).

Да и вернувшись потом, рассказывал о пережитом предельно сдержанно, и лишь намеками проступали иногда страшные эпизоды блатных расправ, лагерного ужаса и унижений. Все главное с полной обнаженностью выплеснулось в стихах:

Я не сумею вам раскрыть воочью
В такой ночи – такое чувство ночи
Кромешной: это чувство нелюдей.
Что делать мне? Какая даль или близь
В каком краю предстанут мне защитой?
Так нету сил! (И где мой утешитель?)
Так худо мне! (И чем же мне спастись?)

Отвечая на мои пожелания ко дню рождения, он писал: «Я желаю себе одного: морально сохраниться, то бишь не стать хуже. Постараюсь» (12.10.1970). Пожалуй, даже он не представлял вполне, каких трудов и испытаний это будет стоить. Написанная в лагере поэма дает лишь некоторое представление о совершившейся в те годы душевной работе*.

Первые отрывки, как уже упоминалось, он присылал в письмах мне. Это были стихи о «предвестии последнего ухода», о «внушенных надеждах»:

Какой же ветер кружит нас и мечет
И гонит нас – и некогда душе?

* Ему долго удавалось держать это непозволительное занятие в тайне от надзирательских глаз и передать на волю прежде, чем поэма была обнаружена. Сложность этих стихов, недоступность интеллекту охранных служителей, наверно, послужили тому, что они остались без последствий. Впрочем, кто знает, не были ли они пересланы в Москву и не сыграли ли своей роли в дальнейших событиях. Сомнения, противоречия, открывшиеся в них, могли дать следователям психологическую подсказку, ключик в попытке сломить автора.

«А вот о чем я не жалею, но и не горжусь особенно, – приписал он, – так это что закружился и докружился до нынешнего своего местожительства: такой уж листочек своего времени, круга, житейских побуждений. Жалею только, что действительно в этом кружении упустил многие ценности, но и наоборот было бы, поди, тоже не без потерь. Еще и то, что в этом кружении как-то не хватало иногда места для подлинной сердечности или хотя бы для удержания старых привязанностей» (25.01.1971).

Так он видел себя теперь новым, умудренным испытаниями взглядом: листочек своего времени. Не в утверждении правоты своих мыслей и поступков для него главное, не в сожалении и не в гордости:

Куда там, не до сути и не до правд: горю!
Но жизнь благодарю за сопричастность судьбам.

Он искал новой высоты, оглядываясь на события, закончившиеся последним словом на суде и приговором:

Тогда казалось: должно уберечь,
Как юношам из очерков – мозоли,
Победный знак еврея и масона:
Последнюю, возвышенную речь.

Теперь не доводы, не результат, не достигнутая или недостигнутая цель занимают его душу; он судит себя иной мерой:

пред лицом Содома,
В который каждый втянут, – пред судом мы
Куда тяжеле.

И возникает тема иного, последнего, предчувствующего нечто невыразимо важное, трагически-возвышенного слова:

этот слом
Подвиг меня на истинное слово
Последнее – и пусть оно не ново:
ВИНОВЕН В ЧЕМ-ТО – ВИНОВАТ ВО ВСЕМ.

Несколько раз мне казалось, что я готов ухватить смысл этих действительно не новых строк, но каждый раз чувствовал, что могу предложить лишь свое, произвольное толкование – и даже не такое уж свое; ощущение изначальной вины звучит и у христианских философов, и у Кафки – да разве только у них? Габай не был религиозен в церковном смысле; в его стихах мне слышался новый уровень восприятия жизни, высота, с которой прежние счеты виделись несущественными, чувство, что, расплачиваясь за ужасы и беды времени, никто не вправе считать себя совсем не повинным в них – расплачиваются немногие за многих...

Однако ощущение это возникло позже; а тогда, читая строки, записанные, наконец, во время свидания с женой на вырванных из книг титульных листах (другой бумаги с чистым пространством для письма не оставалось), я еще не слышал всей страшной серьезности подчеркнутых, разбросанных по разным местам поэмы упоминаний о конце – «предвестиях последнего ухода», «почти у края бездны, почти у рубежей небытия»:

Я в сомкнутом, я в сдавленном кольце.
Мне остается пробавляться ныне
Запавшей по случайности латынью:
Memento mori. Помни о конце.

Тягостное состояние усиливалось к концу срока. «Ослабел я маленько, брат, – писал он, – поверишь, дошел до того, что пару ночей назад взял подшивку прошлогодних «Огоньков» и стал решать кроссворд за кроссвордом» (31.01.1972). В следующем письме он спешит извиниться за сорвавшееся сетование: «Судя по тому, как ты меня постоянно успокаиваешь, я написал тебе, очевидно, неврастеническое и мизантропное письмо. Прости, дружище; что-то, стало быть, не ладилось с самоконтролем» (29.02.1972). В последнем письме, пришедшем из лагеря, все же вырвалось: «Я сильно устал, душевно особенно... Но это состояние привычное и, подозреваю, малопонятное» (21.02.1972). Примерно в те же дни, в конце февраля, состоялось его последнее свидание с женой. Он был нервен, не мог есть привезенных яств,

боялся, не случится ли чего за неполных три месяца, оставшихся до конца срока, – можно только вообразить, как он при тогдашних нервах считал эти дни и что значило для него, когда за два месяца до конца, в марте, его перевели в Москву для дачи показаний по новому делу.

Это был рассчитанный ход изощренных тюремных психологов.

14

Похоже на дурную притчу: во время одного из переездов – на следствие или со следствия – Габай услышал разговор крымского татарина, своего подельника: о том, что вообще-то русских и евреев надо бить, что мир спасет ислам и что арабам надо скорей покончить с Израилем... Илья потом рассказывал про это с усмешкой, спокойно – он мог предполагать нечто подобное.

А знали же, знали, что преданность наша без прока,
Что мы предавались стихами, главой и крестом
Не очень-то нашей, но прожитой нами эпохе.

Новое, высокое понимание, созревшее за мучительные годы лагеря, не отменяло прежнего. Он пробивался к нему, сохраняя противоречивую цельность, с постоянной оглядкой: не означает ли это понимание «предательства вчерашнему себе», от которого он остерегал себя еще в «Книге Иова». Собственные стихи стояли на страже: стихи-обет, стихи-напоминание, стихи-укор; из строк глядел на него требовательный, полный последней надежды взгляд самого Бога, обращающего свою горестную мольбу к Иову:

Я так хотел бы обмануться
В цене бесстыдных льстивых слов.
Не предавай меня, Иов!
Мне страшно знать изнанку слов.
Мне невозможно не взмолиться:
Не предавай меня, Иов!

Эти стихи, на мой взгляд, одни из самых сильных у Габая. Они всегда вызывали у меня в памяти знаменитое двустилие Ангелуса Силезиуса:

Ich weiss, dass ohne mich Gott nicht ein Nu kann leben,
Werde ich zunicht, er muss von Not den Geist aufgeben.
(Я знаю, Богу не прожить без меня и мгновения,
Сгинь я – и он неизбежно испустит дух).

Этот уязвимый Бог предъявляет свои требования к чести; само существование его возможно лишь благодаря человеческой истовости в поисках – здесь звучит поистине библейское ощущение взаимозависимости с могучей духовной силой, создавшей тебя и созданной тобою, когда твоя гибель или отступничество приводит к краху целый мир ценностей, живущих в тебе и благодаря тебе:

Я обессилел от чудес.
В минуту слабости все сильной
Я, обессилев от чудес,
Готов идти дорогой пыльной,
Готов принять земную плоть
И на юдоль земного люда
Сменить бессмертие небес...
Но Бог и раб бесстрастных слов,
И я не вправе измениться;
Мне остается лишь молиться:
«Не предавай меня, Иов!»

Не эти ли давние свои стихи вспоминал он, когда писал в «Выбранных местах»: «Как объяснить, что понимание не означает измены своим поступкам, ни даже что мы откажемся повторить эти поступки, хотя знаем теперь и знали прежде их подоплеку?»

В этом новом понимании была новая сила, но и новая слабость – «ибо во многой мудрости много печали, и, умножая познания, умножаешь скорбь».

За два месяца до конца срока для Ильи Габая начался новый тур допросов, изоощренного давления и угроз. От него требовали теперь новых показаний; угрозы касались теперь не только его, но его близких и друзей; ему заявили, что многие из них уже арестованы. С особым нажимом указывали на несоответствия и неточные утверждения в документах и «Хрониках», написанных при его участии или без него (бог весть, какими путями и от кого попадала иной раз сведения в этих искаженных условиях; наверно, допрашивавшим Габая порой было это лучше знать). Честность заставляла Габая признать ошибку или неточность формулировки. Стоит ли говорить, какой оттенок приобретала эта честность в сопряжении с их нечестностью. Не из такого материала делаются политики.

От него, ослабленного нервным ожиданием, неизвестностью о судьбе близких, угрозами, собственными раздумьями, ждали, видно, формального раскаянья и отречения; для этого сделано было, казалось, все. Добиться удалось гораздо меньшего: обязательства воздерживаться впредь от общественной активности. С тем его пока и выпустили.

19 мая 1972 года мы с женой Ильи и Ю. Кимом всю ночь дежурили у Лефортовской тюрьмы: вдруг выпустили бы его сразу после полуночи, с началом новых суток. Милицейский патруль несколько раз прошел мимо, подозрительно поглядывая на наш букет; наконец, проверил документы. Нелепо мы, должно быть, выглядели в такое время с цветами возле тюрьмы.

В половине четвертого рассвело, запели птицы. Через два часа из главной проходной вышел надзиратель, оглядел нас. В шесть часов в тюрьме подъем, теперь ожидание становилось реальным...

Мы ждали почти до полудня в нарастающей нервности: неужели не выпустят? Один из присоединившихся к нам за это время друзей узнал проходившего следователя Ш., который когда-то занимался делом Габая, подбежал к нему с вопросом. Тот, видимо, сам еще ничего не знал, но на всякий случай прочел угрожаю-

щую лекцию о том, что, выпустят Габая или нет, положение его очень серьезно. Мне запомнилась в пересказе фраза: «Государство играет всерьез». Механизм клещей, челюстей и прессов был уже запрограммирован, чтобы с хрустом перемолоть чью-то жизнь, чей-то мир, не приноровленный к правилам этой игры; человек, обслуживающий механизм, готов был отнестись к жертве с интересом и даже уважением, но игра есть игра...

Оказалось, Илья в это время уже был дома. Его выпустили в восемь утра через дверь следственного корпуса. Может, умышленно постарались предотвратить встречу. Пришлось ему самому тащить домой тяжеленный рюкзак с книгами, которые накопились к концу лагерного срока. До нашего приезда он успел принять ванну, переодеться и встретил нас на удивление не изменившимся – даже волосы отросли за время следствия; только разве что более худой, чем обычно, какой-то миниатюрно тонкий – но и это стало привычным через полчаса. А речь, шутки, интонации – до иллюзии те же, как будто вчера лишь расстались. В дверь звонили, намерение уберечь Илью в этот день от утомительных встреч сразу пошло насмарку – он сам был, казалось, в прекрасной форме, только ощущения немного притуплены, все воспринималось словно сквозь легкое головокружение.

– Мне кажется, что я вижу сон, – сказал он. – Я думал, что половины из вас уже не встречу. Так угрожающе со мной говорили.

И только на фотографии, прикрепленной к документу об освобождении, он был совсем на себя не похож (так неузнаваем потом был он в гробу). Возможно, фотообъектив выявил то, чего в первый момент не разглядели мы: это был уже потрясенный человек.

16

Потянулись месяцы неустроенности, поисков работы, безденежья, домашних трудностей и допросов. Удалось устроить ему путевку в дом отдыха на Каспийском море; тогда-то он впервые за много лет побывал в Баку и навестил могилы родителей. Жить прихо-

дилось на зарплату жены, кое-что подкидывали друзья; иногда удавалось достать работу, чаще оформленную на чужое имя. Положение было нервным, неопределенным. Уже начинала поторапливать с трудоустройством милиция. Нигде его не брали. Сотрудники КГБ, одно время обещавшие ему помочь, разводили руками, удивляясь трусости отделов кадров (как им было не удивляться!); наконец, подыскали место корректора в газетной редакции. Утомительное механическое чтение мелкого шрифта при его зрении и нервах сказывалось болезненно, он приходил с работы разбитый, и это вплеталось в общую подавленность и бесперспективность.

То, что было прежде жизненной опорой, поколебалось и утратило былую прочность; новая еще не окрепла. Сразу же в день освобождения, в первые же часы встречи с друзьями он подчеркнуто без недомолвок сообщил о подписанном перед выходом обязательстве. Не было и речи о том, чтобы его упрекнуть, но самоутверждения, что говорить, ему это не прибавляло. Летом, после ареста Якира, я был свидетелем его разговора с В.Красиным. Речь шла о письме в защиту арестованного. Илья, связанный обязательством, под коллективной петицией не подписался, но отослал свое, личное письмо. Красин прочел свой текст; он не понравился мне преувеличенным пафосом некролога, расписывающего заслуги покойника. Илье не понравилось другое: перечень этих заслуг звучал как непрошенные показания для КГБ. Красин усмехнулся такой опасливости:

– Это и есть тот самый стронций в костях.

– Я не понимаю, о каком стронции ты говоришь, – ответил Илья спокойно; на самом деле, не сомневаюсь, он понял намек: только что речь шла о стронции страха, засевшего в подсознании, определявшем независимо от воли поступки.

Тем же летом он рассказал мне, какую резкую отповедь получил от В. Г., которому написал в психиатрическую больницу, советуя не отказываться от допустимого компромисса, если это поможет выйти на свободу. «Психушка не тюрьма, тут можно оставаться бессрочно». Судить о таких вещах вольно по-разному; но надо услышать в этом письме тревогу не за себя...

Могу предположить, что немало сходных эпизодов остались мне неизвестными. Он знал то, что знал, но удары и уколы накапливались, и попадали они уже в больного, измученного человека.

Он пожаловался на странную болезнь уже на другой день после освобождения: ноги словно отнялись, он не мог ходить. Это была явно нервная реакция – скоро отошло. Но были испытания посерьезней. Он обрадовался, встретив людей, которых уже не чаял встретить на воле; однако обстановка на этой воле быстро открылась ему своими непригляднейшими сторонами. Уже через день после освобождения, оказавшись свидетелем очередной пьяной выходки Якира, он признался мне, что был близок к мысли о самоубийстве.

– Такая взяла тоска – было совершенно серьезное желание выброситься из окна. Еще так раз-другой, и я не удержусь...

Конечно же, я был встревожен, но не услышал в этом первого звонка, как не услышал еще в стихах – не предвестия, а случившейся уже трагедии.

В июне арестовали Якира, вскоре за ним – Красина; где-то осенью мы услышали об их показаниях. Илья узнал про это одним из первых, но не говорил другим, за что потом его упрекали: надо было многих предупредить об опасности.

– Я просто подумал, как сразу станут плясать на их костях разные чистоплюи, – объяснил он.

– Да это они пляшут на костях, ...твою мать! – взорвался Тоша Якобсон, и, увы, он был прав.

И снова вызовы, допросы. Илье предъявляли новые показания, требовали новых показаний от него. Как всегда, он подтверждал лишь то, что было связано с ним лично, отказываясь говорить о других.

– Вы ведете себя неумно, – сказали ему. (В другой раз выразились: неискренне.) – Мы и так все знаем, от вас нам нужно только формальное подтверждение. – (Классическая полицейская уловка на сей раз была, увы, близка к истине.) – Вы только делаете себе хуже. Одно дело сесть за убеждения, другое – за дачу ложных показаний.

– Что ж вы хотите, – отвечал он, – если они показывают на

меня, я должен отвечать тем же? У меня свои понятия о чести.

Мне кажется, для него не было абсолютной неожиданностью поведение Якира; еще летом, сразу после его ареста, он намекал мне на такую возможность. Но он был заметно уязвлен безоглядностью, с какой тот сыпал показаниями именно на него.

– Неужели я для Петра настолько безразличный человек? – вырвалось у него однажды...

Зимой Габай был уже тяжело болен; грипп вызвал серьезные нервные осложнения. Бессонница, депрессия, усталость, порой резкие приступы того, что называют ипохондрией: когда подозреваешь у себя несуществующие болезни. Уже потом я узнал, что в январе он пытался вскрыть себе вены – этого звонка тоже не услышали всерьез. Знакомый врач объяснял впоследствии, что надо было сразу поместить его в стационар; но кто бы нашел в себе уверенности заговорить о психиатрической больнице? Пока он глотал таблетки, прописанные другим знакомым. Вроде бы помогало; все могло бы еще поправиться, дай ему хоть немного покоя.

Между тем его дожимали. Вызовы и допросы становились все чаще, все суровее и жестче: требовали фамилий, полной «откровенности» в показаниях, формального раскаяния по уже опробованному образцу.

Однажды спросили:

– Вы не собираетесь уехать за границу?

Он ответил:

– Мне бы не хотелось. Но здесь я не вижу никаких возможностей.

– Держать вас не будем, – намекнули ему.

У него давно уже лежал вызов от мнимых израильских родственников, он продлевал срок его действия, но пользоваться им не хотел.

Этот некровадный способ избавляться от неудобных людей был опробован и по-настоящему пущен в ход, когда Илья был еще в лагере. Я писал ему о нашем общем знакомом, который одним из первых использовал этот путь. Илья отвечал: «Трудно поверить, чтобы он когда-нибудь смог кровно воспринимать сионские

боли. Я тоже, наверно, не смог бы – а без этого как же жить там?» (16.11.1971).

В том-то и дело. Уехав, можно было скорей избавиться от здешних проблем, чем проникнуться тамошними, скорей обрести безмятежность, чем подлинность, – для такого, как Габай, это означало зависнуть в пустоте.

Он не хотел уезжать, но, казалось, не было другого выхода. В августе 1973 года мы провозжали Толю Яacobсона.

– Может, и меня скоро придется провозжать, – сказал вдруг Илья.

– Ты что, все-таки об этом думаешь?

– Маричек, ну нельзя же так жить, – тихо и горько проговорил он.

Потом мы вместе с друзьями шли по ночной улице. Илья усмехнулся:

– Государство Израиль, допустим, не вызывает желания туда поехать. Но дело в том, что наше государство очень уж вызывает желание отсюда уехать. И оставляет для этого единственное отверстие... анальное отверстие... Если бы три года назад мне дали выбор: туда или в тюрьму, – я предпочел бы в тюрьму. А сейчас предпочел бы все-таки погулять на вольном воздухе, где-нибудь в Вене или Брюсселе...

За день до смерти он сказал жене, что все-таки решился уехать. Порой мне кажется, что отъезд оказался бы вариантом отсрочки. Он метался, он был болен и слаб, воля его была подточена. Летом у него родилась дочь; казалось, и это событие он воспринял сквозь туманную пелену. Прибавилось забот, усилилось сознание вины перед семьей; детский плач по ночам усугублял бессонницу. Таблетки не помогали. Как-то он пожаловался мне на кошмары и галлюцинации.

Между тем в доме его по-прежнему не закрывались двери, постоянно кто-то приходил к нему со своими заботами, сидел вечерами на кухне, ночевал. К нему тянулись по-прежнему, хотя он уже был не прежним, порой не удерживался от резкости. Разговоры продолжались скорей по инерции, он чаще молчал, – казалось, вынашивает что-то.

Однажды обрадовал меня, сказав, что пробует писать, конс-

пектирует библейскую «Книгу Иова» для продолжения своей поэмы. Потом я видел эти выписки; очень жаль, что сейчас ими не располагаю, – их характер мог бы много сказать о тогдашнем его умонастроении. О, теперь-то, после пережитого – как мог бы он написать Иова! Если бы дело было только за душевным опытом! Дальше выписок дело не пошло. В последний день августа 1973 года я провожал его от себя, спросил, пишется ли ему. Он усмехнулся:

– Я, может, скорей напишу последнее письмо.

И я все еще не слышал? Слышал, как же нет! «Боюсь, это плохо кончится», – записано осенью. Мы говорили об этом с друзьями, гадали, что бы придумать, – и не могли придумать больше, чем помочь деньгами, поискать работу; надеялись на таблетки, на то, что обойдется, – а он уже падал, падал со смертельной высоты, медленно, как в страшном сне, – и как во сне, мы не умели шевельнуться, чтобы удержать его...

Последние месяцы его вызывали на допросы еженедельно, по четвергам – надо было его дожать. Раскаяние Якира и Красина не дало рассчитанного эффекта; требовался успех более впечатляющий. Возвращаясь, он неизменно рассказывал об этих беседах; дело касалось многих людей, и им надо было об этом знать. Но есть основания думать, что, щадя близких, он кое-что утаивал; угрозы наверняка относились не только к нему, но прежде всего к его жене – опасность была вполне реальной. Рождение дочери заставило их выждать срок – но время у них было. Они нашли уязвимое место.

В последний перед смертью четверг его не вызывали: можно предположить, что ему был дан срок на какое-то неведомое нам решение. Они все же перестарались; есть свидетельства, как они были всполошены его самоубийством – боялись, что наговорит за брак в работе? Робот в запрограммированной игре не соразмерил хватки с уязвимостью живого человека.

Незадолго перед тем окончательно решилось дело Якира и Красина. Илья смотрел их покаянную пресс-конференцию по телевидению. Кто-то сказал: может, мы не знаем, какими средствами от них этого добились?

– Какие средства! – усмехнулся Илья. – Был чистый торг: вы нам, мы вам.

Он эту механику испытал. За день до смерти он порывался поехать к Якиру в Рязань, куда тот как раз прибыл. Жена не позволила ему этого сделать.

– Лежачего не бьют, – пробовал объяснить он. – Я не чувствую к нему ненависти.

Потом уступил, решил ограничиться письмом, но, кажется, не сделал и этого. Вдруг сказал жене, что решился уехать.

Слишком много узлов требовалось ему разрубить в своей слабости. Судьба его совершалась – он уже падал, падал.

17

В предсмертной записке он просил друзей и близких простить все его вины: «У меня не осталось ни сил, ни надежды». Сам почерк записки и то, как он позаботился положить рядом с ней очки, подтверждает, что все совершалось в ясном разумении.

Заупокойную службу по нему, неверующему, служили в православной церкви (что возле Преображенского кладбища), в Иерусалимской синагоге и в мусульманской мечети: крымские татары убедили муллу забыть о недозволённости отпевать самоубийцу.

Он погиб тридцати восьми лет, и праздное дело гадать, чем могла бы еще стать эта жизнь; она имеет свою завершённую цену. Он трагически доказал подлинность своей человеческой и поэтической последовательности. Возможно ли на таком напряжении спроса к себе не надорвать силы жить? Не знаю. Жизнь заботится о самосохранении, и в этом есть своя мудрость.

Иногда я вижу его во сне и объясняю ему в этом сне, как еще все хорошо устроится, и он со мной соглашается – такой милый, такой добрый, что я испытываю облегчение. И там же, во сне, я просыпаюсь и вспоминаю, что его больше нет, – и во сне это меня так потрясает, что я заливаюсь слезами. Потом просыпаюсь по настоящему, и глаза мои сухи.

Через два года после его смерти я сравнился с ним возрастом и теперь становлюсь старше. Я лишь начинаю постигать требования, которые предъявляет ко мне эта смерть, память о нем, его стихи – «строжайшая и пристрастнейшая охрана», остерегающая от поверхностности, самодовольства, подделки под жизнь.

А время каменеет, и у фраз
Нет свойства передать из дальней дали,
Что люди жили, мучились, страдали,
А не свершали действия напоказ.

Когда-нибудь, при яркой вспышке дня
Грядущее мое осветит кредо:
Я в человеках тож: я вас не предал
Ничем.
Друзья, молитесь за меня!

Я счастлив, что на кручах,
Узнав хоть краем боль,
Я обрету не роль,
А участь, друг мой. Участь.

Январь – март 1976

ЗАЛОЖНИК ВЕЧНОСТИ

1. «СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ»

В марте 1974 года мы с женой пришли в мастерскую Вадима Сидура поговорить, не возьмется ли он сделать памятник нашему погибшему другу поэту Илье Габаю. Галя была хорошо знакома с ним лет 15-12 назад, с тех пор не виделась, я примерно столько же лет был о нем наслышан, но оказался в его Подвале (буду вслед за ним писать это слово с большой буквы) впервые. Хорошо помню первое впечатление: впечатление мощного, своеобразного художественного мира и в чем-то очень близкого человека. Первое понятно, хотя в отдельные скульптуры я по-настоящему вгляделся лишь потом – и продолжал вглядываться, уясняя их смысл, многие годы; но откуда это мгновенно вспыхнувшее чувство близости? Сам повод нашего прихода, разговор об обстоятельствах самоубийства Габая располагал к откровенности, не было сомнения, что мы говорим с человеком своим, и Сидур действительно с готовностью взялся сделать эскиз памятника...

Лишь сейчас, после Диминой смерти я – с чувством некоторого шока – узнал из его записей той поры, что он заподозрил в нас людей «из шкатулки», то есть подосланных с определенной целью. Этот штришок стоит многого, он характеризует не столько нас или его, сколько время, искажавшее нормальные человеческие отношения, когда именно естественный разговор казался неестественным и вызывал подозрения. «Бойтесь новых знакомств! Не пишите дневников! Будьте бдительны!» – записывает Сидур – в столбик – требования, навязываемые этим временем (записывает, заметим, в дневнике). «Наша подозрительность слишком часто не лишена оснований».

И то сказать, было чего опасаться. В феврале выслали Солженицына, обстановка становилась все более зловещей, вокруг самого Сидура сгущались неясные тучи. Только что в «Советской России» появилась хамская статья, где его имя поминалось в угрожающем соседстве с именами Л. Копелева, Л. Чуковской «и др.» – по нашему опыту было известно, что это могло предвещать. Начинаясь процесс его исключения из партии, реальной казалась угроза изгнания из Союза художников, а значит, утраты прав на мастерскую. Используя звучавшее тогда слово, Сидур назвал этот процесс «началом импичмента». Было немало свидетельств и признаков специфического интереса к его персоне.

Парадокс заключался в том, что Сидур не давал для этого интереса, казалось бы, никаких внешних поводов. В отличие от «и др.» он абсолютно не проявлял общественной активности, не делал и не подписывал никаких заявлений – это было ему в принципе чуждо. Он не рвался за границу и даже на выставки, официальные или «нонконформистские», не жаловался на судьбу, на условия, не требовал возможности заработка – хотел лишь спокойно работать в своем Подвале, довольствуясь минимальными, более или менее случайными средствами. Разве что принимал, в числе других посетителей, иностранцев – международная слава его уже разрасталась.

Но то-то и оно, для неприязни вовсе не обязательна была рациональная причина, достаточно было чувства очевидной чужеродности, несовместимости его с тем, что считалось общепринятым и дозволенным. Столкновения со временем не приходилось искать, но и спрятаться от него такому художнику, как Сидур, вряд ли было возможно. Осмысливая темы вечные, общечеловеческие: любовь, материнство, насилие, страдание, смерть – он был сыном своей страны и своей эпохи.

«Ты вечности заложник у времени в плену», – так определил Пастернак двуединую суть всякого подлинного художника; первую часть этой формулы я поставил здесь как заглавие, вторая могла бы служить подзаголовком – или наоборот. Искусство возникает на пересечении вечных тем и нового, всегда небывалого

времени, в котором мы живем, которое формирует нашу судьбу и налагает отпечаток на наш духовный мир.

Сидур выражал это ощущение другими словами. Как-то он сказал мне, что пишет нечто в прозе под названием «Миф» с подзаголовком «Памятник современному состоянию» (так названа одна из его скульптур). Такое же двойное название он дал фильму, где попытался раскрыть свое художественное и философское видение мира уже средствами кино.

Я хочу рассказать здесь об этом мире и об этом человеке, много для меня значившем, какими они увиделись мне за годы нашего знакомства. Мы встречались с ним более или менее часто почти до самой смерти Сидура в 1986 году. Некоторые разговоры я тогда же, по свежей памяти, записал. Прочитав недавно страницы, написанные в те же годы Сидуром, я обнаружил немало совпадений: зародившееся сразу же чувство близости все-таки не обмануло.

2. ИОВ

Что-то неслучайное было в том, что наше знакомство оказалось связано с памятью Ильи Габая. Сидур, как я мог понять, был с ним знаком лишь бегло. Известие о его гибели он отметил в своем «мифе». Перед началом работы над памятником я дал ему почитать подборку стихов Габая. Особенное впечатление на него, видимо, произвела поэма об Иове – вариация библейской темы. Взятый из Библии эпитафия к поэме Сидур воспроизводит в своих записях неоднократно: «Был человек в земле Уц, имя его было Иов».

«Эскиз получился красивым, – записывает он 15.04.74, через две недели после начала работы над памятником. – И мне бы очень хотелось его сделать. Когда-то этот Иов поразил меня. Тогда он был еще очень молод, но этот мальчик напомнил мне моего отца».

Он называет Иовом самого Габая, сознательно прошедшего через многие мучения (в другом месте называет его «святой

Илья»), и еще через неделю подтверждает это отождествление: «Красивый должен получиться памятник несчастному Иову». (23.04.74)*.

А несколько месяцев спустя, 25.08.74, переводит это отождествление на самого себя, используя странное совпадение аббревиатуры:

«Жил ИОВ на земле Русь, и имя его было Вадим Сидур.

ИОВ – Инвалид Отечественной Войны.

Сидур – по древнеевр. – молитвенник».

Это была, в сущности, его тема: бесконечные, безмерные страдания человека – от библейских времен до наших дней. Сидур полной чашей хлебнул испытаний, выпавших на долю его поколения: воевал и был тяжело ранен, «раскачивался между жизнью и смертью в госпиталях... среди людей без челюстей и дрожащих мелкой дрожью, искромсанных желтых животов», пережил гибель многих родных и близких, долго и мучительно болел. Вот откуда его пожизненное внимание к темам войны, насилия, смерти, бесчеловечной жестокости – «не интерес и даже не долг, а жизненная необходимость», – как выразился он в одном интервью. Этим определены трагические мотивы его творчества. «Меня постоянно угнетало и угнетает физическое ощущение бремени ответственности перед теми, кто погиб вчера, погибает сегодня и неизбежно погибнет завтра». Корнем всякого зла он считал насилие. «Сотни, тысячи, миллионы людей погибли от насилия, проявленного по отношению к ним другими людьми в самых чудовищных и даже фантастических формах». Едва ли не каждый день он фиксирует в своих записях сведения о все новых убийствах, террористических актах, взрывах, жертвах, пытках.

С годами он все более скептически относился к способности людей разумно разрешить свои проблемы; это чувство приобретало порой острые формы. «Недавно я ощутил приступ совершенно необъяснимой угрозы, тревоги», – сказал он мне однажды.

* Памятник остался только в модели: чтобы воплотить его в материале, у друзей не хватило средств; пришлось ограничиться другим вариантом – барельефом, установленным на кладбище в Баку.

Может, эти приступы были связаны с ухудшившимся состоянием сердца? Или с тем, что он называл «современным состоянием», памятник которому символизирует драматическую напряженность, трагический излом, раздвоенность и метания?

3. АТМОСФЕРА

Семидесятые – середина восьмидесятых годов – мертвенный, мертвящий период нашей истории, вязкая, удушливая пора, исковеркавшая немало судеб, для культуры пагубная. Трагические катастрофы: революция, война – все-таки высвобождали какую-то духовную энергию. Тут царило именно чувство вязкости, как в дурном сне. Я не говорю сейчас об экономике и политике, только о состоянии духовном. Творческие силы вытеснены в щели, изгнаны, какая-то муть поднимается со дна, в умах разброд, все перемешано: националистические комплексы, религиозные идеи, ценности массовой культуры и понятия общества потребления (при отсутствии потребления). Фантастические гротески пьянства и воровства, очереди за золотом и лужи мочи в телефонных будках, словоблудие и травля самостоятельной мысли: фальшь, тоска, порча, жестокость, абсурд. «Идиотизм, переходящий в овалцию», – читаю я теперь в сидуровских записях 1974 года. «Страна движется НЕ ТУДОЮ». И почти в те же дни – у меня: «Жутко думать иногда, что мы живем на каком-то почти неуправляемом корабле. Правителям только кажется, что они указывают курс. На самом деле они лишь стараются удержать равновесие, заперев остальных по закутам, лишив их свободы действий, вместо того, чтобы призвать всех участвовать в спасении. А материал между тем подгнивает, и то ли разобьемся вот-вот сослепу о какой-нибудь встречный камень, то ли все так развалится». «Может быть, счастье людей в том, – записывал я время спустя, – что они могут существовать где-то в своем измерении, независимо от государственных и политических ирреальностей... Если читать наши газеты, слушать казенные речи, покажется, что настоящая жизнь просто не может удержаться в этой атмосфере лжи, подмен, не-





существующих понятий. Во всяком случае не может существовать ни литературы, ни искусства. Но тем не менее они существуют – на той же глубине, где сохраняются любовь, семья, дружеские отношения, книги, музыка, природа, и больше того, порой достигают удивительных высот». «Идиотизм нашей жизни рождает произведения искусства, кстати, не только нашей», – записывает Сидур 23.06.74 и несколько раз повторяет простейшую заповедь нашей этики: «Сидя в дерьме, не будь дерьмом».

Перебираю снова свои записи. «Чтобы в такое время не сломаться, не покончить с собой, нужна либо стойкость и сила, либо известная степень нечувствительности». «Блок писал, что Пушкина убила не пуля Дантеса, а отсутствие воздуха. Сам Блок знал, что значит задыхаться. А мы не задыхаемся, как будто у нас воздуха больше, чем у Блока и Пушкина. Или мы приспособились к жизни в нем благодаря каким-то мутациям – как приспособились за несколько лет насекомые к дусту? А может, дело просто в резкости перепада: они еще помнили другой воздух, а мы другого от рождения не знали?» «Мы даже не вполне осознаем противоестественность своей жизни. Мерки прошлого тут, пожалуй, неприменимы».

Вот атмосфера и тон интеллигентских московских разговоров в те годы. Вокруг этих тем неизменно крутились и наши с Димой беседы. И приходили всегда к тому же:

– Все равно надо работать, – говорил Сидур.

4. ВНУТРЕННЕЕ И ВНЕШНЕЕ

Дима принял очень близко к сердцу написанную мной работу об Илье Габее; он наговорил мне много высоких слов и сказал между прочим:

– Это надо бы прочесть многим, и именно сейчас, в пору разброда.

Увы, в те времена публикация такой книги возможна была только за границей, у меня были причины от этого воздерживаться. А когда появится возможность ее напечатать, те же слова прозвучат

чат, глядишь, иначе – сказанным вовремя, им другая цена.

Кому в наших условиях не приходилось упираться в эту проблему! Годами работать, не рассчитывая на зрителя и читателя – кроме небольшого близкого круга, а значит, на общественный отклик, влияние или успех. С этим было связано чувство внутренней свободы, но оно давалось непросто, не исключало сомнений и даже отчаяния, требовало постоянной корректировки самооценки (с проблемами материального существования каждый справлялся, как мог). Дружеские разговоры в этом смысле бывали немалой поддержкой.

– Ты работай безнадежно, – не раз повторял Сидур. – То есть не думая о возможности напечататься ни здесь ни там, потому что там это тоже не просто. Тогда будет настоящее.

Что он имел в виду? Прежде всего, что и «там», то есть на Западе, творческая свобода отнюдь не обеспечивается сама собой – на художника давят, например, требования и вкусы рынка, мода, в том числе политическая, соблазняя или заставляя приспособляться.

Как-то он показал мне серию новых акварелей «Девушки»: розово-зеленые, нежные обнаженные.

– Вот в чем я свободен, – сказал он, когда я отметил неожиданную для него новую манеру. – И западные люди мне в этом завидуют. Мне надоело заниматься скульптурой – я стал для души делать акварели. И не думаю, как к этому кто-то отнесется, того ли требует от меня репутация, рынок. Они так не могут, им надо подтверждать свою репутацию, чтобы покупали.

«Я уверен, – записывает он 13.09.74, – что любой заказ, не только социальный, а просто денежный, всегда губителен для художника и писателя. Только для себя, тогда получится для других».

Не Бог вещь какая новая мысль, что говорить; сразу вспоминаются оговорки: что многие величайшие творения создавались именно по заказу (и разве у самого Сидура нет превосходных заказных работ?), что такие принципы проще провозглашать, чем следовать им реально. Противоречия подстерегают на каждом шагу. Абсолютная свобода, услышал я от одного философа, пред-

полагает абсолютное неучастие в делах мира. Но живой человек, художник в том числе, живет не в абсолютном пространстве, он вступает в повседневные и духовные отношения с другими, что-то дает и что-то получает, нуждается не только во внутренней, но и во внешней опоре существования, в отклике, который отнюдь не сводится к успеху, а является элементом обратной связи, необходимой искусству, как нормальное кровообращение.

Когда-то можно было сформулировать эту проблематику вопросом: что мы значим перед людьми и что перед Господом? У наших библейских предков все совпадало: обласканный Богом был благословен перед людьми – причем при жизни. И даже много-страдальный Иов, привлечший специфическое внимание сил, споривших за его душу, был к финалу вознагражден за свою стойкость: стадами, долголетием, новыми детьми взамен погибших. Позднейшее христианство внесло поправку, перенеся все вознаграждение на небеса, а светская мысль вместо рая предложила посмертную людскую память – суррогат бессмертия.

Наше время отчасти ужесточило условия, отчасти внесло в них какую-то зловещую изощренность: чтобы говорить с современниками и даже чтобы получить шанс остаться в чьей-то памяти, так называемому творцу духовных ценностей надо зачастую поступаться столь многим, что сами эти ценности становятся уже сомнительными.

Выбор дан был далеко не всегда, и давался он не просто, но без потерь в любом случае не обходилось. Помню, как сокрушался Сидур, прочитав возвратившийся к нам, казалось, из небытия роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба»: «Если б эта книга увидела свет в свое время, вся история нашей литературы выглядела бы иначе». Конечно, произведение, выдержавшее испытание временем, тем весомее подтверждало свою цену, но мы-то, прожившие десятилетия без него – разве не оказались бедней? Не говорю уже о человеческой трагедии автора, умершего без уверенности, что созданное им не только увидит когда-нибудь свет и будет воспринято, но вообще сохранится.

Все так, и по словам самого же Сидура видно, что он понимал это не хуже других. Нежелание ориентировать свою работу на пуб-

ликацию или заказ было для него равноценно нежеланию внутренне ориентироваться на чей бы то ни было художественный вкус, моду или политические представления. Это, видимо, определяло и его отношение к самиздату как к явлению скорее текущей общественной жизни, чем искусства. «Мне кажется, что самиздат почти ничего не дал литературе с точки зрения высот искусства... – записано у Сидура 25.06.74. – Четко различаю писание в стол и самиздат».

Нет смысла обсуждать здесь справедливость такой оценки. При нормальных условиях самой проблемы, как и противопоставления, не могло бы возникнуть. Наш выбор вынужден был искаженными обстоятельствами жизни, и мы склонны бывали нужду возводить в добродетель. Речь не о правоте, а о выборе, который при одних и тех же обстоятельствах оказывается у людей разным. Ибо сами по себе обстоятельства еще не определяют судьбы, во многом она есть производное от нашей внутренней сути. Речь о человеческих особенностях Сидура, который по природе своей склонен был как бы уклониться от всего внешнего – в том числе и успеха.

«Некоторых художников... вдохновляют зрители, – записывает он разговор с женой (речь шла о нежелании участвовать в какой-то выставке). – Они могут даже из творческого акта устроить зрелище. Это их стимулирует и подогревает... Я же могу работать только скрытно... Даже в так называемых человеческих условиях мне было бы стыдно конкурировать и бороться за место под солнцем... Скорее всего поэтому я люблю показывать в Подвале. И то, когда зритель не мой, зритель на другой волне воспоминаний, мои вещи сразу увядают, как девушки на балу, которых не приглашают молодые люди.

– Хороши девушки – железные Пророки с огромными железными фаллосами... Ты хотел бы персональную выставку?

– Не знаю... Скорее всего я хотел бы быть рантье... и спокойно работать для себя, не думая ни о чем».

Я переписываю эти строки осенью 1987 года, когда персональную, пусть пока и небольшую выставку Сидура посетили уже тысячи людей разного возраста, разных культурных слоев; приезжа-

ют из разных городов, приходят с детьми. Люди, далекие от искусства, возвращаются сюда по пять и по шесть раз, подолгу всматриваются в работы, без всяких объяснений понимают и принимают близко к сердцу юмор «Праздника» или «Драки», нежность акварелей, но главное, боль, жалость, доброту, сочувствие к страдающим, искалеченным, погибшим. В этом неожиданном, поистине народном восприятии сам художник с его трудной судьбой обретает черты подвижника и страстотерпца; книга отзывов полна взволнованных, благодарных, высоких слов; вокруг его имени складывается нечто вроде посмертного мифа. Бесконечно грустно, что Сидур до этого не дожил.

Помню, как уже к концу жизни он без особой охоты отдал несколько своих работ для выставки на Малой Грузинской – но то были «коллективные мероприятия», их он вообще недолюбливал. Персональным выставкам, которые с некоторого времени стали устраиваться в ФРГ, он радовался, с нетерпением ждал каталогов, ловил отзывы в прессе и по радио. Как-то при мне он больше часа пытался сквозь глушение записать на пленку передачу о себе «Голоса Америки». «Вот, записать, и можно поставить пленку в архив, – сказал он немного смущенно. – Конечно, все это суета, но в наше время, когда остаются только фотографии»... Он не договорил, но было в его словах как бы признание слабости. «Суета сует увлекает нас в нетворчество», – записывает он 15.10.74, когда вот так же ловил известия об установке в Касселе «Памятника жертвам насилия». И несколькими днями позже, 21.10: «Не о славе своей суечусь, слух напрягая, из эфира услышать жажду о «Памятнике погибшим от насилия», только помянуть погибших стремлюсь, – сказал ИОВ Господу.

– Не лукавь, – сказал Господь».

Уже при жизни его работы стояли в нескольких городах ФРГ. «Я человек сделанный», – выразился он однажды. Это значило, что имя его уже утвердилось, остальные заботы второстепенны. Когда получено было известие о решении установить в Западном Берлине «Треблинку», он сказал мне: «Больше мне и не надо. Я всегда мечтал поставить именно две вещи: «Памятник жертвам насилия» и «Треблинку». Да еще стоит «Женщина и сталь», и Эйн-

штейн в Америке. И ведь что интересно: я ничего для этого не предпринимал, сижу тихо, никуда не рвусь, ни на выставки, ни за границу».

Заграница была ипостасью все той же темы. Несколько раз он получал официальные приглашения в ФРГ, страну, где его больше всего знали и ценили. Начальство из Союза художников предлагало взамен другие кандидатуры; в ходе переговоров приходили к компромиссу: вдобавок к Сидуру немцы соглашались пригласить еще девять функционеров; кончалось тем, что эти девять ехали, а Сидур оставался в Москве. Он рассказывал об этом с юмором: заграница в наших условиях была приманкой, подачкой, наградой за услуги подчас специфического свойства – способом закабаления. «Я свободный человек уже потому, что не рвусь за границу», – повторял Сидур.

– В ФРГ мне было бы, конечно, интересно, – добавил он однажды. – Посмотрел бы, как там стоят мои работы.

– Там и помимо твоих работ кое-что есть, – не без юмора заметил участвовавший в разговоре немец, и Дима засмеялся, как бы признавая, что малость перегнул.

Одно приглашение, от имени посла, помню, вызвало у него даже тревогу: только что в ФРГ вышел его каталог, и Дима опасался, не послужит ли это началом кампании против него; он предпочел бы не привлекать к себе внимания.

– Не хочется, – сказал, – чтобы меня поперли*.

* По этому поводу стоит процитировать примечательную запись из «Мифа», характеризующую общественное самоощущение Сидура по крайней мере еще в 1974 году – со временем оно, как у всех менялось: «Я, бывший комсомолец, еще не исключенный коммунист, вкалывавший в колхозе, работавший сутками на заводе, сраженный фашистской пулей на земле Украины, обильно поливший своим потом и кровью советскую землю, я – участвовавший в восстановлении, я – строитель, я – веривший в вождя и вождю, а потом речам... на XX съезде, я утверждаю, что я и есть тот, кто имеет право спокойно жить и трудиться на своей земле» (18.05.74). В каком-то смысле он был человек более советский, чем враждебные ему чиновники – даже удивительно, как долго сохранялись в нем многие представления, впитанные с детства и юности. «Во рту слов разлагаются трупики, – пишет он 27.04.74, прослушав по радио передачу с комсомольского съезда. – И несмотря на это, я плакал... Я плакал на похоронах идеи, я плакал, потому что мне уже 50, что умерли мама и папа, что навсегда кончилась гармония, существовавшая между мной и государством».

В то время модной темой становилась эмиграция, добровольная или не очень. Многие удивлялись, почему при таком успехе он не уезжает.

– Но, во-первых, мне, честно говоря, плевать на этот успех, – говорил Сидур. – А во-вторых, я думаю: ну уехал бы, ну получил бы миллион, ну и что? Лучше бы мне было, чем сейчас?.. Для других хорошая жизнь – автомобиль и все такое прочее. А мне это не нужно. Я вот, например, люблю Москву, хотя многим она кажется уродливым городом. Люблю Алабино, с нетерпением жду возможности уехать туда.

Он не строил иллюзий относительно жизни на Западе, а главное, сознавал, что счастье вовсе не так уж зависит от материальных условий. Среди его многочисленных западных знакомых счастливых людей было ничуть не больше, чем среди знакомых московских, и ничуть не меньше несчастных. Более того, многие говорили, что нашли у нас что-то, чего лишены были дома – и плакали, уезжая.

– Ко мне тут ходили из американского телевидения, – рассказал как-то Дима, – хотели снять обо мне фильм. Не пошло. Их не устроило то, что я говорил. Они стали спрашивать меня о свободе, я сказал, что тут, в Подвале, среди своих работ чувствую себя совершенно свободным и нигде свободней бы себя не чувствовал. Они явно ждали от меня другого. Рассказали, видно, о беседе со мной начальству. Им ведь тоже требуется утверждение, потому что это вещь довольно дорогостоящая: освещение, аппаратура. И видно, не пошло. Ну что ж, останутся американские телезрители без лицезрения моей физиономии. Не буду же я приспособливаться к ним, говорить, чтобы им понравиться...

Разговор происходил во время прогулки по заснеженным переулкам бывших Хамовников.

– Что такое счастье? – сказал Дима. – Вот я прогулялся с тобой по улицам, никому не сделал зла – и мне хорошо.

5. РАБОТА

Как-то я упомянул, что вынужден был сделать в работе перерыв из-за нездоровья и испытываю по этому поводу терзания совести. Дима засмеялся:

– У нас одинаковые проблемы. Когда я занимаюсь рисунком (потому что на скульптуру сил не хватает), мне кажется, что я облегчаю себе жизнь, уваливаю от работы.

В другой раз он пересказал мне интервью знаменитого хирурга Илизарова, который признался, что много лет не ходил в кино, в театр, отдыхать не умеет. Как-то получил путевку в санаторий, но через шесть дней сбежал. «Когда я работаю, я живу, на остальное нет времени, – таков был смысл его слов. – Говорят, есть хорошая книга «Мастер и Маргарита». Я начал читать, но дальше пяти страниц не продвинулся – некогда». Диме это было знакомо и близко. Он, конечно, и читал, и музыку слушал, и в кино ходил, и на театральные премьеры (друзья из театрального мира не обделяли вниманием), и на приемах у иностранцев с некоторых пор стал бывать, сам принимал гостей беспрерывно, может, даже больше, чем хотелось бы – но от всего этого, как к главному, рвался к работе. Услышав по радио, что для китайского сознания непонятно, что такое отпуск и отдых, он записывает в своем «Мифе»: «Я китаец!»

Вечное нездоровье не умеряло этого порыва к работе, наоборот. «Вынужден работать сверх меры, потому что чувствую себя отвратительно, – читаю я у него, – сил нет, а успеть надо!» (27.02.74)

Не будем забывать, что работа скульптора, помимо всего – тяжкий физический труд, надо ворочать и обрабатывать камень, металл, гипс, глину. Глядя на многотонные массы, загромождающие Подвал, попробуем представить себе, как все это в буквальном смысле проходило – и не один раз – через руки серьезно больного человека! Но прежде всего надо говорить о повседневном творческом напряжении, об интенсивности духовной жизни, которая подчиняет все помыслы и требует неустанной энергии. На какой-то стадии таким пожизненным трудом достигается ви-

димая легкость, система как бы готовых знаков или, скажем, наработанная линия. Мне приходилось видеть, как Сидур делал дивные свои рисунки тушью – как-то при мне он за час нарисовал три оригинальных композиции, почти не прерывая разговора. Такие рисунки он мог дарить или продавать. В другой раз он так же за разговором со мной начал и завершил акварель – конечно, уже в уме существовавшую, заранее решенную. Для него самого это как бы заполняло промежутки между другой, настоящей работой, которая делалась в сосредоточенном уединении, в трудных поисках, не по заказу и не для заработка... А для чего?

«Какая сила ежедневно за шиворот меня к столу тащит, работать заставляет? В мастерскую гонит? Отдохнуть не дает? Скульптуру делать, рисовать, МИФ писать? В житейском смысле могилу себе копать?» – спрашивает себя Сидур.

Эта сила определяла не только собственную жизнь, но во многом и отношения с близкими. «Меня ужасно злит, – записывает он, – когда окружающие меня люди... простужаются, ночью читают или играют в карты. В этих случаях днем у них меньше сил для дела» (2.09.74). Имелась в виду прежде всего жена – многолетний, главный, а то и единственный помощник в многотрудной работе. Но Сидур с необычайной энергией и настойчивостью старался привлечь себе в помощь также друзей, знакомых. И если уж кто соглашался – должен был вкалывать: маэстро не давал поблажки, подгонял, настаивал, сердился, требовал, не считаясь с обидами, проявлял неожиданную властность: дело было важнее всего. Он, думаю, не был легким в общении человеком.

6. ОДИНОЧЕСТВО

Я уже упоминал о нелюбви Сидура к «коллективным мероприятиям» – будь то литературный альманах или групповые выставки художников; то же относилось ко всяким объединениям, направлениям и т. п.

– Художник должен быть одинок, – сказал он мне как-то.

Странно теперь вспоминать, что начинал он именно в коллек-

тиве – в соавторстве со скульпторами В. Лемпортом и Н. Силисом. Это был теснейший творческий союз, они даже работу каждого подписывали общей подписью. Просуществовав несколько лет, союз распался в 1962 году.

Мне лично был понятней распад этого соавторства, чем его существование. (Может, был здесь отзвук каких-то коллективистских мечтаний времен нашей юности?) Для меня творчество – акт всегда глубоко индивидуальный. Если не говорить о коллективных по природе видах искусства, вроде театра и кино, соединение для постоянной работы трех разных личностей, характеров, темпераментов казалось мне чем-то противоестественным.

Как-то мы заговорили об этом с Сидуром.

– Сейчас мне и самому так кажется, – сказал он. – Но тогда я переживал разрыв трагично.

Насколько я мог судить, он не слишком интересовался работами своих московских коллег. При отсутствии нормальной художественной жизни, когда держаться приходилось почти исключительно внутренним напряжением, самоконтролем, самооценкой, в этом отгораживании, даже отталкивании мне видится способ четче очертить круг *своего* – и в искусстве, и в жизни.

В разговорах и интервью Сидур не раз и подчеркнуто повторял, что свой художественный стиль, пластический язык сформировал и развил сам, без влияния мастеров современной скульптуры, которых до позднего возраста практически не знал по причине нашей долгой оторванности от мира. Какие впечатления могли на него повлиять? Он видел скифских идолов перед музеем в родном Днепропетровске, он изучал древнеегипетское, ассиро-вавилонское искусство, греческую архаику по слепкам в Музее изобразительных искусств, он мог видеть там же (тогда еще в запасниках) Майоля, Бурделя, Родена – было у кого учиться. «К стыду своему должен признаться, – говорил он в одном интервью, – что в те времена я даже не знал, что существуют такие скульпторы, как Мур, Липшиц, Джакометти, Цадкин... До какой-то степени получилось по пословице: «Не было бы счастья, так несчастье помогло». Возможно, именно отсутствие информации заставило меня совершить многие формальные открытия в ис-

кусстве, которые таким образом стали моими кровными». Когда впоследствии, продолжал Сидур, стали доходить какие-то альбомы, книги, каталоги, он чувствовал себя уже сложившимся художником. «Ничто не потрясло основ и не изменило главного. Я все больше и больше убеждался, что истоки, из которых мы произрастаем, и у меня, и у моих старших великих современников – Мура, Липшица и других – одни и те же».

Это скорей всего верно, если говорить конкретно лишь о скульптуре и об отдельных ее мастерах; но какие-то косвенные или неосознанные влияния, думаю, прорывались все-таки через живопись, другие виды искусств, открывая общие черты художественного языка XX века. Многие стали доходить до нас уже со второй половины 50-х годов, пусть спонтанно, не систематически; достаточно вспомнить сенсационную выставку Пикассо 1956 года; как раз на этом рубеже стиль Сидура начал обретать свои позднейшие черты (что хорошо можно проследить по «картотеке» его Бохумского каталога). Но при всем этом определяющей в формировании его как художника, без сомнения, была именно особенность нашей исторической судьбы, которую приходилось интенсивно осмысливать, причем искусство (включая литературу) оказывалось едва ли не единственной возможностью такого осмысления. (Разумеется, то искусство и та литература, за которые чаще всего не платили денег, которые не уходили дальше мастерской или письменного стола.) Это порождало порой поистине своеобразнейшие явления, подтверждая вновь и вновь, что интенсивность и глубина духовной жизни связаны с внешними условиями отнюдь не прямо и не однозначно. В самом деле, наверное, только у нас могли сложиться такие ни на кого не похожие гении, как Платонов или Филонов, независимо от европейских влияний, что называется, своим умом доходившие до удивительных открытий.

Здесь уместно заметить, что Сидур, пожалуй, не был связан ни с какой отдельно национальной традицией и ни с какой национальной идеологией. В этом отношении он был так же далек от поветрий, ставших у нас особенно модными в самые последние десятилетия. Сидур был еврей по отцу и русский по матери. В детстве он сказал о себе однажды: «Я русский евреец», – и с удо-

вольствием повторял это позднее. Мне он как-то сказал: «Я убежденный космополит или, если хочешь, интернационалист».

Язык его искусства, язык пластики, живописи и рисунка был по природе своей общечеловеческим, понятным без перевода в любой стране. Сложилось так, что раньше и лучше всех узнали и оценили его творчество в ФРГ; думаю, тут сыграли роль не только обстоятельства, более или менее случайные, но и известная общность исторических судеб двух народов, обусловленная трагическими потрясениями нашего века, схожим опытом тоталитарной диктатуры и войны.

Особенность внешних условий нашей жизни парадоксальным образом сказывалась не только на круге тем, но и на художественном языке, порождая даже формальные находки и открытия. Может быть, что-то определялось даже простым недостатком в средствах.

Традиционные для скульптуры материалы, камень и металлическое литье, не всегда оказывались по карману, приходилось использовать все, что попадалось под руку. Иногда это были известняковые блоки, оставшиеся после перестройки церковной ограды неподалеку от мастерской, – их форма подсказала решение нескольких скульптур; но чаще это оказывались канализационные трубы, оставшиеся после ремонта, разнообразные предметы со свалок металлолома, утюги, мятые ведра, гвозди, проволока – что угодно. Совпадения с художественными находками поп-арта были в значительной мере внешние – материал, как будто вынужденный, оказывался внутренне органичным для проблематики, которую разрабатывал Сидур. Впрочем, по поводу тех же канализационных труб и сочленений, которые определили пластическое решение «Железных пророков», он однажды сказал в интервью: «Если бы их не было, я заказал бы специальную их отливку». Как бы там ни было, решение и здесь вспыхнуло на пересечении внутреннего развития и внешних, навязанных судьбой обстоятельств.

По словам Сидура, «Железные пророки», наряду с «Гробами», особенно удивляли попадавших в мастерскую иностранцев: у нас, говорили они, художники искищряются в поисках какой-нибудь

новизны, не знают, как бы поразить или шокировать публику, а у вас это получается как бы нечаянно, само собой.

То-то и оно, видно, дело не решается формальными выдумками – попробуй имитировать опыт, питаемый непростой нашей жизнью, нашими тревогами и размышлениями – это так же невозможно, как невозможно имитировать духовный мир человека, связанный с этим опытом.

Осенью 1983 года Дима привез из деревни Алабино, где любил жить летом, несколько лопат, подобранных на местной свалке; надетые на них шляпы и кепки вдруг удивительным образом превратили эти лопаты в скульптурные портреты «Люди из толпы». Однако поразительней всего было, как эти стандартные, безликие, любому доступные железки обретали, одухотворяясь, черты неповторимой, именно сидуровской пластики. Одна из них стала его автопортретом – очень похожим.

В искусстве, как и в жизни, существенно лишь то, что пропущено сквозь душу, что стало душевным событием. За внешними впечатлениями Сидуру не надо было ездить за границу, творческих подсказок и стимулов не приходилось искать ни в дальних путешествиях, ни в чужих работах, ни даже в книгах. В последние годы жизни он читал меньше обычного. Единственным временем для чтения, сказал он мне как-то, бывали двадцать минут перед сном, после приема снотворного, пока оно не начало действовать. Я заметил, что мне чтение необходимо – оно, не говоря о всем прочем, дает импульсы для литературной работы.

– А у меня импульсы все время передо мной, – ответил Дима. – Я даже альбомы по живописи не смотрю. Была выставка Пикассо – я не пошел, про него я уже все знаю. Даже пересматривать свои старые папки с идеями – слишком большой труд. Иногда оказывается, что я в своей новой работе повторил идею, которую давно нашел... Не в этом дело. Есть жизнь. Смотри, думай, вникай.

Прогуливаясь по хамовническим переулкам, мы встретили беременную женщину.

– Я все никак не использую тему, которую она дает, – сказал Дима. – Видишь, у нее расстегнута на животе шубка, и из-под этой наружной формы выпирает другая. Очень красиво.

7. МИР

«Мир моего Подвала так разросся, что поглощает меня целиком», – сказал Сидур в одном интервью.

Чувство особого, мощного, ни на что не похожего мира сразу охватывает попадающего в мастерскую Сидура – а ведь далеко не каждого художника можно назвать создателем своего, небывалого доселе мира. Так мы говорим: мир Шагала, мир Генри Мура. (Пикассо сотворил галактику миров.) Это понятие включает в себя манеру и круг тем, систему образов, пластических знаков и символов, но не сводится ни к чему в частности и не исчерпывается лишь визуальным впечатлением. Подразумевается всегда нечто цельное, единое и взаимосвязанное.

– Все составляет целое: и моя мастерская, и «Миф», и стихи, которые я пишу, и кино, которое снял, – так перечислил однажды Сидур в разговоре со мной элементы этого мира.

Создаваемое художником – в каком-то смысле проекция, материализация его внутренней сути. Кажется, Швиттерс заявил, вызвав благородное возмущение многих, что даже плевок художника – произведение искусства. Между тем в этой эпатирующей формуле есть своя правда: сущность художника может проявляться во всяком его действии. При одном небольшом условии: если это действительно художник. Надо сначала им стать, надо пожизненно его в себе вырабатывать, не изменяя этому главному в себе ни в чем. И если твой «плевок» оказывается не очень похож на произведение искусства – значит, ты не художник. Перестал им быть или никогда не был.

В «Мифе» мне встретилось замечание Сидура о деятелях искусства, которые приняли участие в травле своих коллег, надеясь такой ценой купить себе лучшие условия для жизни и творчества. (Дима называл их «подписанцы со знаком минус», в отличие от «подписанцев»-диссидентов.) «Счастье в том, что искусствс обмануть нельзя. Подписанцы со знаком минус и другие хитрецы не знают или забывают, что их рукой тут же начинает водить дьявол... И исправить ничего нельзя» (25.08.74).

За этими словами чувствуется убежденность в неразделимости жизни и творчества: мир художника органичен и целен. Более того, он не во всем подвластен художнику и, будучи создаваем им, в каком-то смысле включает его самого. Недаром автор то и дело начинает ощущать как бы независимость собственных творений от своей воли.

Одно из простейших, умопостигаемых проявлений такой независимости – способность художественной идеи, художественной формы к саморазвитию, когда последующее решение рождается не столько новым усилием автора, сколько предшествующей идеей или формой. Так разветвляются, множась, вариации возникшей однажды темы, порождая в этом процессе дальнейшие решения и новые темы, так появляются циклы, которые занимают у Сидура столь важное место.

Здесь нет речи о произволе и нарочитости, все совершается как бы само собой, по своим законам, ты даже не всегда можешь объяснить происхождение иных вещей – что говорить о посторонних!

В каком отношении к своим созданиям находится вот этот, как будто знакомый нам человек? – мягкий, очень добрый, обычно спокойный внешне. Вот он пьет чай с гостями, рассуждает о искусстве или политике, смеется, спрашивает о детях и семье. Ты что-то знаешь о его здоровье, пристрастиях, вкусах, житейских чертах, ты видел его снявшим зубной протез и сразу постаревшим на десяток лет, ты можешь представить его дома, с женой и сыном, ты можешь знать еще что угодно – но попробуй понять, как и почему возникают, выявляются в его руках эти сооружения из искореженного, исковерканного металла, наполняющие мастерскую словно обломки неведомой катастрофы? Откуда, из каких снов приходят к нему эти видения, эти мучительно восстающие фаллосы, эти оскаленные зубы, вопящие рты, четырехпалые руки и выпученные глаза, эти обрубки и кабельные сплетения, перерезанные, точно горло? – и как совмещаются с ними нежные линии других его скульптур и рисунков, прекрасные женщины и умиротворенные старцы? Но может ли он это сказать сам? Биография, обстоятельства жизни, воспоминания детства и юно-

сти, военные, госпитальные, какие угодно впечатления способны объяснить далеко не все – что-то вырастает, рождается из недоступных нам глубин существа – или глубин мироздания – что-то не поддающееся рациональному объяснению, вновь и вновь озадачивающее самого создателя.

«Чувство отстраненности от всего, что я сделал, – записывает Сидур 25.08.74. – Даже некоторое удивление. Неужели все это сделал я?.. Как я? Почему я? Неужели я?»

Наверное, всякому художнику знаком этот момент удивления: откуда это взялось во мне? Ведь это больше меня – как я оказался на это способен? У людей былых эпох это вызывало представление о силах, для которых художник – лишь инструмент, средство выявления; художественный мир создается не столько им, сколько его посредством.

«Иногда, – пишет Сидур, – я чувствую себя непричастным к этому миру скульптур, который возник как бы сам собой, из ничего и не имеет ко мне почти никакого отношения».

Нет, недаром так часто навещает автора чувство, будто творения его обретают способность к самостоятельному существованию, начинают жить неуправляемой, пугающей жизнью. В сценарных набросках к своему киномифу Сидур записывает кошмарную сцену бунта «Железных пророков»: лягают зубы ртов-утюгов, шевелятся, тянутся металлические руки, вздымаются жуткие фаллосы. И о том же в стихах:

На полу железные джунгли
Разрастаются мои порожденья...
Карабкаются по кресту
Стальные твари
Скоро меня достигнут...

8. ЭРОТИКА

Где-то там, в глубинах и безднах подсознания, в области томительных снов и мучительных кошмаров зарождались и эротические образы Сидура, восхищающие и пугающие удивительной,

неожиданной своей пластикой, нежные красавицы рисунков и акварелей, нагие старцы с лицами, похожими на древесные листья, изборожденные прожилками-морщинами.

Слабеет тело
Меркнет разум
Голова понять не может
Неугасимости вожделения
Что с детства меня томило.

Но много ли дано понять нам в темной этой сфере, несмотря на все усилия высветить ее, особенно в нашем веке? Стихи Сидура, его автобиографические заметки помогают понять происхождение некоторых мотивов, сюжетов и образов. Мы узнаем в повторяющихся женских фигурах «Даная, Ио и Леду» его лирики, «цветок в маленьком пенисе юного Онана» – мотив детского воспоминания, девочек, которые «качаются на качелях, переплетаясь всеми своими членами» – томление неизбывной нежности. Перед нами человек бесконечно нежный, постоянно влюбленный.

У Сидура есть работы поистине классического совершенства, есть удивительные решения, развивающие традиционные для изобразительного искусства темы – и темы неожиданные, способные в первый миг ошарашить своей новизной. В замечательном скульптурном цикле «Женское начало» такой темой становится у него пластика не только внешних форм, но и внутренних органов. («Я как будто ощупываю прекрасную скульптуру», – раскрывает он в записи происхождение одного из таких мотивов, напоминая об особом отношении скульптуры – как и эротике! – к осязанию.) И пожалуй, ни у кого не находила такого пластического решения и не обретала такой самостоятельности мужская, фаллическая тема.

Рожденные однажды, эти образы, как и все другие – если не в еще большей степени – обретали самостоятельность, способность к трансформации, порой пугающей. Так произошло, например, в графических сериях «Мутации», «Олимпийские игры», «Идеологическая борьба», где в сексуальной символике нашла выражение

тема насилия, жестокости, тупой, бесчеловечной агрессивности, грозящего человечеству вырождения, гибели, апокалиптических ужасов...

Не буду, впрочем, теоретизировать на темы этих рисунков; для таких рассуждений мне нужно несколько от них абстрагироваться; непосредственная же реакция при взгляде на них – невольное отталкивание. Здесь следует, наверное, сделать общее отступление. В современном искусстве (как и в литературе) есть явления, по природе не рассчитанные на непосредственное восприятие, к которому традиционно апеллировал художник. Классик своим описанием пейзажа стремился вызвать у нас эмоциональное сопереживание; описав вкусное блюдо, он был бы доволен, узнав, что у нас при чтении потекли слюнки. Нынешний автор, впечатляюще живописуя нечистоты или неаппетитные физиологические отправления, вряд ли ставит целью вызвать у нас физиологическую же тошноту – цель его скорее интеллектуальная (включая интеллектуальный шок). Здесь, если хотите, система образных знаков, ее всегда готовы разъяснить теоретики, которых желательно прочесть до непосредственного знакомства с произведением, чтобы не придавать слишком большого значения неподготовленному своему чувству. В самом деле, это «непосредственное» чувство не всегда годится в советчики, ведь оно (как и пресловутый «здравый смысл») склонно совсем уж невежественно требовать, например, «похожести», объяснимости, морали и т. п.

Оговорив все это, признаюсь, что не могу себя отнести к безусловным поклонникам названных серий; отвлечься от непосредственного чувства отталкивания не удастся – потому ли, что слишком сильно действует на меня этот художник, или потому, что задуманное здесь претерпело нечто вроде мутаций, выйдя из авторской воли?* Сам же замысел кажется мне понятным и благородным – я не могу принять морализаторских упреков, которых Сидуру приходилось выслушать немало.

Морализаторством, кстати, не ограничивалось. Как-то в «Бильд-цайтунг» я прочел сообщение о скандале на одной из не-

* Впрочем, за последние годы, особенно после Чернобыля, многое стало казаться привычным и восприниматься иначе. (Прим. 1992 г.)

мецких выставок Сидура: некая дама-феминистка разбила скульптуру «Фаллос», оскорбленная в лучших чувствах этим символом «мужского господства»... Но это крайность уже анекдотическая. Моральные претензии к Сидуру предъявлял то издатель журнала, где охотно печатались фотографии голых красоток, то советский эмигрант-интеллектуал. «Мне как русскому и как еврею стыдно, что мы вносим вклад в дело разложения Запада», – примерно в таких словах выразил он свое отношение к присланному ему в подарок альбому Сидура (который с негодованием возвратил).

– Он говорит, как наш министр культуры, – усмехнулся Дима, передавая мне этот отзыв... – Они выступают там в странной роли защитников Запада от разложения. Это книга не для детей, а взрослые сами поймут, что все это означает.

Он не без вызова настаивал, что ни от «Мутаций», ни от «Идеологической борьбы» не отказывается – на каком-то этапе они имели для него принципиальный смысл. Но четыре года спустя в разговоре со мной как-то обмолвился: «Если бы я сейчас заново отбирал свой альбом, я, может, не стал бы включать туда «Мутации» или «Идеологическую борьбу». Тогда мне казалось, что это нужно, а теперь я бы подумал».

Эротика у Сидура, как, пожалуй, мало у кого другого, напоминает, до какой степени в этой сфере переплетено прекрасное и жалкое, влекущее и губительное, возвышающее и унижающее, нежность и наслаждение, восторг и страх, торжество и жестокость, счастье и боль, любовь и насилие... В «Мифе» он записывает рассказ о человеке, «у которого ЭТО произошло в момент смерти. Так мертвеца и вынесли из палаты». Не его ли видим мы в одном из сидуровских «Гробов»? «Это не сумасшествие, – подтверждает он нашу догадку, – это попытка найти способ изображения гробмира».

9. «ПРАВДА БЕЗОБРАЗНА И УЖАСНА»

«Правда безобразна и ужасна», – сказал мне однажды Сидур. За этой фразой стояло многое: мироощущение, философия, эстетика.

Я вспоминал ее, когда Дима показывал мне модель неосуще-

ствленного памятника писателю Василию Гроссману. Об этом человеке он всегда говорил с особым почтением, книгу его «Жизнь и судьба» называл «великой»: «Это как Библия нашей жизни». Они встречались однажды в 1960 году, когда Гроссман только что закончил свой роман, еще не подозревая его драматической судьбы. «Не могу объяснить, почему он произвел на меня впечатление очень значительного человека, самого значительного из всех, кого я видел. А я видел и Солженицина, и Неруду, и Бёлля... да кого только не видел. И при этом он был самый ненапыщенный из знаменитых людей... Мы провели в разговорах целый день...»

Так вот, о памятнике. На одной его стороне был барельеф: девочка закрывает руками глаза взрослому. Оказывается, был у Гроссмана такой сюжет: во время расстрела девочка закрыла рукой глаза своему старому учителю: не смотри, это очень страшно.

Поистине впечатляющий образ – один из символов нашего времени; для Сидура он заключал в себе нечто глубоко существенное.

Трудно, не отворачиваясь, взирать на все страдания и ужасы, которыми столь богат оказался наш век, – как бы говорит нам этот образ. Порой действительно надо прикрыть глаза, иначе просто не выдержать. И все ли нам, в самом деле, надо видеть, всю ли правду – о мире, о людях, в конце концов о себе самих – обязательно знать, до всего ли надо доискиваться, докапываться, все ли покровы срывать? Человек не просто может – он имеет право чего-то не знать. Более того, он должен в своем поиске где-то остановиться, не доходить до бездн, ведь забота его – не просто истина, а счастье...

Сам Сидур говорил о разрушительном человеческом «любопытстве», которому просто необходимо бывает положить предел – например, в научных экспериментах и поисках, которые нередко оказываются антигуманными, потенциально губительными для самого рода человеческого: именно об этом буквально вопиют иные его скульпторы («После эксперимента») и рисунки («Мутации» и др.). И не только в науке. Может, стремление к познанию ничем не ограниченному, к проникновению за всякий предел – в каком-то смысле соблазн, не сулящий удовлетворения, ибо сама

сущность человеческая – конечна, и нашей жизни, как и нашим устремлениям, не зря положен предел? Может, истина сама по себе – забота и цель одиночек, а для сообщества людей важнее устойчивость, равновесие, создаваемое среди прочего системой запретов, умолчаний (разве не на них строится вся культура?), а то и необходимой – да, да, необходимой – лжи? Ведь прикрываем же мы наготу одеждой – и разве в наготе больше истины? Разве и кожа не прикрывает чего-то: внутренностей, костей, жалкой, смертной, безобразной плоти, обреченной на тление? И если какие-то свои отправления мы совершаем уединенно, скрывая их от людей, – не означает же это лицемерия и желания утаить правду.

Вопросы отнюдь не риторические. В своем «Мифе», в сценарных заметках к одноименному фильму, в самом фильме Сидур с неслучайным упорством и последовательностью фиксирует не самые лестные для себя моменты. Он ловит себя на жестокой мысли по отношению к ребенку, который мешает ему спать, – всего лишь мысли, какие знакомы каждому и вряд ли характеризуют нас более справедливо, чем наши дела, – но и она записывается в счет. Он подробно описывает и демонстрирует с экрана процесс изъятия зубных протезов – его лицо, исполненное своеобразной красоты, при этом резко меняется – но больше ли в нем правды, чем до сих пор? Он показывает себя в позах самых неэстетичных, например, ставящим себе клизму, посвящает строки стихов физиологическим отправлениям, о которых мы обычно не говорим – потому ли, что избегаем правды? Для него в этом, очевидно, есть смысл. Какой?

«Я буду рад, если успею дать свидетельские показания... – отвечает он в записи 24.09.74. – МИФ я расцениваю именно так, хотя эти показания будут, возможно, против меня».

«Истина страшна и безобразна», – эту фразу Сидур, варьируя, повторял не один раз. Понятно стремление человека отгородиться от ужасов жизни, набросить на них покровы – но недаром искусство в нашем веке, как никогда прежде, училось эти покровы снимать. Для чего-то людям нужна и служба бесстрашных одиночек, которые ни от чего не отводят взгляда и не щадят себя в поиске. Может быть, для того, чтобы не успокаивалась человечес-

кая душа, ибо такое успокоение грозит загниванием и угасанием жизни.

Сидур чувствовал себя художником, осуществляющим не в последнюю очередь эту нелегкую миссию. Он детально описывает бойню, на которой работал в начале войны, инвалидов в челюстно-лицевом госпитале, подробности пережитой им мучительной операции. Раненые, калеки, человеческие обрубки, страдающая плоть и страдающая душа становятся темами его работ – и оказываются явлениями искусства. Искусство не знает безобразного в том смысле, в каком, по выражению Пастернака, «состав земли не знает грязи». Но это отнюдь не эстетизация безобразия, во взгляде Сидура на мир нет изощренности холодного наблюдателя, отнюдь! – иначе ему была бы другая цена. Он страдает вместе со страдающими – как с мукой вглядывался в лицо умиравшей матери: «Седые волосы стояли дыбом. Глаза были круглые и полные ужаса»... – в его ушах до сих пор ее крик: «Товарищи! Что вы делаете! Кончайте! Сколько это может продолжаться!..»

Тема предсмертных страданий занимает его всю жизнь, неотступно, он возвращается к ней во многих своих интервью: «Почему человек почти всегда расстаётся с жизнью в унижительных страданиях? Не подошло ли человечество к рубежу, на котором оно должно потребовать права на достойную смерть?»

«Я буду рад, если успею дать свидетельские показания». Это стремление сохраняется в нем до конца. Едва ли не в день смерти, на больничной койке, Сидур набрасывает стихи о себе – последние свои стихи:

Гражданином могу не быть
Но поэтом обязан
Я предсказывал Чернобыльский кошмар
Исколот
В ягодицы руку живот
Колют колют колют меня
Горю на костре без огня...

Отвернуться он себе не позволяет – и не всегда это дано. «Не тешьте себя, что вам сделают укол, – говорил Иов» (18.03.74)

10. ТЕМА СМЕРТИ

Переломным в своем человеческом и художественном развитии сам Сидур называл 1961 год, когда ему случилось перенести инфаркт. Не впервые дохнуло на него холодком смерти, но теперь это отозвалось иначе, нежели в юности. «Результатом того, что я в 37 лет второй раз заглянул за пределы жизни, было четкое осознание... что третий раз может наступить каждую минуту и быть последним».

Это сознание отныне становится для него постоянным, окрашивая повседневную жизнь и определяя отношение к работе. «Каждый день чувствую, как смерть своей отвратительной лапой хватается меня за сердце». «Мне кажется, я наконец понял, в чем разница моего отношения к миру, и отношения к миру В., Н., Э. и т. д., – записывает он 25.06.74. – Я ежеминутно, ежедневно, ежедневно готовлюсь к смерти... а они готовятся к длительной жизни».

Он не раз заявлял, что своим творчеством хочет напомнить людям об их смертности: забвение этого, утверждал он – первопричина зла на земле. Эта убежденность многое объясняет в творчестве Сидура, в частности, происхождение «Гроб-арта» – целой серии скульптур, собранных из разнообразных частей и помещенных в деревянные ящики-гробы. «Гробы стоящие, сидящие, лежащие, – перечисляет он их мыслимые разновидности, – на колесах, летающие, гробики детские, гробы девичьи... гробы обнимающиеся, гробы совокупающиеся... гробы беременные гробами... гробы ненавидящие, завидующие... гробы поглощающие, гробы извергающие еду... гробы распинаящие, пытающие, пытаемые»... Перечень бесконечен, как бесконечно разнообразие людей, от рождения несущих в себе смерть, но предпочитающих не вспоминать об этом; жить с этой мыслью повседневно, пожалуй, нельзя. В стремлении напомнить об этом есть что-то религиозное, оно вполне отвечает мироощущению художника, призывающего не отворачиваться от безобразного и ужасного – как и его взгляду на современность. «Воспеть величие эпохи, в которой убитые исчисляются миллионами, жизнерадостно и оптимистич-

но, по силам только гроб-арту» (3.04.74).

Тема смерти, в разнообразных ее проявлениях, преследует его постоянно – Сидур словно сам хочет, чтобы она «стучала в его сердце» почти буквально: он долго хранит в платяном шкафу урны с прахом матери и отца, возвращается к ним то и дело мыслью, вспоминает угнетающее бездушие модернизированного похоронного ритуала: «Родственники, подходите прощаться, – приказала женщина в синем халате. В одной руке у женщины молоток, в другой гвозди». А время спустя воспроизводит почти ту же сцену, разрабатывая для своего киносценария эпизод похорон героя – своих собственных похорон: «Гроб. В гробу я... Гроб медленно опускается, темные шторы смыкаются над ним»... Как будто подсмотрел заранее – так оно все потом и было. Впрочем, особого провидения тут и не требовалось – ритуал остался стандартным.

Важно отметить другое: все то же, предельное бесстрашие мысли, обращенной к теме смерти – в том числе (и прежде всего) своей собственной.

«Я не верю, что не все кончается земной жизнью. Я знаю, что умрут все и не воскреснет никто, и в этом вижу высшую демократичность истинно божественного начала».

Трагизм мироощущения не смягчен здесь никаким мнимым утешением, никаким псевдорелигиозным паллиативом. Тем больше цена реальной жизненной стойкости. «Может быть, самое трудное, – записывает Сидур 25.08.74... – зная бессмысленность существования, продолжать жить и работать. А если ты веришь в НЕГО, то гораздо легче. ОН думает за нас. ОН награждает».

11. РЕЛИГИЯ

Один из персонажей Даниила Хармса назвал «неприличным и бестактным» вопрос «Веруете ли вы в Бога?» Обоснование Хармса звучит юмористическим парадоксом, но затруднение, которое порой вызывает этот вопрос и у верующих, и у неверующих, заставляет ощутить в самой его постановке какую-то упрощенность, некорректность.

Сидур в одной из записей (18.03.74) называет себя «атеистом, верующим в Христа – сына человеческого». Говоря о «религиозном начале» в своем творчестве, он в интервью пояснял, что имеет в виду прежде всего христианские заповеди, «ибо до сих пор люди не смогли сформулировать ничего более человеческого». Распятие, голова Спасителя в колючем венце, библейские образы – постоянные мотивы его графики, живописи и скульптуры.

Но что общего у этого «религиозного начала» с какой-либо церковной верой? В конкретном исповедании Сидуру видится уступка, слабость, упрощение, в конечном счете идолопоклонство. «Если верят в ТЕБЯ, зачем в церковь ходят? – записывает он воображаемый разговор с Богом. – Идолопоклонством занимаются... Сам идолам поклонялся, – тут же, впрочем, признается он. – Не только на церковь, на светофоры молился». Речь идет о переживаниях в пору предсмертной болезни матери – знакомые, наверно, каждому мгновения отчаяния и слабости, когда готов взывать к кому угодно, цепляясь за любую надежду, даже если не веришь в нее... Сидур упоминает об этом именно как о слабости. «Единственным человеком в моей жизни, у которого не было никаких шашней с Богом, был мой отец. Самый честный, самый добрый, не противящийся злу насилием».

Можно у него встретить и запись другого рода. «А все-таки от веры и стало быть от церкви, или если хотите наоборот, от церкви и стало быть от веры, во всяком случае в нашей стране не уйти никуда!» (15.04.74)

Как это толковать? Что значит «не уйти»? Относил ли это Сидур к себе?.. Думаю, то что он называл у себя «религиозным началом», имело все-таки мало общего с исповеданием слабых духом – тех, для кого вопросы кончаются там, где для души трагически взыскающей они лишь начинаются, тех, кто облегчает себе страх смерти надеждой на загробное продолжение и вместо выстрадавших, пугающих, не всякому посильных истин предпочитает готовые, желательно утешительные. В этом противопоставлении нет оценки – людям, большинству их, такая вера действительно бывает нужна как повседневная опора и утешение.

Думаю, в случае Сидура следует говорить не о вере как испо-

ведании, а о импульсе, который можно назвать религиозным, об отношении к бытию, которое предполагает изумленное благоговение перед непостижимой загадкой жизни, любви, разума, перед бесконечностью и вечностью, когда нас касается чувство, что мы не так уж сами распоряжаемся собой, что есть что-то большее нас – о мироощущении, предполагающем поиск, пусть безнадежный, но зачем-то кому-то нужный...

Сидуру были присущи элементы, я бы сказал, космического мироощущения. Как-то в разговоре зашла речь о разрушенных кладбищах – одна из болезненных тем нашей жизни. «Даже места вечного упокоения не вечны», – сказал я. И Дима вдруг заговорил о преходящести человека в мире.

– Меня с детства смущала громадность Вселенной. Человек в ней такой маленький, ничтожный.

– Зато ум все способен вместить, вот тоже чудо, – сказал я.

– А может, и зря ему дан такой ум. Может, животные, кошки, собаки – счастливее.

И стал говорить, какая радость увидеть среди природы кошку или собаку, какая в них грация.

Ход мысли в этом разговоре (как он оказался записан) лишь по видимости прихотлив: его объединяет чувство единства мира во всех его проявлениях, чувство, родственное тому, что Альберт Швейцер называл «благоговением перед жизнью». Перед жизнью как таковой – не только человеческой.

«Я глубоко уверен, что животные и растения испытывают боль, ужас, а потому, скажем, коровы не должны быть съедены, деревья срублены и сожжены», – записывает Сидур 8.04.74. Это чувство не предполагало практического вегетарианства, тем не менее не приходится сомневаться в его искренности – с ним просто приходится жить, хотя жизни оно отнюдь не упрощает. «Как трудно не убить! Копнешь землю лопатой и нарушишь жизнь тысяч живых существ» (8. 09.74).

Все это – тоже элементы мироощущения, которое можно назвать религиозным. Это мироощущение человека, не страшась истины ужасной и безобразной, но чувствующего, что тут лишь одна из ипостасей бытия, лишь часть какой-то более цельной

правды, включающей красоту и добро, любовь и разум. Хотя бы потому, что без этого мироздание обратилось бы в хаос. Между тем мир как целое не саморазрушается – есть нечто, позволяющее ему существовать, поддерживающее его устойчивость и тепло, напряженную живую гармонию. Это мироощущение человека, знающего не только трагизм, но и счастье существования. Он в самом деле был по-настоящему счастливым человеком.

«Разум и добро – не выдумки, – записывает Сидур 25.08.74, – а лучи, доходящие из абсолютного бытия. А другие верят только в бессмысленные столкновения частиц, а человек – порождение этой бессмысленности».

И в другом месте: «Где истина, где ложь? Как может установить человек, если нет Высшего начала» (25.08.74).

Не правда ли, это приводит на память другой прозвучавший однажды вопрос: «Какая сила ежедневно за шиворот меня к столу тащит, работать заставляет?» Творческий импульс, пожалуй, столь же мало поддается рациональному объяснению, как и импульс религиозный – может быть, именно потому, что в природе их нечто общее.

Опыт творчества, наверно, и впрямь близок опыту мистическому. Кто как не художник может понять Творца, переливающего себя в свое создание – чтобы продолжиться в нем и уже не страшиться собственного исчезновения? Кто как не он, способен ощутить служение свое в том, чтобы своим трудом, метанием, любовью и мукой поддерживать непрерывную энергию творчества?

12. СМЫСЛ ТВОРЧЕСТВА

«Зачем мне это нужно? – повторяет Сидур все тот же вопрос в разговоре с женой. – Зачем я делаю скульптуру, рисую, пишу? Что заставляет меня приниматься за тяжелую долгую работу? Ты сама понимаешь, что скульптура скорей всего никогда не будет выставлена, рисунков никто не увидит, а Миф никто не прочтет. А что со всем этим станет, когда я умру, об этом лучше вообще не думать. Я даже не знаю, радости или муки больше

испытываю, когда работаю. Я ничего не знаю».

Какое облегчение переписывать эти строки в пору, когда сохранность его работ, кажется, обеспечена, по крайней мере, на ближайшее будущее! Историческая перемена на сей раз подспела вовремя; а как все повернулось бы, запоздай она года на два или умри он годом раньше? Кто знает, сколько творений наших современников исчезло бесследно вместе с их создателями? – и мы даже не подозревали бы о существовании «Мастера и Маргариты» или стихов Мандельштама, если б не выжили те, кому дано было их сохранить? Ведь кто-то и не выжил.

Мысль о судьбе работ мучила Сидура неотступно. «Я все хожу и присматриваюсь к особнякам, – сказал он мне как-то во время прогулки. – Иметь бы особняк, чтобы расставить там свои работы – и больше мне ничего не надо. А то вот я задумал одну скульптуру, с тебя ростом, и не могу делать. Некуда ставить. Я стал чувствовать, что невозможность иметь собственность – очень плохая вещь. Нам ничего не принадлежит. Квартира – кооперативная, не моя. Дача? Какая она моя, земля мне не принадлежит. Мастерская – вообще даже не Союза, он ее арендует у жэка».

Я вспоминал этот разговор, когда после его смерти несколько месяцев тянулась неясность, продлит ли МОСХ наследникам срок аренды на Подвал, и если нет, куда девать сотни тяжелых скульптур и как их сохранить? Сидур не переставал думать об этом до самой смерти.

Не могу умереть спокойно
Мучаюсь мыслью
Что с детьми будет моими
Когда я исчезну, –

писал он в стихах. Речь, конечно, шла о скульптурах – за живых детей он мог беспокоиться меньше.

Нет сердцу моему покоя
Как после смерти моей
Жить будут мои покойники

ГРОБ-МУЖЧИНА
ГРОБ-ЖЕНЩИНА
ГРОБ-ДИТЯ
По миру пойдут
Или по миру
В прах превратятся
Развалятся
Вместе со мной умрут.

И уже перед самой смертью, в больнице:

Я пропадаю
Мне худо
Вы томитесь в опустевшей квартире
Белые девы
Мои глупые дети
Не в силах понять
Куда я пропал
А я пропадаю
Боюсь вас покинуть
Но верю в свидание
Если увижу вас снова живыми
Тройняшки-близнята
Голеньких нежных
Друг друга ласкающих
Меня ожидающих
То снова воспряну
Вернусь с того света
Мы вместе над смертью одержим победу
Но это пока большой от всех секрет
Мы сделаем с вами
«Висящего Деда»
Мой автопортрет.

Я видел этот автопортрет на поминках после похорон – вырезанный из бумаги, он висел под потолком, изгибаясь на деревянных жердочках и ниточках, воспроизводя одну из давних графических идей Сидура. Три голеньких белых девы смотрели на него с дивана – мягкие тряпичные куклы-скульптуры, последняя фан-

тазия мастера, может быть, дань давнему воспоминанию о девочках, качавшихся перед окном на качелях. На стеллажах в квартире, сразу ставшей мемориальной, стояли модели скульптур – и все вместе было как подтверждение, что победа над смертью все-таки одержана, ибо в конечном счете именно этому служит искусство.

Зачем мы это делаем? «Завоевать и преобразить человечество, изменить понимание живого и мертвого», – вот чего – не более, не менее – хочет добиться художник своим творчеством (запись 8.10.74) «Мне смешно, когда говорят: мир спасет красота. На- столько неоднозначно понятие красоты. В этом случае правильнее говорить: искусство спасет мир» (15.04.74).

Здесь чувствуется отголосок убеждения об истине безобразной и страшной – упрощенное понимание красоты как красивости к ней неприменимо; и все-таки служить ей, искать ее и выявлять как нечто оформленное – значит помогать замыслу Творца, самой жизни. Жизнь требует формы, ибо противоположность ей: бесформенность, хаос, распад – означает смерть. И в этом смысле форма все же связана с красотой, как бесформенность – с безобразием, в этом смысле творчество есть служение жизни...

Примерно об этом я писал четыре года назад в небольшом тексте к каталогу Бохумской выставки Сидура, отчасти повторяя давние свои мысли. Я перечитываю его – и словно обвожу еще раз прощальным взглядом удивительную мастерскую.

Существо человека вряд ли сильно изменилось с библейских времен. Многие наши идеи лишь кажутся нам новыми – нова разве что наша подпись. И это не так уж мало. Потому что каждый живет (и умирает) впервые, единственный и последний раз – в мире, которого не было прежде и уже никогда не будет...

Есть существа, которые погибают в любовном акте – акте продолжения жизни. Творец переходит в свое творение. Если наш мир был кем-то создан – то не такой ли ценой?

Мысль становится неожиданной в воздухе, напрягшемся вокруг этих работ... Мастерская скульптора завалена обломками катастрофы, исковерканным, сплюснутым, растерзанным металлом. Будто

наплывы магмы затвердевают, вырвавшись на поверхность. Напор стихийных сил оформляется мыслью трезвой, выверенной, жесткой.

Это искусство не отворачивается от страшного и безобразного. Но соглашается ли оно принять трагизм и абсурд жизни, страдание и зло? Такое приятие может называться даже героическим – так Ницше призывал оценивать человека мерой страданий, которые он способен вынести. Отсюда недалеко до эстетического любования насилием, ужасом, гибелью. Этот трагизм не интересуется другими, слабейшими, он высокомерен и лишен любви.

В работах Сидура – боль, крик, предостережение, жалость, в них сострадание, нежность, любовь.

Бессмысленный хаос преобразуется, из безнадежно мертвого материала вновь и вновь выявляется форма, смысл, красота, начало женское и начало мужское, Адам, Ева, дитя. И вновь искусство представляется силой, призванной противиться энтропии, распаду, гибели. Ведь если человек был для чего-то создан, то не для того ли, чтобы теплом своей жизни, страсти, творчества поддерживать и обновлять энергию мироздания, обреченного без него?

ПОСЛЕДНИЙ РАЗГОВОР

Последний раз я говорил с Герой Копыловым в дубненской больнице незадолго до его смерти: он слег после очередного сердечного приступа.

– Ты много работал? – спросил я.

– Дело не в том, что много, а в том, что успешно. Я заметил странную вещь. Работаешь, работаешь целыми днями, не можешь чего-то решить, и сердце спокойно, не утомляется, хоть бы что. И вдруг наконец поймал за хвост решение, решил. И на каком-то эмоциональном взлете сердце не выдерживает...

В нем было редкое свойство органичности: он жил всем существом, так что и стихи отнюдь не были для него необязательным досугом после основных занятий. Перечитывая их сейчас, не просто отдаешь должное профессиональной виртуозности, блеску остроумия, глубине мысли – за ними встает человек со своим миром, голосом, характером и судьбой.

В тот раз он среди прочего говорил, что хотел бы как-то пристроить свои рукописи, передать, скажем, мне.

– Может, удастся это как-нибудь напечатать. Умру, жаль, если совсем пропадет. Вдруг в них что-то есть?

Я отвечал, что с этим еще успеется, – как всегда в таких случаях, искренне. Он на вид был не так уж плох, в больницу попадал впервые и уже был записан к хирургу Князеву на операцию, о которой однажды услышал по телевизору: когда подшивается дополнительная артерия к сердцу, чтобы хоть на год-другой улучшить его кровоснабжение. Эту операцию у нас только начинали делать, она считалась довольно рискованной, но Гера на любой риск был готов.

– Унизительно работать от приступа к приступу, все время чего-

то бояться. Я понимаю, когда старик, общее угасание... это естественно. Но ведь у меня голова ясная, сил много, вот в чем беда.

Он говорил о смерти и готовности к ней, а еще – о том, что, если будет дано время, он хотел бы отдать остаток сил той деятельности, которую тогда называли правозащитной, – может быть, даже пожертвовав наукой...

Что я мог ему ответить? О его научном ранге я имел возможность судить лишь косвенно, дилетантски. Как-то он подарил мне оттиск своей статьи из немецкого научного журнала – «Физические эксперименты в симуляторе»: насколько я понял, новаторская по тем временам работа о моделировании физических процессов. Как-то рассказал мне, что открыл остроумный способ измерения ничтожно малых величин. В наших условиях его приоритет не всегда становился известен – он относился к этому с усмешкой. Знакомый физик сказал о нем: «Гера как ученый на два порядка выше меня», – признание, которое от коллеги не часто услышишь. Бросить дело, в котором ты так многого достиг, которое дает тебе не только средства к существованию, но имя, положение, авторитет, а значит, в конце концов, и лучшую возможность быть услышанным даже в той самой общественной области, где, вообще-то, вряд ли можно рассчитывать на результаты реальные, где можно говорить скорей о самоотверженных, но обреченных усилиях?..

Он об этом достаточно думал и прекрасно писал сам:

Кому и что я докажу?..
Науку двигая свою,
Я больше обществу даю...

И т. д.

Но в том-то и дело, что для него здесь все решали не рассудочные доводы, тут, как и во всем, была потребность органичная, внутренний императив. Он не просто размышлял о проблемах и трагедиях нашей жизни – у него болело от этого сердце.

И такая ли на самом деле правда в словах об очевидной обреченности стольких самоотверженных усилий, губительных порывов?

Да, в сцеплении мировых шестеренок каждое слабое действие может изменить ничтожно мало и так опосредованно, не сразу, через систему зубцов такой кратности, что усилия эти кажутся, в сущности, пропавшими – шестерни уже перемололи человеческую жизнь, не ощутив сбоя. Но только представить себе, что в жизни, которая была нашей жизнью, не прозвучало этих голосов – лишь репродукторная мертвечина. Была бы другая, более страшная, безнадежная, глухая жизнь – и другая история. Эти порывы и голоса, эти отчаянные усилия мысли, чувства, воли, меняли и меняют больше, чем объективную историю (облагораживая ее, входя в нее наряду с танками и репрессиями), – они меняют наши души. Как всем, растущим и развивающимся в изменяющемся времени, нам начинает в конце концов казаться, что мы до всего дошли сами, своим умом, – мы склонны забывать тех, кому обязаны своим развитием.

Герцен Копылов был одним из таких людей. Перечитывая его сейчас, убеждаешься, как много он понял раньше и глубже других – и как много в его размышлениях не устарело со временем.

У него был тихий голос, он держался в компании немногословно и незаметно – не просто было распознать в нем блистательно-остроумца, пронизательного, интеллектуально мужественного мыслителя, готового идти до конца в любом поиске, научном, литературном, жизненном. Но даже знавшие его по-новому оценили спокойное мужество этого мягкого интеллигентного человека, услышав после его смерти от врачей, что он не один год жил, в сущности, на грани, – удивительно, как столько еще выдержало это сердце.

8.09.1988

ПАМЯТИ НАТАНА ЭЙДЕЛЬМАНА

Натан Эйдельман умер, как жил – стремительно, точно споткнулся на ходу. До последнего дня он был деятелен, полон планов. Работоспособность его поражала не меньше, чем его память. Кто-то на похоронах заметил, что он один работал в силу научно-исследовательского института, сам оставаясь кандидатом наук.

Талант историка не просто счастливо сочетался в нем с талантом литературным: он воспринимал историю взглядом писателя, и она обретала человеческое измерение. Персонажи, знакомые нам из учебников лишь по именам да по датам жизни (а часто незнакомые вовсе), становились живыми людьми, с внешностью, характером и судьбой, вступали в личные отношения. Эйдельман видел их, слышал, знал их возраст, повадку и родственные связи, помнил их дни рождения, как иные из нас не помнят юбилеи близких, – он относился к ним заинтересованно и страстно, как ко всему в жизни. Может, это и был его главный – человеческий – талант.

Он жил необычайно интенсивно, щедро, он радовал и радовался сам общению – в дружеском ли кругу или в многолюдной аудитории. Его книги возникали не только из работы над источниками и материалами, а в немалой мере из этого общения, из разговоров с коллегами и друзьями – Эйдельман писал об этом сам в «Революции сверху»: «Откровенные российские разговоры – давнее, примечательное явление культуры, общественной мысли».

Таким явлением культуры, общественной мысли недаром становились и книги его, и публичные выступления; он оказывался общественным деятелем, практически о том не заботясь, – даже необязательное, казалось бы, письмо Эйдельмана незнакомому литератору, помимо его намерений и ожиданий, оборачивалось

общественным событием: он умел попадать не в бровь, а в глаз.

Все исторические, литературоведческие разыскания и размышления Эйдельмана вольно или невольно были проникнуты мыслью о наших днях, о современных проблемах. В «Революции сверху» он прямо сопоставляет века, чтобы «представить явления в их нерасторжимой связи»; он стремится понять живших некогда людей и одновременно извлечь уроки, необходимые «на новом витке исторической спирали».

Ибо Натан Эйдельман был убежден, что история все-таки может и должна чему-то научить, что в ней с определенной периодичностью развиваются аналогичные процессы, что за всеми ее неожиданностями и зигзагами проглядывают некоторые закономерности, позволяющие кое-что предсказать и в будущем развитии. Конечно, это отнюдь не закономерность простой экстраполяции, когда в будущее лишь как бы продлевается линия предшествующего развития. Наоборот, есть своя закономерность именно в зигзагах, колебаниях, поворотах.

В одном из последних наших разговоров Натан прокомментировал распространенные (и, увы, небезосновательные) пессимистические суждения о будущем: «Пессимист сейчас, конечно, имеет больше шансов на успех в аудитории, его доводы наглядней. Но я вспоминаю, как в Швейцарии один поляк спросил меня: а вы году в восемьдесят втором предвидели появление Горбачева? То-то и оно».

Был ли он сам оптимистом? Немецкий теолог Д. Бонхефер противопоставлял бездумному, поверхностному оптимизму оптимизм как жизненную силу, силу надежды, не иссякающей там, где отчаялись другие, как волю к будущему, которое должно зависеть от наших усилий, а не отдаваться на откуп противнику, как ответственность за дальнейшую жизнь. Я мог бы отнести эти слова к Натану Эйдельману.

Он любил говорить о смене поколений, которая каждые двадцать-тридцать лет влечет за собой исторические перемены, сопоставление чисел, «красноречивых дат». Одну из таких аналогий он распространял на себя и не раз говорил друзьям, что умрет на шестидесятом году жизни, как его любимый герой Карамзин. Ко-

нечно, шутя – но давно было замечено, что не стоило бы писателям так предсказывать свою смерть. А нам теперь – не стоит ли серьезней отнестись и к другим его предвидениям?

Он будто споткнулся на бегу. Но как велика была энергия движения! Книги, подготовленные им, продолжают теперь выходить после его смерти. Натан успел увидеть в этом году вслед за «Революцией сверху» «Мгновенье славы настает (Французская революция и русское общество)»; только что появился сигнал книги «За хребтом Кавказа» (о деятелях русской культуры в Закавказье); на подходе – «Первый декабрист» (о Вл. Раевском). Однако во всей полноте масштаб творчества и личности Натана Эйдельмана откроется нам, когда до читателя дойдет, думаю, главный труд его жизни. «Заметки историка» – так он называл свои многолетние, почти ежедневные записки о современности и истории, об учителях и учениках, о находках, встречах, беседах – а круг его общения был необъятен. Не раз за последние годы я уговаривал его отложить другие дела и привести эти заметки в порядок. Что-то им было сделано, что-то вошло в книгу «Первый декабрист» – но главная встреча с Натаном Эйдельманом нам еще предстоит.

Он еще многое скажет нам. Мы еще долго будем слышать его голос, наслаждаться его беседой.

14.12.1989

ТРИ ЕВРЕЯ

Сколько время?

Три еврея.

Дразнилка времен детства

Три близких мне человека в разное время покончили жизнь самоубийством. Три поэта. Три еврея. Последнее обстоятельство странным образом имело отношение ко всем трем смертям. Для всех троих речь шла о возможности отъезда – или отъезде в Израиль.

Илья Габай выбросился с балкона своей московской квартиры, так и не воспользовавшись этой возможностью. Тоша Якобсон повесился на собачьем поводке уже в Иерусалиме. Юра Карабчевский принял смертельную дозу снотворного, вернувшись из Израиля в Москву.

Их многое объединяло. Все трое остро ощущали и осмысливали свое еврейство, но от сионизма были одинаково далеки. И не менее остро ощущали они свою связь с русской культурой, русской литературой, русским языком.

1

В пору, когда власти все шире стали открывать ворота в Израиль, чтобы выпустить, наконец, слишком уж перегретый пар и избавиться от неудобных людей, Илья Габай отбывал срок за правозащитную деятельность в Кемеровском лагере. Я написал ему туда об одном нашем общем знакомом, который в числе первых использовал этот путь. (Человек, кстати, был вполне русский и даже

с антисемитскими заскоками.) Илья отвечал мне 16.11.1971 г.: «Трудно поверить, чтобы он когда-нибудь смог кровно воспринимать сионские боли. Я тоже, наверно, не смог бы, – а без этого как же жить там?»

И это говорил автор «Еврейских мелодий», автор «Зарубабеля» и «Книги Иова»! Но не в том даже дело. Подобной проблемы не существовало не только для тех, кто возвращался на историческую родину из чужеземного рассеяния, но и для сотен тысяч других, кто уже, ощутив возможность, начинали рваться за какую угодно границу, лишь бы вырваться из советского существования, и кто теперь живет по всему миру, с сочувственным недоумением оглядываясь на оставшихся.

Однако эти слова, мне кажется, не меньше говорят о еврейской сути и еврейской драме, чем беспроблемная цельность тех же сионистов. Габай своими словами угодил в суть. Для такого человека, как он, речь могла идти не о благополучии и безмятежности, а о подлинности существования, об отказе от каких-то насущных жизненных ценностей без убежденности в обретении новых. Не для всех, но для определенного типа людей эмиграция – то есть не просто переезд в другую страну, естественный для людей в нормальном мире, а отъезд вынужденный – это все-таки отчасти поражение, перелом жизни, катастрофа.

Тем более тогда, в начале семидесятых, когда за граница была для большинства – и вовсе не для тех, кто верил советской пропаганде, – чем-то совершенно неизвестным, чужим. Это сейчас я, побывав во многих странах, могу мысленно примеривать: смог бы я там полноценно жить и работать? А почему бы нет? Не смогу – вернусь. Тогда же отъезд представлялся чем-то окончательным, непоправимым; слово Запад обретало тот же смысл, что для библейского Иосифа: это был Египет, то есть царство мертвых, куда уходили безвозвратно.

А в нашем дружеском кругу к добровольной эмиграции многие относились еще и в принципе неодобрительно; одним из таких был поэт Давид Самойлов. Эти настроения тоже играли свою роль.

В августе 1973 года мы с Габаем провожали в этот путь очередного нашего товарища – Тошу Якобсона. (Каким знаменатель-

ным видится теперь это совпадение!) У самого Ильи к тому времени давно уже лежал вызов от мнимых израильских родственников, он продлевал срок его действия, но воспользоваться медлил. Между тем во время продолжавшихся вызовов в КГБ его все откровенней подталкивали к отъезду. В тот вечер, уединившись со мной на какой-то момент, Илья вдруг сказал:

– Может, и меня придется скоро провожать.

Он не переставал об этом думать. Потом мы шли вместе с друзьями по ночной улице. Илья усмехнулся:

– Государство Израиль, допустим, не вызывает особого желания туда поехать. Но дело в том, что наше государство очень уж вызывает желание отсюда уехать. И оставляет для этого единственное отверстие... анальное отверстие... Если бы три года назад мне дали выбор: туда или в тюрьму, – я предпочел бы в тюрьму. А сейчас предпочел бы все-таки погулять на вольном воздухе, где-нибудь в Вене или Брюсселе... Так ты меня не придешь провожать? – спросил он Ю. К., продолжая, видно, какой-то разговор.

– Нет, – ответил тот довольно резко.

Боже, почему мы тогда так говорили? За день до смерти он сказал близким, что все-таки решился уехать. Почему вместо этого он бросился со своего балкона на одиннадцатом этаже? У самоубийства не бывает одной-единственной причины, мне еще не раз придется об этом задуматься. «Порой мне кажется, что отъезд оказался бы вариантом отсрочки – не представляю его там», – написал я без малого три года спустя после его гибели.

Я тогда и вообразить не мог, чем обернется на самом деле отъезд для человека, которого оба мы однажды провожали, – для Анатолия Якобсона.

2

Якобсон сам подробней других документировал свою историю в дневниках, письмах и записанных разговорах. По его собственным словам, он свое еврейство переживал очень интенсивно с ранних лет, но в его творчестве – не в пример Габаю и Карабчиев-

скому – эта тема не отразилась никак. Уезжать он не хотел, из страны его выпирал КГБ, но, может быть, решающую роль сыграл сын Саша, рвавшийся туда. В последние месяцы перед отъездом я не раз встречался с ним и слышал, как по-мальчишески безапелляционно разглагольствует Саша – этаким идейный израильский комсомолец. Тоша улыбался с видом извиняющимся и влюбленным: он мальчика боготворил. И он страдал, зная, как отрицательно к планам его отъезда относятся самые близкие ему люди – Давид Самойлов и Лидия Чуковская.

(Уже после его гибели в посвященных Якобсону стихах Самойлов заметил, что выбор-то был между эмиграцией и лагерем: «Но кто б ему наколдовал баланду и лесоповал?» Лидия Чуковская против этих строк приписала: «Я бы наколдовала».)

Лучше любых суждений со стороны – его собственные попытки изнутри разобраться в своей драме. В письмах из Израиля он говорил об этой стране восхищенно: если уж уезжать, то только сюда. «Так или иначе, я еврей. Я всегда знал, что я еврей. С детства. Я не считал, что это хорошо или плохо. Стало быть, я всегда любил Израиль... Что меня роднит с этой страной? Казалось бы, ничего... К культуре этой я непричастен... Государство – единственное, что меня привлекает. Ибо это сила, которая защищает евреев. И другой силы в мире нет и быть не может...»

А потом, после еще нескольких рассуждений: «Короче, все меня привязывало к России. И если проделать совсем уже беспощадный психологический эксперимент и задать себе вопрос: «А если бы у тебя, Якобсон, не было сына, который нас как бы взял всех и за веревочку привел в Израиль? Уехал бы ты из России или нет?» На этот вопрос, будучи честным, я ответить не могу».

И объяснив еще раз, почему на такие темы невозможно гадать, столько в каждом конкретном случае сходится всяких «за» и «против», вдруг без особой логики заключает: «Думаю, что не уехал бы, если бы не сын».

Дело-то для него было не в том, хорош или плох Израиль. Он называл его «прекрасной чужбиной» – но все же чужбиной. «Люблю Израиль, – записал он в августе 1974 года, уже после тяжелой депрессии. – Намного ли больше люблю Россию? Да, намного.

Израиль люблю, как жизнь, т.е. не так уж сильно. Россию несравненно сильнее жизни. Там, там кости моих людей».

И 19 августа 1974 г.: «Повторяющийся, неотразимый сон про Россию, что вот в последний момент я не уезжаю, извернулся, переиграл; немислимая радость во сне («я самый счастливый человек в мире») – и кошмар пробуждения».

И четыре года спустя, незадолго до гибели: «Временами думается – и чем дальше, тем чаще, – что Израиль для меня имеет смысл только негативный: это антиосвенцизм, отрицание, невозможность Освенцима – все. А положительное – духовное – содержание жизни народа для меня не более важно и значительно, и весьма возможно, менее благородно, чем бытие народа португальского и бельгийского, чтобы не сказать – люксембургского».

После его смерти Майя Улановская, первая жена Якобсона, писала в Москву: «Ходят слухи, что Толю сгубила его несовместимость с Израилем. Это не так... Несовместим он был не со страной, а с жизнью.»

Наверное, здесь своя правда. У самоубийства не бывает одной причины, и чужбина могла называться иначе. Но вот что писал сам Якобсон в неотправленном письме Ю. Даниэлю – еще в мае 1974 г.:

«Уезжая, я чувал, что совершаю почти самоубийство. Оказалось, что без всяких почти... Известно, что люди выносят любое горе. Но не всегда, не все люди. Есть такие, которые не выдерживают смерти близких, разрыва с любимыми, крушения своих идей, оскорбления и т. д. Изгнание у разных народов и в разные времена было высшей карой, родом казни. Я убежден, что были люди, которые от этого умирали, как умирали от любви. То, что я пошел на это добровольно из-за каких-то соображений (ты знаешь их), говорит только о том, что я не знал себя...»

Израиль, собственно, здесь ни при чем, так было бы в любой загранице, попади я туда без надежды на возвращение... Ностальгия – дело естественное и болезнь многих, но каждый организм болеет по-своему, а бывают, видимо, исключительные, ненормальные, неизлечимые случаи. Что делать, если я именно такая, сверхпатологическая особь!»

Что тут можно добавить, кроме того, что такая «ненормальность» бывает сродни особой одаренности, тонкости, отличающей именно художников? И повторить вслед за Давидом Самойловым, посвятившим ему горестные стихи:

Убившему себя рукой
Своею собственной, тоской
Своею собственной, покой
И мир навеки.

3

Но Юра-то, Юра Карабчиевский! Ему-то посчастливилось дожить до времен, когда в Израиль можно было просто съездить – как в любую другую страну – и пожить там, и при желании вернуться, и съездить опять. Для него это было великой радостью. В отличие от Якобсона (и, скажем, меня), он еврейской темой болел, она была важнейшей и в жизни его, и в творчестве. Оказалось – в судьбе тоже.

Помнится, в октябре 1988 г. он пригласил меня на свой день рождения. Гостей было всего трое: кроме меня, Л. Баткин и В. Библер. Разговор коснулся национальной темы. Я высказался в том банальном, казалось мне, смысле, что для меня в человеке важней всего личные достоинства, а национальность – дело десятое. Не Бог вещь такая мысль; Библер и Баткин вроде бы согласно кивнули. Юра посмотрел на нас с искренним, недоверчивым удивлением: «Ребята, вы серьезно?» Для него национальность действительно значила куда больше, она была во многих отношениях точкой отсчета.

Стоит ли говорить, что это не означало никакого национализма, тут было прежде всего ощущение солидарности с теми, кто подвержен угрозе и преследованию. Юра был на редкость чуток к чужой ранимости. Не помню, в тот раз или в другой он рассказал про случай в Армении, в ереванской чайной. Речь тоже зашла о нациях, причем неодобрительно были помянуты русские. Караб-

чиевский вставил на сей счет замечание – и возможно, как это бывает в таких ситуациях, до присутствующих лишь тут дошло, что один из них – не армянин. «А ты сам кто?» – спросил один. «И я почувствовал, – рассказывал Юра, – как выигрышно было бы ответить: еврей». Это действительно обеспечило бы симпатию собеседников, хотя бы потому, что две эти нации ощущают общность исторической судьбы; Карабчиевский писал об этом в своей «Тоске по Армении». А главное, это была бы правда.

Хотя тоже не вся, в том-то и дело. Не зря же Карабчиевский ощущал себя русским писателем. Но главное, это значило бы отграничить себя от тех, кто стал в данный момент объектом недоброжелательства. Назваться русским? – тоже сомнительно.

– А вот не скажу, – ответил Карабчиевский.

Его национальное чувство было свободно от всякого высокомерия, всякого мессианства, тем более от всякой агрессивности. В Израиле его больше всего привлекли черты страны нормальной, такой же, как все, где живут люди вовсе не особенные, отнюдь не святые, гении и герои; ему как раз нравилось, что здесь есть и жулики, и проститутки, и пьяницы, и бюрократы, и просто дураки. Он любил именно этот простой мир. А уж жена его Светлана, мастерица выпить и выmaterиться, та просто купалась в этой жизни, наслаждалась ею и не хотела ее покидать. Она решила остаться в Израиле вместе со старшим сыном. Юра вернулся в Москву один.

Помню, как это меня тогда удивило: ведь это означало фактический развод с женой, которую, как мне казалось, он любил. Но в таких случаях непозволительно расспрашивать, вникать в подробности. Он предпочел одинокую жизнь в неустроенной, неблагополучной стране, где ощущал себя постоянно подверженным угрозе. Мысль о возможном погроме не оставляла его никогда.

Наверное, и тут не назовешь единственного объяснения. В одной из статей об Израиле, которые печатала тогда «Независимая газета», Карабчиевский воспроизвел, среди прочего, все ту же знакомую мысль: ехать в Израиль следует тому, для кого что-то значит национальная идея; он же смог бы там лишь доживать. Но может быть, важнее других причин было все-таки само-

ощущение русского писателя, чувство связи с языком и литературой. Его только начали, наконец, печатать.

Трудно сказать, как сложилось бы все дальше, если бы у Светланы не обнаружился вдруг рак. Юра кинулся в Израиль ее выхаживать. Лечение оказалось долгим. Приходилось искать заработки. Жизнь была во всех отношениях непростая. Вернувшись, он рассказывал мне, в частности, про свое тамошнее жилье с туалетом без дверей, где все пришлось чинить, вставлять, приводить в порядок, – он был, к слову сказать, человек мастеровитый, в Израиле его восхищало. среди прочего, еще и обилие доступных разнообразных инструментов.

Светлану удалось вылечить, он вернулся в Москву опять, на этот раз вместе с ней, потому что она теперь без него не могла. Вот где оказалась действительно неразрешимая драма. Последний раз я говорил с ним в конце мая 1992 года. Он был грустен, рассказывал, что жена и сын упорно уговаривают его уехать, а он не хочет. В то же время в России у него было чувство, что прежней страны уже не стало, что-то все больше теряется; приезжающие в Израиль, говорил он, теперь быстро излечиваются от ностальгии: не о чем жалеть, нечего вспоминать. Говорил, что пробует писать – наконец-то распрощавшись со службой, как мечтал всю жизнь. Впервые его не просто с готовностью печатали: он становился знаменит. А в общем, говорил, все в порядке.

Мог ли я – и кто-нибудь вообще – предположить, как близка катастрофа?

Когда это случилось, меня не было в Москве. Вернувшись, я стал расспрашивать общих знакомых, почему он так сделал. Насколько я мог понять, самым невыносимым оказалось давление семьи, не перестававшей требовать, чтобы он уехал. Для него, видно, это значило отказаться от чего-то, трудно объяснимого. Может быть, от самого себя.

Как, в самом деле, объяснить это тем, для кого самой проблемы никогда не существовало?

В одной из своих статей Карабчиевский писал, что истории

русского, да, видимо, и европейского еврейства приходит конец. С возникновением Израиля евреи диаспоры обречены либо на полную и все ускоряющуюся ассимиляцию, либо должны будут ощутить себя израильтянами, просто поселившимися по своей воле в других странах, но имеющими куда при надобности вернуться. А это означает конец многовековой проблематичной жизни среди чужих, жизни, которая порождала неразрешимую напряженность с окружением, требовала особых качеств для выживания и, может быть, порождала некоторые особые достижения еврейства. Евреи перестанут ощущать себя избранным народом, станут, наконец, одними из многих – такими, как все. Якобсон – тот просто желал Израилю судьбы Португалии: «Тихая, невидная оконечность полуострова – и Европа... Вопреки эпохальным традициям... Это отказ от мировой роли, от мессианства...»

Может быть, может быть. По логике вещей похоже, что должно быть так. Но укладываются ли в общедоступную логику хотя бы три упомянутых мною судьбы, три этих смерти? Нет ли в самой странности этих драм чего-то не менее важного для еврейской сути, чем открывшаяся – а может быть, кажущаяся возможность нормального, как у всех, развития? Вот уже звучат с разных сторон голоса, что у Израиля нет будущего и что евреям предстоит еще вернуться в диаспору. Не знаю.

На исходе второго тысячелетия после рождения одного из евреев мы знаем о судьбе и будущем этого племени не больше, чем два тысячелетия назад. (Как, впрочем, и о судьбе всего мира, но это другой разговор.) Подлинно верующий еврей не может усомниться, что относительно этого народа существует какой-то особый и вроде бы определенный замысел. Но кто скажет мне какой? Я с интересом выслушаю объяснение и, как положено еврею, с сомнением покачаю головой.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ВЛЮБЛЕННОСТИ

1. ОПАЛИХА

В октябре 1971 года, когда мы познакомились, Давиду Самойлову был пятьдесят один год – на шесть лет меньше, чем мне сейчас; но это был уже тогда знаменитый поэт. Меня привел к нему наш общий товарищ Володя Лукин, вызвавшийся показать мас-титому профессионалу рукопись моей повести «Прохор Меньшутин» (тогда она называлась «Сказка о Золушке»). Самойлов жил в ту пору на подмосковной станции Опалиха. После дождей развезло, мы кое-как дошли по грязи. Самойлов встретил нас на крыльце: в черной рубашке с закатанными рукавами, в замызганных грязью сапогах – только что ходил в лес. Удивила меня его седина (и щетина седая, небритая) – на известных фотографиях он таким седым еще не был. Между бровей бородавка. Мы посидели за бутылкой водки в прекрасной большой комнате с бревенчатыми стенами. В ней было тепло, сухо и удивительно легко дышалось. Большой рояль как будто не занимал места. Письменный стол, громадный – на многих гостей – обеденный стол, всевозможные свечи в подсвечниках, на стене портрет Пушкина – рисунок пером Нади Рушевой.

Говорили о том о сем. О Солженицыне, о Молдавии, где Давид незадолго перед тем побывал, о Польше, куда его не пускали в виде какого-то наказания, о сравнительных достоинствах русской водки, польской «выборовки» и венгерских настоек, о том, что в «Новом мире» собираются печатать поэму Цветаевой, а живых поэтов не печатают. Мне было в новинку услышать, что его, такого известного, тоже не печатают. Я думал, это лишь у меня так.

А в следующий раз я пришел уже в марте, когда Давид и его

жена Галя прочли мою рукопись, – и как же я был обласкан! Необходимость рассказывать об этом подвергает испытанию, наверно, не столько мою скромность, сколько чувство юмора. Но, во-первых, услышанное тогда мною вполне оказалось уравновешено впоследствии отзывами противоположного свойства, которые я тоже не намерен утаивать. Давид был человек увлекающийся, на моих глазах его оценки не раз менялись; он мог кого-то вдруг «назначить» в гении, а время спустя сам же разжаловал. Но главное, без этих похвал не понять моего тогдашнего состояния.

Достаточно сказать, что меня назвали достойным учеником Набокова. Я заметил, что Набокова впервые прочел, когда моя работа была уже закончена.

– Вполне может быть, – ответил Давид. – Вы могли и не читать Набокова. Он сам, например, утверждал, что не читал Кафку. Наверно, что-то кафкианское носилось в воздухе. И сегодня в воздухе носится что-то общее.

И еще о том, что мое описание провинциального городка чем-то напомнило ему быт Опалихи, он даже нашел в себе самом что-то близкое с Меньшутиним, а в своей шестилетней дочке Варе – что-то общее с Зоей из моей повести. «В какой-то миг даже страшно стало: откуда он про нас знает?..»

Впрочем, последнюю фразу, возможно, произнесла Галя; как это не раз бывало потом, говорили они вперебивку. Но мнения их не расходились; чувствовалось, что они это уже обсуждали. И говорилось все это, между прочим, при других гостях, неизвестных мне людях, которые уже смотрели на меня с интересом и уже просили рукопись почитать. Давид и сам стал называть имена разных знаменитостей, которым готов был меня рекомендовать (с кем он только не был знаком!), – хотя вещь сразу же объявил совершенно непечатной.

– И не потому, что антисоветская, – объяснил он. – Она просто несоветская. Воздух здесь какой-то другой. И мысли, и люди. Существует официальный термин, который употребил на совещании драматургов какой-то деятель ЦК: «неконтролируемые ассоциации». Нельзя, чтобы вещь вызывала неконтролируемые ассоциации...





Стоит ли говорить, что никаким знаменитостям я представлен не был (тем более что и сам отнюдь не рвался), ни до какого протезирования вообще за все годы нашего знакомства дело не дошло – не тот был случай. «Меньшутин» благополучно прождал публикации еще шестнадцать лет. Но разве это было для меня важно? Я получил нечто несравненно большее...

Тут вот ведь в какую всякий раз упираешься проблему: хочешь не хочешь, а совсем без упоминания собственной персоны даже в разговоре о другом человеке тоже никак не обойтись. Но надо же иметь представление и о свойствах воспринимающего объекта, чтобы хоть делать на них необходимую поправку. У Самойлова был необозримый круг знакомств; десятки, а может, и сотни людей могут оставить о нем воспоминания – и многие уже появляются, и каждый видит его со своей стороны.

Мне было ко времени нашего знакомства больше 34 лет – возраст уже куда как не юный; я годами что-то писал, но ни строчки не мог опубликовать. Испытавшие это знают, как много комплексов порождает такое состояние, как не просто бывает справляться с сомнениями и неуверенностью в себе – что бы ты сам о себе ни мнил или ни знал, как бы ни ободряли тебя доброжелательные друзья. Тем более что среди этих друзей не было таких уж литературных авторитетов. Но обращаться к «настоящим» писателям как-то не тянуло, возможно, из тех же самолюбивых комплексов. Друзья меня, впрочем, как-то сосватали к одному современному классику и во всех отношениях достойному человеку. Он отнесся к моим рукописям сочувственно, делал замечания, давал советы. Однако и замечания его, и советы скорей озадачивали меня, настолько они были «мимо» – как будто из другой системы координат. Да, если уж честно говорить, не так уж нужны мне были оценки и советы; вот если бы он меня порекомендовал в какой-нибудь журнал...

Так ведь и Давид, считай, никак мне в этом смысле не помог – но опять же: разве в том было дело! Он сделал для меня неизмеримо больше: он принял меня всерьез, на равных, совсем не как мэтр – и уже этим помог утвердиться в себе. Ни в чем другом я тогда так не нуждался. Уверенность в себе, в своей литературной

правоте важна ведь не только психологически: она сказывается и на творческом уровне. «Робеющий считать значительными свои мысли рискует остаться при робких мыслях», – я записал это в дневнике как раз в ту пору.

Но главным было другое: я соприкоснулся с личностью, типом мироощущения, способом отношения к жизни, прежде мне в таком качестве неведомыми. Я увидел человека солнечного, открытого, расположенного, не просто талантливое, блистательное умницу, но способного бескорыстно и увлеченно радоваться другому таланту – и при этом без всякой табели о рангах. Несмотря на разницу в возрасте, мы довольно быстро – где-то уже в первые месяцы знакомства – перешли на «ты», хотя какое-то время оба еще сбивались. Нет, он не стал для меня мэтром – и наверно, не только потому, что для этого было слишком поздно: мы были достаточно разными. Но я был им восхищен. Я думал о нем в первые месяцы неотступно, вел с ним какие-то мысленные разговоры; я рвался к нему в Опалиху и стеснялся приехать без приглашения, не созвонившись: ни у него, ни у меня тогда не было телефона.

Но как было не восхититься, когда вдруг приходило от него письмо:

«М. Харитонов!
Куда Вы (ты) девались?
Или Вы (ты) зазнались?
Приезжай(те).
Ваш Д.Самойлов
(особенно Галя)
Что-то мы соскучились».

И я бросал все дела, бежал покупать бутылку (и для Гали цветы) и мчался к нему в Опалиху.

В дни, когда я пишу эти строки, по какому-то знаменательному совпадению появилась публикация самойловских дневников как раз тех лет. Там немало записей об усталости от общения. Например, 22.02.1972 г.: «На общение и пьянство уходит много сил». Однако без гостей он скучал. В той же февральской записи,

дальше: «Но ведь я всегда общался и пил. А когда не пил и не общался, все равно не писал лучше и больше».

Как-то он пошутил, что в песенке Любоеда из его детской сказки «Кот в сапогах» выразилось это опалихинское настроение:

Я соседей распугал,
Съел друзей до одного.
Хоть бы в гости кто приехал,
Не заманишь никого.

Сколько моих знакомств и дружеских отношений началось в этом доме – доме, где умели наслаждаться застольной беседой как высоким искусством! Кажется, что он всегда был полон людей; мне и сейчас трудно понять, как на такую открытую жизнь хватало не то что средств – сил, и это при двух детях, один из которых, годовалый в ту пору Петя, от рождения был болезненным и требовал особых забот. Никогда и ни с кем я так хорошо не сидел, никогда не слушал столько стихов! Никогда и ни с кем я так не пил, пренебрегая всеми медицинскими запретами, – в душе уже запечатлелись слова о «химере самосохраненья» – и вот эти:

О, как я поздно понял,
Зачем я существую!
Зачем гоняет сердце
По жилам кровь живую.

И что порой напрасно
Давал страстям улечься!..
И что нельзя беречься,
И что нельзя беречься...

Словом, что говорить, я влюбился в этого человека. Наверное, в этой влюбленности было что-то не совсем по возрасту. Она порой оборачивалась разными неточностями поведения. Едва ли не во второй или третий мой приезд Давид предложил мне снять на лето дачу по соседству с собой, в Опалихе, и даже подыскал подходящую, и я даже сговорился с хозяином. Представить толь-

ко, сколько встреч и разговоров сулило такое летнее соседство!.. Не только обстоятельства заставили меня изменить планы – сработал некий инстинкт, может быть, инстинкт самосохранения. Словно я боялся утратить что-то в себе, чему-то поддаться.

Тогда я, пожалуй, не отдавал себе в этом отчета. Я говорил себе другое: надо сначала закончить «Этюд о масках», очередную повесть, над которой я тогда работал, – надо оправдывать и подтверждать такое отношение к себе. И в этом уже было, наверно, что-то ненатуральное, нервное. Интенсивность первоначальных отношений словно сбила какое-то простое равновесие. Я вдруг становился мнителен к оттенкам разговора, к перемене интонации. Вдруг начинало казаться, что я что-то не так сделал или сказал, был неправильно понят, чем-то даже его обидел, хотелось что-то исправить, объяснить, может, написать письмо. Хотя он-то скорей всего забывал обо мне и моих словах, едва я уезжал, и вовсе не перебирал, как я, в уме подробностей и оттенков разговора... Да, было тут, пожалуй, что-то болезненное – так ведь сама влюбленность, говорят, состояние отчасти патологическое.

Но я все-таки не о себе – тема существенна постольку, поскольку имеет отношение к Давиду. Он начал подшучивать над моими «комплексами» – опять, разумеется, в присутствии других.

– А у кого их нет, комплексов? – заметил как-то один из присутствующих.

– У меня, – мгновенно откликнулся Давид. – Я лишен комплексов начисто, от рождения, как бывают лишены слуха.

И в другой раз – тоже в ходе разговора о комплексах:

– Будь уверен в своей правоте, в себе. Что прав ты и только ты.

Я заметил, что о том же говорит Мандельштам: талант есть сознание своей правоты.

– Вот у кого не было определенности, – сказал вдруг Давид. – Он всю жизнь метался между иудейством и эллинством.

Тут я начал спорить (я полней, возможно, еще воспроизведу этот разговор в другом месте). Я начал говорить, что в этих метаниях между иудейством и эллинством выразилось по-своему великое мироощущение, что литература, созданная «комплексами», может быть великой...

Потом я еще продолжал этот спор по дороге домой и дома. Я перебирал имена людей, которых вряд ли можно считать совсем свободными от «комплексов»: Достоевский, Кафка, тот же Мандельштам, – и думал, что, пожалуй, не зазорно оказаться в такой компании. Может, в «комплексах» следует видеть не только слабость, может, они по-своему обеспечивают богатство и полноценность психической, а еще больше творческой жизни. «Лишен комплексов, как бывают лишены слуха», – формулировка по-своему красноречивая, не так ли? Может, в гармоническом, непротиворечивом восприятии мира тоже есть своя ограниченность...

У меня потом будет еще немало поводов поразмышлять на эти темы.

Мой «Этюд о масках», кстати, Самойлов принял, в общем, благосклонно, хотя с оговорками, тоже что-то о нем говорящими.

– Я понял, что мы в некотором отношении писатели прямо противоположного типа, – сказал, в частности, он. – Ты показываешь разложение, когда общество делает из людей маски. Я, напротив, хочу показать, как, несмотря на все, люди остаются людьми.

Были еще интересные рассуждения о масках в армии; записанной оказалась лишь фраза: «Но когда этих людей посылают на смерть, умирают они без масок».

Дело не в том, насколько справедливо отнести его слова ко мне. Мне-то самому кажется, что все написанное мной как раз было попыткой сопротивляться разложению, показать, как люди остаются людьми. Во всяком случае, я сознательно думал об этом, особенно в последние годы, когда обычным стало воспроизведение в литературе хаоса и распада едва ли не адекватными средствами.

(Сейчас вдруг подумалось: а не засела ли у меня в подсознании Давидова фраза? Не помогла ли она мне что-то для себя отчетливей сформулировать?)

Интересно другое. Тогда я еще не знал, что почти в то же самое время схожие слова были сказаны им В. Корнилову – они воспроизведены в упомянутом дневнике: «Тебя интересует деструкция жизни, а меня конструкция. Тебя – почему жить нельзя, а меня – почему можно» (запись 24.04.1973).

Тут явно чувствуется какое-то уже сформулированное общее убеждение, которое при случае как бы прилагалось к достаточно разным явлениям.

Читавшие мою повесть «День в феврале» обнаружат сходную сентенцию в разговоре Пушкина с Гоголем. Стоит ли говорить, что я никак не проецировал одного из нас на Пушкина, другого на Гоголя. Но все же не случайно я впоследствии посвятил эту повесть Самойлову. Что-то в ней отозвалось, что-то оказалось с ним связано: мотив бурного первоначального обожания, мотив невольного противопоставления... Там восторженный, дурно воспитанный, самолюбивый провинциал добивается каких-то проясняющих слов от своего кумира – и лишь много времени спустя, после совершившейся трагедии, до него доходит, что у человека, с которым он говорил, была своя драма, своя тайна и горечь, к которой он даже не способен был проявить интерес. «Ему-то какая печаль могла смущать сердце?.. Это был другой возраст, возраст старших, учителей, которых едва ли мыслишь в смятении и одиночестве; разговоры с ними выходят неумышленно корыстными, для себя – да и с чего бы наоборот? им-то чего ждать от тебя, ты ли им поддержка и советчик?»

Мог ли я в самом деле тогда, в 1973 – 1974 годах, когда писалась повесть, думать что-то подобное о Давиде? Ведь у меня в ту пору, пожалуй, и представления не было о его действительных проблемах, о каких-либо драмах и тем более одиночестве – чему-то еще лишь предстояло развиться, что-то стало приоткрываться намеками лишь в посмертно опубликованных строках. В этом смысле он был человек сдержанный, к откровенным излияниям не склонный – да и внешне, казалось тогда, у него было вроде все в порядке...

Вдруг вспомнился рассказ общей знакомой, какой благодарностью откликнулся Давид на ее доброе письмо по поводу опубликованного стихотворения. «Какие же мы, читатели, все-таки сволочи, – сказала она. – Нам в голову не приходит, что для него это может быть важно».

Мне, признаться, это тоже не приходило в голову. Он представлялся мне таким знаменитым, уверенным в себе, знающим

цену написанному им, что всякие слова по этому поводу казались излишними.

В своем нынешнем возрасте я, пожалуй, больше способен понять его, тогдашнего, чем себя.

2. РАЗГОВОРЫ

От Давида я впервые услышал про записки Л.Чуковской об Ахматовой, у него же потом впервые прочел рукопись.

– Чуковская воспитывалась в культурной семье, где понимали цену таким разговорам, понимали, что их необходимо записывать. И надо было, между прочим, самой что-то из себя представлять, чтобы удостоиться присутствия при разговоре Ахматовой с Пастернаком.

Он возвращался к этой мысли не раз, хотя сам этому правилу далеко не всегда следовал. В том же дневнике досадно бывает читать: «Долгий, интересный разговор с Н.» – и я-то могу представить, насколько это был действительно интересный разговор, – но редко цитируется хотя бы фраза. Разве что за той же Ахматовой он кое-что записал и в своих воспоминаниях о ней изрядное место уделил просто воспроизведенным без комментариев разговорам.

Меня-то убеждать было не надо, я записывал постоянно, по свежей памяти стенографическими значками; все цитируемые на этих страницах разговоры воспроизводятся по тогдашним же записям. И сейчас я сижу в некотором замешательстве над накопившейся бумажной грудой: кто это все разберет без меня? А там, право же, немало интересного. Попробую воспроизвести хоть немного из записанного, сокращая малосущественное или существенное лишь для меня (а также по большей части рассказы и суждения, которые нашли место в его собственной прозе) и, быть может, заменяя некоторые имена инициалами. Давид, правда, в собственных дневниках не стесняется называть всех своими именами – но это его право. Меня он не уполномочивал передавать свои застольные суждения о живых людях, нередко запальчивые,

особенно после выпивки. Но они бывают интересны сами по себе, безотносительно к той или иной личности, поскольку характеризуют самого Давида.

17.03.1972. «Когда наше поколение пришло с войны, мы думали: нас встретят с распростертыми объятиями. Отвоевались, сделали свое дело, теперь все пути открыты. А оказалось, все места уже заняты – людьми немного более старшего поколения, марксистами 20 – 30-х годов. И когда началась борьба с космополитами, мои сверстники поняли, что это для них шанс пробиться. И помогли топить тех, чтобы занять их место. Ведь среди этих космополитов, если уж так говорить, были самые сволочи, те, кто выжили в 37-м году и помогали бить предшественников. Вот тогда-то на их место пришли мои сверстники. Мое поколение, я считаю, самое сволочное поколение...»

О литературном начальстве. «Они страшно ущемленные люди. Даже удивительно: кажется, у них все есть: власть, привилегии, деньги, что угодно. Но они необычайно ущемлены. Всюду им чужды враги, за границей им нехорошо, все время какие-то комплексы. Страшная жизнь».

6.5.1972. В Опалихе местные жители уже начали отмечать День Победы, привинтили медали, пьянствуют. Заговорили о войне, о том, что люди, помнящие войну хотя бы с детства, отличаются по психологии от тех, кто родился после войны и ничего не помнит.

Давид вспомнил, как несколько раз встречали День Победы, начиная с 30 апреля. Объявляли, что война окончена, а потом опровергали. Какой салют устроили – на полный боекомплект. И как обидно было погибать в последние дни, в Берлине, в Праге.

– В общем, – вставила Галя, – как сказала твоя мама: хорошо, что тебя не убили.

– А какая тема: бабы после войны, – сказал Давид. – Невесты, которые остались без женихов. Бабы на войне. Вообще бабы и мужики на войне. Это совершенно другое сознание...

О местных жителях:

– Эти люди совсем потеряли совесть. Водопроводчик вымо-

гал у нас деньги, ничего не починил. А потом оказалось, что и чинить ничего не надо было – просто отвернуть один кран. Слесарь взялся чинить отопление, снял и унес все, что только можно было, теперь отопление совсем не работает. И при этом все хамски считают, что ты их эксплуатируешь, что ты не уважаешь физический труд, все жалуются, какая тяжелая работа, все требуют не только денег, но и разговоров... А в корне всего лежит ненависть к интеллигенции и хамство. В общем, иногда просто испытываешь взрыв классовой ненависти.

Почему у него не бывает денег:

– Я зарабатываю не так уж мало. Сейчас прекрасная кормушка для переводчиков – серия «Библиотека всемирной литературы». У них тираж 300 тыс. экземпляров. Сейчас должны выйти 17 томов с моими переводами. В месяц у меня выходит рублей 700. Но за службу дома всем этим ворам уходит рублей 100. Сам дом стоит много. Потом я даю маме, старшему сыну. Вот уже не пита не едено уходит масса денег. Потом, у нас всегда гости. Я сам человек пьющий. А главное, нерегулярность поступлений...

15.06.1972. Рассказ Самойлова, как он в 1953 вышел на пустынную улицу Кирова купить вина, чтобы отметить со старыми знакомыми смерть Сталина, и боялся, что его сейчас арестуют. А Слуцкий ходил на похороны, его там чуть не задавили. Незадолго до этого он спросил Слуцкого: «Ты любишь Сталина?» Тот подумал и сказал: «Люблю». – «А я не люблю», – сказал Давид.

Историю с выступлением Слуцкого по поводу Пастернака Самойлов объясняет так:

– Когда начался «ренессанс» в поэзии, Мартынов и Слуцкий были поэтами № 1 и № 2. Слуцкий из скромности поставил себя на второе место. Он всерьез говорил, что Мартынов – поэт сильнее Пастернака. Пастернак и Ахматова как-то выпадали из представления о ренессансе. И вдруг во все это непрошено вторгается Пастернак. Я помню знаменитую фразу Мартынова: он нам все нагадит. Мол, власти теперь испугаются, начнут давить – и пропал ренессанс. Этим и объясняется выступление Слуцкого. Он сильно потом переживал. Сразу же после того заседания, я по-

мню, он ко мне приходил. Он, в общем-то, за это уже расплатился внутренне. И что самое паршивое: какой-нибудь подлец Е. или С. всегда может его этим кольнуть: я-то не выступал.

26.06.1972. Давид по поводу речей Саши, сына А.Якобсона: «Мыслить категориями может только зрелый ум. Незрелый ум, начавший мыслить категориями, становится отвратительным».

По поводу моей статьи об иронии у Томаса Манна прочел из дневника очень умные мысли об ироничности христианства, верней, Христа, который был терпим и двойствен, в отличие от нетерпимых церковников. Вообще о христианстве и современных христианах, которые приходят к вере не закономерным путем, путем многолетней внутренней духовной работы, а воспринимая чужое.

Вдруг позвал меня к себе в кабинет, стал читать большую поэму, над которой сейчас работает. Очень сильная глава «Моление о сыне», намного сильнее всей поэмы.

18.07.1972. Самойлов читал начало своей статьи о Солженицыне, первоначально задуманной как письмо ему об «Августе», который ему не понравился; он даже считает его вредным. После того, как он упомянул об этом в письме Л.Чуковской, та рассказала о нем самому Солженицыну и передала от него Д.С. предложение издать все критические отзывы (которых много) неким самиздатским сборником, чтобы он ответил на них сразу. «Хитрый мужик, хочет выставить всех на избиение. Не говоря о том, что там много мест, которые не понравятся властям предрержащим...»

Разговор о том, что современные поиски в духовной области все-таки заимствованы (нынешнее христианство, в частности; Давид сейчас читает Вл. Соловьева). Он считает возможным появление большого мыслителя, философа и писателя, который осуществил бы синтез и предложил новое осмысление современного состояния общества. Пока все силы были затрачены на то, чтобы отделиться от прошлого; только недавно с этим было покончено.

2.08.72. Ехал на автобусе и загадал: будет номер билета делиться на 3, поеду к Самойлову, нет – не поеду.

Номер не совпал, но я поехал...

Давид встретил меня радостно: у нас два дня никого не было, сидим, как в берлоге. Он был в трусах, со старыми, тонкими, в узловатых белых бородавках, ногами, с большим животом, с седыми усами, которые начал отпускать и которых я так не любил, считая, что они делают его похожим на Безыменского.

– Хочешь английского джина?

– Не хочу, жарко.

– Зато я хочу. Нет в тебе чувства солидарности.

– Тогда и я хочу, – опомнился я.

На столе появилось полбутылки джина, но там оказалась вода.

– Я решил доказать Гале, что женщина все-таки глупа. Как может стоять открытая бутылка джина, и чтобы я не выпил? Я выпил ночью, и мне было хорошо.

– А воду-то зачем было доливать? – хмыкнула Галя.

Появилась новая, непочатая бутылка, отличный белый джин. Давид привез его из ЦДЛ вместе с цыплятами табака, шашлыком, орешками и прочим. Он сказал буфетчице: дайте мне что-нибудь для дома, для семьи – и взял пакет, который ему соорудили, не глядя.

Что нового? «Самым значительным событием за последние три дня была смерть гениального комика Енгибарова. Он умер 37 лет. Это был мим не ниже Марсея Марсо, прекрасный эквилибрист – и гениальный клоун. Я знаю женщину, которая была его первой женой, сейчас она жена прозаика В. Прозаик сманил жену у клоуна. Как она могла поменять гениального клоуна на рядового прозаика?»

Выпили за клоуна. Разговор пошел уже немного пьяный. Говорили о Белле как о клоуне. Я еще никогда не видел Давида таким разморенным.

– Я последнее время не мог работать. Переводы. А если я с утра посидел над ними, писать свое я уже не могу. Тем более что я не умею делать усилий.

Рассказывал, как читал Слуцкому главу о нем из своей книги, и

Борис принял ее с большим благородством, хотя там есть много горького для него. Кое с чем поспорил по частностям, засомневался: неужели я так говорил? Потом согласился, что мог и так сказать. «А я и не знал, что имел на тебя такое влияние. Я был провинциал, я всем завидовал».

Поговорили о Слуцком как прекрасном человеке.

Я довольно сильно окосел – от жары и на голодный желудок. Давид надписал мне книгу и вышел в сад жарить шашлыки.

Когда я вышел к нему, он играл с Петром.

– За что он меня так любит? Ведь я ему ничего хорошего не делаю, не кормлю, не меняю штанов. А правда, милый типус?..

Мы жарили шашлыки. Давид ушел в дом и вдруг вышел в коричневой куртке с целым комплектом боевых медалей и орденов: орден Красной Звезды, значок «Отличный разведчик», медали «За отвагу», «За взятие Варшавы».

– Я хотел произвести на тебя впечатление, – сказал он.

Остался у них ночевать. Утром Давид вышел веселый. Вдруг сел надписывать мне книгу. «Ты же вчера уже надписал». – «Забл...» Потом: «А я тебе рассказывал, что читал Слуцкому главу о нем?»

12.10.1972. Разговор с Самойловым, может ли талант быть жестоким и подминать других. (Я перевел разговор на своего Прохора.)

Давид: «Талант, как явление природы, как деревья, вода или солнце – не может никого подминать. Талант не может быть безнравствен, ибо по идее, по определению соотношен с представлением о бессмертии души – в отличие от дарования, которое есть ремесленная способность».

Рассказывал о своем пребывании в Тбилиси. «Зачем тебе ходить по городу? – говорил он Гале. – Видишь эту гору? Ну и достаточно. А ходить на нее незачем». И все время в Тбилиси провел за менявшимися пиршественными столами. Но при этом пишет прекрасные стихи о городах, в которых бывал.

Говорит, что в нем нет специального интереса к природе, его не тянет идти в лес, любоваться закатом, он не увлекается рыб-

ной ловлей или купаньем. «Я живу в природе», – говорит он – и пишет прекрасные стихи о природе.

«Стихи не пишутся, а записываются», – говорит он, но записывает тотчас и точно, и не только стихи, но и мысли для прозаической книги. За письменным столом у него рождаются лишь переводы – это действительно работа, которая высиживается за дом.

31.10.1972. Спросил у Давида, какое свое стихотворение в «Дне поэзии» он больше всего ценит.

– По-моему, там всего только одно стихотворение, – сказал он, – «Мне снился сон». А остальное – так...

8.01.1973. Приезжал ко мне Якобсон. Ни на минуту не мог присесть, все время ходил возбужденно... Он думает над отъездом в Израиль – ради сына. Для себя он ничего хорошего от этого не ждет... С Д. Самойловым у него по этому поводу было объяснение, дошедшее, как сказал Тоша, чуть не до истерики с обеих сторон. Давид, по его словам, не только лично привязан к нему, он в нем нуждается, потому что проверяет на нем каждую строчку своих стихов и своей прозы.

17.01.1973. У Самойлова. Читал мне три новых стихотворения и отрывок из прозы: о правдолюбцах, правдознатцах и праведниках. Умно. Ему сейчас предлагают печататься, но слишком много звучать он не хочет. «Мне достаточно двух-трех стихотворений в год, я не хочу 20 – 30». Написал несколько заявок на издание уже готовых стихов и переводов – надеется некоторое время прожить, не печатая ничего нового.

24.02.1973. У Самойлова... Разговоры о Якире и Красине... Ю. Даниэль говорил о том, что нельзя разделять нравственную сторону личности и дело, которое он делает.

Давид сказал:

– У этих людей всегда сильная табель о рангах. Они считали себя руководителями, вождями. Следовательно, наверно, сумел

повести с ними речь именно как с руководителями: мол, с вами ведут переговоры высшие уполномоченные со стороны государства. Им показалось лестно почувствовать себя высокой договаривающейся стороной.

Один раз он сделал оговорку: «Я, конечно, сам не сидел и не вправе судить...» Ю. Даниэль даже всплеснул руками: «Как ты можешь так говорить? Какое имеет значение, сидел человек или не сидел. Право судить определяется нравственным обликом человека...»

Из шуток Давида: «Я отпустил усы. Теперь у Слуцкого усы, у Левитанского усы – можно говорить о поэтическом направлении».

12.04.1973. Циля Израилевна, мать Давида, ревниво относится к его болезням. «У меня гипертония». – «У меня тоже, еще посильней». Но вот он чуть было не вырвался вперед: у него нашли катаракту, прогрессирующую; видно, придется делать операцию. Маму это на некоторое время озадачило. Но недавно в разговоре она произнесла: «Да, а что касается катаракты, так у меня их две».

1.06.1973. День рождения Самойлова. Я сумел освободиться поздно, приехал, когда все были уже пьяны. Давид вначале меня как будто не узнал. Он был в темных очках, его катаракта прогрессирует, на сильном солнце он совсем не видит. Заплетающимся языком читал стихи Копелеву.

Сказал: «Старик, я по тебе соскучился...»

Я переночевал у них... Утром зашли с ним в новый ресторан «Опалиха», посидели за рюмкой коньяку. Давид упомянул, что Якобсону не понравился «Ночной гость» и стал мне читать, комментируя. До меня впервые дошел смысл этих стихов: возможность найденной гармонии, которая так и осталась пока неопределенной. «В этих стихах я впервые позволил себе употребить ассоциации из прошлых стихов, не заботясь о том, поймут ли это читатели или нет...»

О Мандельштаме. «Мандельштам – первый поэт, показавший, что в России существует великая поэзия. Великая русская поэзия

стала складываться сравнительно недавно – лет 150 тому. Мандельштам первый овладел огромным богатством ассоциаций, созданных этой поэзией. Он первый стал писать знаками, как французы, у которых традиция накоплена издавна. Сложность Пастернака на поверку оказывается не такой уж сложной, ее можно расшифровать, исходя из самого же стиха (он на ходу объяснил какую-то сложную строфу Пастернака). Но когда Мандельштам говорит: «Я трамвайная вишенка страшной поры» – за этим огромное богатство ассоциаций...»

О Цветаевой. «Одно время она некоторым казалась сложнее Ахматовой, хотя как раз наоборот. Цветаева мне кажется холодным и рассудочным человеком, который искусственно себя возбуждает. Проза ее быстро надоедает...»

Он в хорошем состоянии, в мире с собой и с жизнью. Белль прислал ему в подарок книгу о Нюрнберге; он сейчас в США.

– Они все великие писатели, – хмыкнул Давид. – А я нет, но мне и так хорошо.

8.06.1973. У Самойлова. Остался у них ночевать. Утром разговор, в числе многого прочего о литературе.

Давид: «Есть два типа художников. Одни получают удовольствие от своей работы. Если их ругают, они думают: ну и дураки. Пушкин совершенно лишен параноидальных комплексов – как мании величия, так и мании преследования. В нем сочеталась гениальность с самочувствием и поведением обычного человека. Вот кто параноидален – это Р. Он не получает удовольствия от работы, а постоянно думает, что кому-то этим вставит фитиль. И колеблется между самоуничижением и непомерным честолюбием. Он артист, поэтому у него это проявляется особенно наглядно. Или вот М. Он отгородился в своей скорлупе, потому что боится мнений, оценок. И он создал вокруг себя окружение, которое его оберегает. «Ах, знаете, он такой ранимый!» По-человечески он несчастен. Легко говорить со стороны, но это, очевидно, дано от природы. Или В. Это несчастный человек. Для него любая чужая публикация – удар по самолюбию. Как будто все, что удаётся другим, отнимается у него...»

Я заговорил о Пушкине и о Гоголе.

Давид: «Выработались штампы в понимании литературного процесса. Старик Державин нас заметил и, в гроб сходя, благословил. А что было? Просто услышал на экзамене способного мальчика, похвалил, тем более что писал тот в его, державинском, духе. А никакой передачи лиры не было. Думаю, что и разговоры о влиянии Пушкина на Гоголя преувеличены. Они развивались самостоятельно... Пушкин мог приветствовать и поддерживать даже тех литераторов, которые ему были не очень интересны. Думаю, Гоголь был для него провинциальный писатель школы Наружного...»

3. ТРУДНОЕ ВРЕМЯ

Прерву на время цитирование: разговор исподволь подходит к другим временам, другому этапу его жизни. У самого Давида Самойлова было отчетливое чувство таких этапов: у поэтов они нередко документируются книгами стихов. Давно ведь замечено, что книга – все-таки не случайное собрание отдельных стихотворений.

«Формировался я долго, – можно прочесть сейчас в дневнике от 5.05.1977 г. – В 38 лет («Ближние страны») я еще – ранний Самойлов. Во «Втором перевале» – (43 года) я «средний». Только с «Дней» что-то начинается. А я все удивлялся, что нет признания (где-то видел в себе больше, чем было, и думал, что оно уже наличествует в стихе). Но публика – она не дура. С «Дней» и начала меня замечать».

Можно бы тут поспорить: его заметили и после «Ближних стран», и особенно после «Второго перевала». Но, пожалуй, время между книгами «Дни» и «Волна и камень» – как раз, когда я с ним познакомился, – было в самом деле порой наивысшего его расцвета. Он не поощрялся официальным начальством, публиковался не часто и почти каждый раз со скрипом – репутации его это лишь способствовало. Книг его было не достать, на вечера в ЦДЛ спрашивали билеты от самого Садового кольца...

Правда, едва ли не четверть зала казались мне теперь знакомыми – по встречам у Самойлова или по другим вечерам; это была отчасти «своя» публика. Тут, к слову сказать, была определенная проблема. Давид, как уже здесь было замечено, сам прекрасно сознавал, какими опасностями для трезвого творческого самоощущения чревата замкнутость в среде «своих», слишком уж безоглядно преданных, заранее восхищенных читателей.

В уже цитировавшейся записи 22.02.1972 г. после слов об усталости от общения можно прочесть: «Выход из круга прежних друзей, создание нового круга, новое самосознание». Я в самом деле мог убедиться, что лишь немногие из тех, кто упомянут был в дневниках предыдущих лет, появлялись теперь за опалихинским столом – у него и в этом смысле было чувство, а верней, четко сформулированное осознание некоего нового этапа.

И вот снова что-то менялось, начинало как бы себя изживать. Отчасти, конечно, дело было в возрасте и ухудшавшемся здоровье; он уже не так хорошо выдерживал прежние нагрузки. Я еще застал времена, когда выпивший Давид не особенно отличался от трезвого – был так же умен, воспринимал собеседника и отвечал за свои слова. При всех физических недугах психологически он был устойчив невероятно; наутро после бурного застолья садился за работу как ни в чем не бывало. Последнее время его, выпившего, все чаще «заносило»: «А я говорю, что никакого отчуждения нет! Все это вздор!» Или: «Т. не может хорошо писать. Ты посмотри, как он ест. Он ест как человек, которому надо выкакать то, что он съел».

Впрочем, так все чаще случалось, увы, не только после выпивки. А. Якобсон как-то сравнил мысль Самойлова с танком, который прет напролом, сметая возражения и преграды. Он всегда любил (если не говорить о стихах) формулировки четкие и даже категоричные – эта категоричность начинала мне порой казаться чрезмерной, в ней появлялся оттенок вещания, все чаще хотелось с ним спорить, но все меньше это имело смысл. Он нуждался в собеседнике, но скорей для того, чтобы отточить собственное, уже непоколебимое убеждение. И мнение свое умел внедрять.

Но, может, тут дело было скорей во мне. Я переболел первоначальной безоглядной увлеченностью и становился поневоле критичней. И самым-то главным, самым трагичным было другое – он все ощущимей слеп.

Мужество, с каким он переносил и саму болезнь, и угрозу утраты зрения, было поразительно; жаловаться он себе не позволял. Ему пришлось перенести не одну, а серию операций, исход каждой был под вопросом. Я навещал его в больнице. Доходили сведения, что он написал завещание, – и тогда все сжималось внутри, и я понимал, что значит для меня этот человек.

Между тем летом 1973 года у него родился сын, Павел. Мы встретились с ним в роддоме у Гали, расцеловались.

– После Петра мне не советовали ребенка, – сказал Давид. – Но я фаталист...

Требовалось все больше работать, чтобы прокормить семью, а работать становилось все труднее. Некоторые записи тех лет открывают кое-что в тогдашнем его самоощущении*.

«Ощущение клячи, безнадежно тянущей воз. Нужно думать о деньгах и прочем. Ощущение тупости в мозгу» (11.05.1974). «Видимо, жизнь моя сейчас может состоять только в зарабатывании хлеба насущного. Большое семейство и здоровье заставляют отказаться от всех остальных планов» (30.10.1974). «Настроение тяжелое. Чем дальше, тем труднее работать, чтобы обеспечить семью. На остальное времени нет. Стихи как будто вовсе отпали. Надо мной властвует волевой момент: надо! А я иногда кричать готов: не могу» (16.06.1975). «Пробовал сочинять стихи и понял, что не могу выдать того усилия, которое, оказывается, требуется при сочинении простейшей строки. Недаром врачи запретили Ахматовой сочинять после инфаркта» (18.07.1975).

* Надо только иметь в виду, что в дневниках вообще фиксируются чаще моменты слабости и уныния, чем моменты ровного самочувствия. И это понятно: дневник в известной мере служит психологической само-терапии. Смутные тревоги, сформулированные и проясненные словом, начинают казаться не столь серьезными, не столь гнетущими; слово помогает овладеть своим состоянием. «Дневники чаще всего напоминают прерывистую кривую барометра, который регистрирует лишь моменты самого низкого давления, а высокое не отмечает», – пишет Макс Брод по поводу дневников Кафки.

Тогда я этих строк, конечно, не знал. Кое-что прорывалось лишь иногда, намеками, по настроению. На необходимость заниматься переводами, например, он, в отличие от многих (от меня в том числе), как правило, не жаловался, наоборот, уверял, что переводы в свое время помогли ему «нарастить поэтические мускулы».

И внешне – для других – продолжалась как будто прежняя жизнь. Он сам еще поддерживал эту инерцию. «Жить в пробирке я не умею и не хочу. Это значит только беречься, не писать стихов, не пить вина, т. е. быть машиной для удобства окружающих, вроде стиральной машины», – записано там же, в дневнике 10.06.1974 г. Можно, конечно, покачать головой над тем, что в один ряд оказались поставлены вино и стихи, но смысл-то ясен.

В мае 1975 мы с друзьями перевозили его имущество из Опалихи в новую квартиру на Пролетарском проспекте. Перед тем, как занести рояль, грузчики устроили хорошо, наверно, известный спектакль: стали говорить, что рояль невозможно поднять по узкой лестнице. Мы по интеллигентской своей неопытности не сразу поняли, что они просто вымогают дополнительные деньги, стали вести какие-то нервные переговоры: не оставлять же было рояль на улице. Давид сидел в еще неустроенной комнате мрачный, не желающий ничего знать обо всей этой мерзкой суете. Переезд вообще получился нервный, чересчур поспешный; в Опалихе пришлось оставить не только часть вещей, но и часть архива, многое пропало. Наконец, мы сообразили, что от нас требуется, и грузчики чуть ли не бегом, как перышко, внесли рояль через все этажи...

Воссоздать на новой квартире Опалиху не удалось, это было и невозможно. Слишком многое изменилось, Давид прежде всего. По-настоящему новым домом стал для него уже лишь дом в Пярну.

21.06.1973. Давид все больше слепнет. Приезжала Л. К. Чуковская, привезла лупу с сильным увеличением, толстые фломастеры, чтобы лучше было видно написанное, обещала похлопотать насчет хорошего врача.

19.09.1973. Давид совсем ослеп. Переутомил второй глаз и

теперь просто ничего не видит, писать не может совсем... И при всем этом такой же веселый и открытый. Через месяц ему должны сделать операцию, сначала на одном глазу, месяца через три на втором... Жалуется, что потерял свою лабораторию: есть строчки, обрывки, которые, может, плохи и никогда не пойдут в дело, их трудно диктовать даже Гале, это интимные вещи. Кое-что он все-таки ей диктует. Предложили ему магнитофон, он сомневается, что сможет говорить вслух: некоторые вещи вслух не произнесешь, это интимно.

Сочинил стихи про слепого:

Поводырь ведет слепого

Любопытного такого.

– Что там, что там, поводырь?

– Это город Алатырь.

Очень скоро он отключился, пробовал читать, с запинками, стихи. Говорил, что Л. Чуковская особенно оценила строчки: «Не склоняй доверчиво слуха к прозревающим слишком поздно».

– Я не люблю прозревающих слишком поздно.

Та же мысль и в его главе о Пастернаке: человек формируется однажды и навсегда, время уже ничего не изменит.

Я попробовал ему напомнить, как он хвалил В. Максимова именно за мысль: никогда не поздно начать сначала. Но говорить с ним нормально было уже невозможно.

В подпитии о Есенине:

– Негодяй, хам, сволочь, от него пошло все хамское и сволочное в нашей поэзии – но поэт гениальный!

8.11.1973. Навестил Давида в больнице. Говорили главным образом о Габае. Он настойчиво, после каждой реплики повторял мне: «Я считаю, ты должен написать о нем. Стихи его, которые я прочел, показались мне не поэзией, но личность это, видимо, была замечательная. Это гораздо более важно, чем стихи. Если бы у меня был такой прототип, я бы отложил все дела и сел писать о нем. Житие праведника – не правдоискателя и не правдолюбца

(он напомнил о своем подразделении; сказано это было в ответ на мое разъяснение, что Илья сам понимал тщетность своих усилий, но действовал независимо от этого) – это сейчас нужней, чем когда бы то ни было. Тебе придется затронуть вопросы, касающиеся многих других людей, без этого не обойтись».

И опять: «Я считаю, ты должен отложить все остальное и написать о нем. Может быть, немного».

Я попробовал ему объяснить, как понимаю стихи Габая, напомнил о связи с традицией пророков, прочел «Язык псалмов, пророчеств, притчей».

– Ну и очень плохо, что он сам выбрал себе школу. Когда поэт говорит, к какой школе он принадлежит, – это плохо.

Я принялся объяснять, что он не выбирал, а лишь задним числом констатировал свою связь с определенной традицией. Вот Мандельштам, например, написал о своей привязанности к немецкой речи...

– Мандельштам в 17 лет написал: «На стекла вечности уже легло мое дыханье и мое тепло». Это мироощущение сильнее, чем «язык пророков».

8.12.1973. Поехал к Самойлову. Он выглядит хорошо, врачи обещают 100% зрения, но полгода надо будет беречься, не пить, не поднимать тяжестей. Быстро устает. Говорили о слухах, будто Сахаров собирается уезжать. Давид относится к этому неодобрительно. У Сахарова была уникальная и очень сильная позиция, он был моральным судьей, защитником, и вдруг окажется, что результат всего – устройство своей судьбы...

Читал ему стихи Ильи. После молитвы Бога («Не предавай меня, Иов») он сказал: «Это интересно». «Волхвы» тоже местами нравились. Но в целом отношение не изменилось: это прекрасный человек, но нет «шкуры», живота; он по устройству своему не поэт. Слова у него взаимозаменяемы. Разговор о близости к библейской традиции отвергает. «Нет, в Библии непосредственная мощь, и это крепко сделано. А тут интеллигентские размышления. И ссылка на Радищева не верна, у Радищева не было косноязычия, у него был мощный, действительно библейский язык, недаром

им так восхищался Пушкин. Он просто старомоден, это другое дело. Но в любой прозе об этом человеке стихи Габая будут звучать чрезвычайно убедительно...»

30.12.1973. У Самойлова... Он говорил о Мандельштаме, которого сейчас читает. Очень ему не по вкусу различное самоощущение Мандельштама. «И нападки на власть, на время, на людей за то, что не признают его гениальности. Он в 17 лет написал: «На стекла вечности уже легло мое дыханье и мое тепло». А в «Четвертой прозе» стал ругаться за то, что ему не воздают по заслугам. Ахматова не ругалась. Пастернак не ругался. Не было у него аристократизма. Ругается на бедного Горнфельда всякими словами, хотя, в сущности, сам виноват. Нет, стихи его прекрасны, но чем дальше, тем больше в нем неприятного. О письмах я не говорю. Почему он набрасывается на Иван Ивановича за то, что тот не понимает его стихов? Если не понимает, незачем с ним разговаривать, и не виноват он, что не понимает...»

3.05.1974. У Самойлова... Его сборник подвергся сильному цензурному вмешательству, выкинули «Ночного гостя», еще раньше «Блудного сына»; «Поэт и гражданин» называется теперь «Поэт и старожил». Давид переживает, но соболезнований не слушает.

– Если хочешь печататься в этой стране, надо делать выбор. Почему мы должны ждать лучшего отношения от власти, к которой сами не сделали навстречу ни одного шага?

О Даниэле, книгу которого мне дал:

– Литературной фактуры у него нет, но личность чувствуется и подтверждается. Он не политик, не правдоискатель и не правдолюб, но у него есть ощущение нравственного порога, дальше которого нельзя. Этот звоночек, зуммер у него очень четко работает.

8.06.1974. Читал своего «Гоголя»* вслух Давиду. Он принял это всерьез, но хочет перечитать.

1.06.1975. День рождения Самойлова. Впервые он жаловался:

– Хреновое у меня состояние, никогда так не было. Совершенно не получается работать. Мне надо недели две спокойно пова-

* Повесть «День в феврале».

лжаться на диване, чтобы пошло. А у меня нет такой возможности. Мне говорят: надо писать. А я не могу. Очень хреново. Заработки-то, конечно, я делаю, а работать не могу.

17-16.07.1975. Поездка из Нарва-Йыэссу в Пярну* к Самойлову... Давид лежал больной, с рассеченным лбом: несколько дней назад в номерах семейных бань у него поднялось давление, он потерял сознание и ударился лбом о дверь. Сейчас приходит в норму, пытается снова работать.

Прочел у него воспоминания Чуковской об Ахматовой.

– И какой у нее интерес ко всему, – сказал Давид, – как она судит о политике! Никакой отрешенности от жизни. Какая постоянная энергия и отточенность мысли, постоянная работа. Вот собрались Ахматова, Чуковская, Эмма Герштейн – какие были разговоры! А о чем могут говорить, собравшись, В. с Е.?.. А ты заметил, как Анна Андреевна ценила читателя, возможность говорить с ним? А какой-нибудь А. Н., вертевшийся возле нее, мне говорит: «Как вы можете печатать свои стихи и выступать перед аудиторией? Мне достаточно 2 – 3 читателей». А Ахматова понимала, что оторванность от читателя – трагедия для писателя.

А ты заметил, как она пишет: не может быть поэта без техники? Галя, ты заметила?.. А тут мне М. начинает говорить, что дело не в технике, достаточно взлета таланта...

И вот говорят: аристократка, королева. А она самого простого происхождения. Из небогатой семьи. Просто она сама так держалась, так себя поставила.

О сохранении преемственной интеллигенции. Давид повторил свою мысль о несогласии с Солженицыным: оставалась и остается средняя прослойка интеллигенции, которая сохранила традицию культуры.

– Высший представитель интеллигенции сейчас – Сахаров. Пусть он, может, и не так хорошо разбирается в искусстве или литературе...

– Я убежден, что нельзя научиться понимать искусство. Это должно быть воспитано с детства. Человеку нужна среда. Не обя-

* Этим летом Самойловы впервые отдыхали в Пярну и тогда же приехали для себя там дом. Я отдыхал в другом конце Эстонии, в Нарва-Йыэссу.

зательно, чтобы он что-то писал или делал, – нужна атмосфера разговоров, уровень.

12.10.1975. Давид приехал от друзей сильно пьяный. Странный разговор. Иногда он садился за рояль.

– Надоело все, – повторял он время от времени. – Надоело. Я медведь, ты понимаешь, Марик? Я медведь, и мне ничего не надо. Только написать поэму «Снегопад» и можно умирать. Надоело все.

Потом опять:

– Мне никого не нужно. У меня никакой табели о рангах. Мне нужно 10 – 15 человек... Я тебя люблю, Ю., В., мне это поколение нравится. А больше я не хочу ничего.

Вдруг взял лист бумаги, стал выстраивать окружающих по степени любви к ним. На первом месте оказался, конечно, Петр, я – где-то на пятом-шестом.

– А Тоша уже никакого места не занимает? – спросил я.

– Никакого, – ответила за обоих Галя.

22.10.1975. Давиду очень понравилось переданное мной «мо» Гершуни: «Достал «День поэзии»? – А что там? – Самойлов, «Письмо к вождям»*».

Разговор об интеллигенции.

– Со времен Чехова существует убеждение, что русская интеллигенция должна испытывать чувство вины перед народом. Я, может, первый из нашего поколения, кто не испытывает никаких этих комплексов. Я соль русской земли. Интеллигенция. Пусть мне народ кланяется, а не я ему за то, что он меня хлебом кормит. Тем более что он меня и не кормит. А чем не докормит, у Америки купим... (Это говорилось уже в сильном подпитии.) – Кому я должен кланяться? Дяде Васе? У меня нет никаких комплексов...

Заговорил о Мандельштаме.

– Вот у кого не было определенности. Он всю жизнь метался между иудейством и эллинством. Последние его стихи мне очень нравятся: «Мне на плечи кидается век-волкодав» – это замеча-

*Речь шла о поэме Д.Самойлова «Струфиан», где отчасти пародировалось солженицынское «Письмо к вождям».

тельно. Он очень изменился к концу жизни. А вот Ахматова не изменилась.

Я все время спорил. И что Ахматова менялась гораздо больше. И что в этих метаниях между иудейством и эллинством выразилось по-своему великое мироощущение. Что литература, созданная «комплексами», может быть великой. Что стихи с ощущением эпохи появились у Мандельштама не к концу жизни, а были всегда...

Давид сказал, что для него Ахматова неизмеримо выше Мандельштама. Составил перечень гениальных поэтов: Маяковский, Ахматова, Пастернак, Хлебников. Цветаева туда не вошла, ее он поставил во второй ряд вместе с Заболоцким, Ходасевичем, Кузминым.

Очень резко отозвался о книге Синявского («Голос из хора»). Она показалась ему отвратительной...

– Лучше всех сформулировала Лидия Корнеевна: «Кого любят, того не покидают». – (Он повторил эту фразу несколько раз.) – Я разлюбил Толю Якобсона, он для меня не существует. Кого любят, того не покидают. Человеку, который способен написать: «Россия – сука, ты мне за это ответишь», – там и место. Там, в эмиграции, привыкли на все смотреть через жопу. Он эстет, сноб, ему все равно, где собой любоваться... Был процесс Синявского – Даниэля, сейчас он стал процессом Даниэля – Синявского.

Дал почитать повести Е. Носова: «Вот это настоящий писатель. У него есть уверенность». Я стал читать в метро: нет, это не для меня. И думаю: что же его три года назад пленило в моей прозе?

16.01.1976. Давид собирается поехать в Пярну оформлять покупку дома.

Разговор о современной прозе:

– Деревенская проза живет последнее десятилетие, скоро придет новое поколение, которое никогда не жило в деревне и не пережило процесс урбанизации, для них все это не будет звучать. Новое поколение будет ездить в деревню туристами. Деревенская проза сейчас сильнее, потому что деревенские проблемы решены. Сейчас можно написать и напечатать о том, что в деревне голодали и работали на истощение, как у Тендрякова («Три

мешка сорной пшеницы»). А попробуй написать, как эксплуатируют рабочих на заводе. Городские темы все еще не разрешены.

О переводе:

– Поэт всегда переводит лучше переводчика, который не пишет своих стихов. Так, Лозинский – тупой переводчик. Поэзию он переводил безобразно и «Божественную комедию» перевел плохо. Шекспира, «Двенадцатую ночь», я, с моим посредственным знанием английского языка, переводил, имея перед собой его перевод, и местами это был просто подстрочник. Он переводил, например: «Мне все равно», а я видел, что надо сказать: «Мне это до фени».

О разговорах с поэтом М.:

– Этот человек боится всего: властей, КГБ, победы левых, победы правых, системы, и весь от страха перекручен, постоянно врет. Слушаешь его, слушаешь, и очень даже интересно, потом вдруг думаешь: а ведь это брехня. Когда он был помоложе, это воспринималось как талантливое фантазирование, он очень талантлив, но теперь это неинтересно. Он сам перед собой выкручивается, боится; таковы и все его романы, и в стихах чувствуется.

31.01.1976. Я сказал Самойлову, что пробовал читать моего «Гоголя» глазами цензоров или членов редколлегии и не нашел ничего, почему можно было бы не пропустить*.

*В 1975 году зашел разговор о возможности впервые напечатать мою прозу: в «Новом мире» понравился «День в феврале», но требовалось снабдить его чьим-то авторитетным предисловием. Со мной посоветовались, кто бы мог это сделать, и я перебрал несколько кандидатур, которые тут же были отвергнуты, предложил Д. Самойлова. (Почему-то не сразу о нем подумал.) Он с готовностью согласился, только просил, чтобы текст написал я сам.

Оставь только места для эпитетов: талантливый, гениальный, это я сам впишу.

Я не без труда сочинил небольшой текст; помню, там цитировалась замечательная мысль Бахтина о «катарсисе пошлости» у Гоголя. Самойлов похерил все, оставив лишь несколько фактических данных, остальное все-таки написал сам, и мы стали ждать выхода журнала.

Странно, мы не всегда замечаем, как изменилась жизнь; мы забыли о временах, когда о публикации нельзя было говорить с уверенностью, пока уже готовый сигнальный экземпляр не будет подписан цензором.

– А ничего и не нужно, – сказал Давид. – Просто раз не похоже на других – этого достаточно.

О психологии начальства Союза писателей:

– В Доме литераторов для начальства есть бесплатный буфет. У меня все-таки не укладывается: и им не стыдно? Все же писатели. Вот в Доме творчества, в Малеевке, председатель Литфонда, вообще не писатель, административный работник, обедал не вместе со всеми, а в отдельной комнате. Так это еще понятно, он не писатель и в конце концов сам себя изолирует в гетто, теряет возможность общения – и кому он нужен? Во время поездок простые писатели едут в 4-местном купе, а начальство в двухместных. Они, избранные мной же, на мои же деньги едут. Это уже люди с извращенными ценностями.

Говорит, что готовит три новых сборника. Я спросил, а почему не сделать однотомник или двухтомник «Избранного».

– А мне не положено. У них точный распорядок, кому можно, кому нельзя. Секретарям Союза да еще Евтушенко можно, а мне нельзя.

Они с Галей только что приехали из Пярну, где купили дом. Показывали план. Я сказал: «Начинается новый период».

20.02.1976. Упомянул среди своих стихов неизвестного мне «Дезертира». Услышав, что я его не знаю, тут же прочел.

– Неожиданное стихотворение, – сказал я. – Меня всегда интересует, как возникают такие темы.

– Это стихотворение про Тошку Якобсона... – усмехнулся он. – Что мне самому нравится – что здесь, по-моему, удался верлибр. Верлибр очень трудно писать. А здесь не переставить ни одного слова.

Говорит, что хочет менять паспорт (на Самойлова вместо Кауфмана). «А то возникает много неудобств. Деньги переводят на Самойлова, в гостинице номера заказывают на Самойлова. Правда, у меня есть билет Союза писателей, где я Самойлов, но каждый раз приходится объясняться. Очень неудобно. И Варьке хочу поменять фамилию. Ей лучше быть Самойловой.

Заговорили о том, можно ли прожить на литературу без пере-

водов. Он стал подсчитывать: с 1958 г. у меня вышло 5, ну будем считать, 6 книжек. Общим объемом столько-то листов, столько-то строк, по 1 руб. 40 за строку, практически все прежде печаталось в журналах, все это перемножим... Получается примерно 100 – 120 рублей в месяц.

Я сказал:

– Но если бы ты не занимался переводами, ты бы больше писал своего. Душа все-таки занята.

– Нет, – сказал он. – Вот сейчас я вполне могу не заниматься переводами. Но больше, чем могу написать, не напишу. Я в год вряд ли пишу больше 500 строк. Это, конечно, индивидуальный случай. Есть люди много пишущие. Вот Евтушенко – много пишет. А Белка Ахмадулина не занимается переводами и все равно мало пишет.

Он член редколлегии «Дня поэзии», читает множество стихов. «До чего все плохие стихи. Никому не хочется писать». Я передал мнение Озеровой, которая читает самотек, что «земля рождает».

– В прозе может быть. А стихи очень плохие. Есть хорошая деревенская проза, а деревенской поэзии нет.

– Странно то, – сказал я, – что поэзии по содержанию проще обойти цензуру.

– Не скажи. «Наш современник» распутинскую прозу про дезертира напечатал, а мое стихотворение про дезертира не печатают. Хотя у меня куда более безобидно.

6.04.1976. Прочел Самойлову начало «Габая» (дальше он слушать не мог, был выпивши). Он заявил, что это самая лучшая моя работа. По пьянке наговорил кучу комплиментов, вроде того, что это второе в русской литературе житие – после «Жития Симеона Ушакова». «А ты знаешь, что такое быть в русской литературе вторым?» – и т. д.

8.04.1976. Вечером позвонил Давид. Он прочел до середины.

– Очень интересно. Ты молодец. Создается образ личности, образ поколения. Может, хорошо бы немного больше вещных деталей, аромата: портреты, описания, пирушки. Ты здесь скорей

концептуален. Это же повесть. Хотя ты явно любишь его, ты все же способен описать его объективно, как повествователь. Стихи его... но ты и не старался убедить, что это хорошо. Он, конечно, поэт по природе своей, но поэт без стихов. Бывает же музыкант без музыки, глухой, как Бетховен... В общем, это этапное произведение.

13.04.1976. Встретились в Гослите, Давид отдал мне «Габая». Получили деньги, зашли в ресторан у Земляного вала.

Из разговоров. О «Прогулках с Пушкиным» Синявского:

– Умно, талантливо, но... противновато. Неприязнь к традиционному пушкиноведению с его долбоебством понятна, оправданна. Но для меня, например, образец отношения к Пушкину – Ахматова. А он Пушкина готов через жопу ебать.

Заговорили о перспективах нашего развития. Я заметил, что от возврата к Сталину верхи должно бы остеречь чувство самосохранения: история чему-то учит и потому не повторяется.

– Я считаю, история вообще не повторяется, – сказал Давид, – и это доказывает, что Бог есть. Если бы событие могло повториться дважды, оно могло бы повториться бесчисленное множество раз, и это бы доказывало, что правы материалисты.

О солженицынском «Теленке» вдруг сорвалось: «Это житие хама».

В ресторане я заказал 250 грамм коньяка, он поправил: 300. «Никогда не заказывай неровные числа». После чего официантка прониклась к нему уважением и обслуживала нас особо предупредительно. «Это молдавский коньяк, – угадал он. – Он не так сладок, как армянский или грузинский». Потом мне пояснил: «С профессионалами надо показать свое профессиональное знание. А знаешь, как я угадал?» – «Как?» Но тут он перевел разговор.

– Ты, я вижу, не ресторанный человек. А я ресторанный. Я люблю самую атмосферу ресторана. Я предпочту пообедать в ресторане, даже если могу пообедать дома...

4. ВРОЗЬ

Это была одна из последних наших встреч перед отъездом Самойлова в Пярну, теперь уже в собственный дом. Начинаясь действительно новая глава в его жизни, для меня во многом закрытая. Мы встречались теперь лишь во время его редких приездов в Москву, да понемногу переписывались.

От одного из друзей я тогда услышал суждение, что жизнь в Пярну стала для Давида чем-то вроде полуэмиграции; она среди прочего избавила его от необходимости опасно вмешиваться в общественную жизнь. Пока он жил в Москве, для него это составляло известную проблему.

В дневнике Самойлова от 30 мая 1974 года есть запись о разговоре с молодым киевским поэтом И. Померанцевым. «Он говорил, что меня читают и, главное, уважают за позицию. Этим обязательно надо дорожить. И думать об этом на всяком жизненном повороте». Но в тогдашней сложной жизни поддерживать общественную репутацию бывало весьма непросто. Как-то он рассказал мне о разговоре с В. Максимовым, который был обижен, что друзья-писатели никак не поддержали его в его противостоянии властям. «А чего он ожидал?» – сказал Давид. Но вот исключили из Союза писателей совсем близкого человека – Л. К. Чуковскую. «Она на это шла, ожидала и т. д., – записывает Самойлов 10.01.1974. – Все же каждый раз тревожно и неприятно. Каждый раз вопрос: правильно ли выбрана линия? Не пора ли возопить?» И пытается обосновать для себя, почему он этого не делает. Тот же оттенок – в постоянной внутренней полемике с А. Солженицыным: «И тошно, оттого что сам так не умеешь, и смелость завидна, и какой-то мрачной гнилью веет от всего» (16.09.1975).

Однажды я завел с ним речь о возможности пристроить к нему в секретари только что вышедшего из заключения Илью Габая – но понял, что совершил бестактность. Много лет спустя, живя уже в Эстонии, он оформит своим секретарем тоже отбывшего срок И. Губермана – но это будут уже другие обстоятельства, другие времена – и между прочим, все-таки немного другая страна.

Нет, конечно, эмиграцией это можно было называть только в шутку. (Впрочем, само понятие теперь видоизменилось, мы дожили до времен, когда бывшие эмигранты получили возможность, живя в другой стране, навещать в метрополию, поддерживать с ней связь и даже печататься в Москве.) Как-то я написал ему шутивное письмо – якобы уже за границу, в отделившуюся вдруг Эстонию. Поосторожнее бы нам с такими шуточками!..

Как бы то ни было, тут был не просто переезд в другой дом, тут был элемент сознательного выбора. Самойлов сам напишет об этом в стихах:

Я сделал свой выбор. Я выбрал залив.
Тревоги и беды от нас отдалив,
А воды и небо приблизив,
Я сделал свой выбор и вызов.

Не просто выбор, но вызов – кому? Здесь все примечательно – как и последующие строки:

И куплено все дорогою ценой.
Но, кажется, что-то утрачено мной.

Тут поневоле навостряешься: что же? Однако вместо объяснения:

Утратами и обретеньем
Кончается зимняя темень.

Пожалуй, не очень внятно. Да, может, от поэзии и неверно требовать логической ясности и завершенности мысли? Может, чего-то и не следует договаривать – даже самому себе? Пусть размышляет читатель.

В суждениях друзей был, возможно, оттенок ревности – как будто он изменил нам с Пярну. Кое-кто покачивал головой, уверяя, что Давид долго не выдержит тамошнего одиночества, ведь он нуждается в постоянном общении, он человек беседы, его идеи всегда формировались в разговорах, это был его способ мыслить.

Теперь у него не стало полноценного общения, хоть он и говорит, что в Пярну ему хорошо.

Наверно, общения в самом деле стало меньше – так ведь и сил прежних не было. Я потом имел возможность убедиться, что Давид и в Пярну не особенно себя берег – но в Москве он, может, и вовсе уже не выдержал бы. Может, пярнуские годы все-таки хоть немного продлили ему жизнь.

Даже тамошнее общение, особенно летом, в курортный сезон, казалось ему теперь чрезмерным.

– Раньше у нас были хоть утренние часы, когда мы могли с Галей обговорить свое, – сказал он мне в одну из наших московских встреч. – Теперь мы и этой роскоши лишены.

«Крайнее утомление от людей», – записано у него 25.07.1977 г. И немного позже, уже в Москве: «После суматошного, утомительного лета, о котором следует еще поразмыслить, – Москва. То же ощущение безумия, возбуждения и усталости, к которой все привыкли». И 15 сентября того же года: «Знакомые отпали после лета, обидевшись, видимо, что мы живем в отдалении и уже не принадлежим им».

До меня действительно доходили разговоры о разных пярнуских обидах и чуть ли не ссорах. Кто-то жаловался, что он там «всех раскидал». И в Москве теперь приход в гости без приглашения расценивался как бестактность, это давали понять. Говорили, что он теперь предпочитает ограничиваться лишь «престижными» визитами. Я сам не без ревности узнавал о его приездах в Москву: позвонит ли? Нет, чаще всего не звонил.

Но когда вдруг звонил – я видел прежнего Давида, и все досужие толки представлялись пустыми.

3.11.1976. Утром позвонил Давид, позвал в гости, сказал, что у него в Москве неприятности, что он написал мне письмо в драматической форме, но не закончил и прочтет его вслух...

Письмо оказалось довольно большое, очень забавное – целая пьеса, где я – персонаж. В руки не отдал, обещал прислать, как допишет.

Из разговоров:

– Я Лидию Корнеевну люблю и уважаю, но мы с ней разошлись. Первые 50 страниц 3-го тома («Архипелага») для меня эмоционально неприемлемы. Солженицын исходит из того, что советская власть никак не утвердилась в народе и держалась только на терроре. Это в полном противоречии с моей мыслью, что Сталина во время войны спас идеализм народа. А по Солженицыну выходит, что его спас страх.

Что до неприятностей: в раковом отделении лежит его первая жена Лиля, и дела ее плохи.

О больных раком:

– Все дело в том, что действительно больные раком не чувствуют себя больными. Другие вокруг действительно больны, а у них недоразумение, скоро выпишут. Если бы они действительно все знали о себе, они кончили бы с собой... Нет, а мне все-таки хотелось бы дождаться естественной смерти. Все-таки интересно, как это происходит. Писатель, который каждый день не думает о смерти, – не писатель. У меня и стихи об этом есть: «Надо готовиться к смерти так, как готовятся к жизни».

В один из его приездов, в апреле 1977 года, я помогал перевозить имущество Давида опять в новую, теперь уже пятикомнатную квартиру по Астраханскому переулку: 100 с лишним кв.м. жилья. «Теперь видно, что ты большой писатель», – пошутил я. Заходившие в гости рассказывали, как новоселы-писатели стараются перещеголять друг друга обстановкой, туалет бархатом обивают. Убогая мебель Самойловых выглядела здесь чужеродно. По сути, он на этой квартире не жил – останавливался на время приездов... Нет, в самом деле, долгой жизни в писательском доме он бы теперь не осилил.

«Московские впечатления в последние приезды примерно одинаковые, – писал он мне 27.06.78 г. (дата по штемпелю). – Событий не происходит, но что-то неуклонно худшает. В общении это выражается в той же неуклонности, с которой отдаляются люди, прежде жившие рядом, и так же неуклонно приближаются другие, бывшие прежде в отдалении.

Я, видимо, уже пережил (слишком долгий в моей жизни) период чистого общения или чистой взаимной информации. Обще-

ние как таковое мне стало скучно и утомительно. А отношения возможны лишь с небольшим кругом лиц».

Процитирую еще одно из его писем:

«20.07.1978 г. (дата опять по штемпелю).

Дорогой Марк!

О катаевском «Венце» ты пишешь очень точно. Но кажется мне, что с точки зрения литературного процесса он выполняет функцию, сходную с либеральным «Стариком» Трифонова.

У нас уже есть литература «сытой» деревни – развившаяся «деревенщина». Это литература деревни, дорвавшейся до власти и до города и потому испытывающей необходимость канонизировать трудности своего пути: мы все получили не задаром. Такова их индивидуальная правда и мера правдивости их ретроспекции. Они прошлое не отвергают и не осуждают, а, напротив, как бы принимают, как бы выстраивают некую закономерность и некую дидактику: ничего не дается без трудностей, через страдание – к благу. Рядом с правдивостью была у них всегда и романтизация среды.

На тех же основаниях будет строиться литература «сытого» города, к которому принадлежит и Катаев, и Трифонов. Один из них растленный, другой – честный, но функция одна и та же: через критику ретроспективную к утверждению действительности. Эта литература будет развиваться, ибо городу тоже нужна своя легенда и обоснование своих прав на кусок пирога.

Как ни странно, «обскуранты» более реально подходят к оценке нравственного состояния нации, но пути предлагают дикие.

Все это и будет в ближайшее время нашей полулитературой».

К слову сказать, мою очередную работу, повесть, которая называется теперь «Провинциальная философия», Самойлов отверг полностью, назвал ее «игрой в бисер».

– Это талантливо, умно и т. п., – сказал он при встрече в Москве. – Если это будет напечатано (чего искренне можно пожелать), это найдет своего читателя, и читателя не худшего. Но мне это совершенно не нужно... В русской литературе есть два направления, исповедальное и учительское. Ты не принадлежишь ни к одному из них. Вначале казалось, что это даже хорошо, ты созда-

ешь какой-то свой, третий путь...

Дальше – о разочаровании... Я слушал его на удивление бес-трепетно. Слова об «игре в бисер» не казались мне на самом деле упреком, предложение учиться у Е. Носова давно уже заставило пожать плечами. И почему только два направления?.. Но главное, к той поре я уже справился с юношеским, задержавшимся во мне непозволительно долго комплексом самосовершенствования: мол, буду слушать, что думают обо мне и о моих книгах, даже просить критики – и исправляться, и совершенствоваться. Я бы назвал это «гоголевским синдромом» – Гоголь отчасти надорвался на чем-то подобном. Я уже знал, что это происходит не совсем так...

В доходивших время от времени публикациях, статьях, интервью Самойлова все чаще звучали нотки, заставлявшие меня в недоумении качать головой. Что-то я переставал понимать. В рассуждениях о народе, о русском национальном характере, об идеализме и национальном идеале начинало слышаться что-то расхожее, не совсем свое – и для меня сомнительное. В статье к пушкинскому юбилею смутил какой-то уж слишком благонаправный пассаж о народе как о творце истории: «Знаешь ли, чем мы сильны?.. Мнением народным», – словно забыт оказывался контекст: ведь, по Пушкину, это «мнение народное» привело в Россию самозванца с интервентами. И то и дело опять же какое-то пристрастие к категорическим, на мой вкус, произвольным схемам...

Чувство смущения подкреплялось и некоторыми рассказами о разных пярнуских разговорах с ним. Говорили, будто он написал главу об эмигрантах, очень раздраженную; смысл ее мне был пересказан так: вы уезжаете, бросаете, как труссы, поле боя, начали дело и не докончили, а мы теперь отдувайся. Я не читал этого текста, но тут важно, что он так был воспринят. И когда один из слушателей осмелился сказать ему, что, по сути, именно такое отношение к отъезжающим хотело бы создать КГБ, что он не вправе так говорить об этих людях, Давид, – так передавали мне, – чуть ли не буквально швырнул в него стулом...

Надо было самому к нему, наконец, съездить. Рассказы рассказами, но кроме статей и интервью доходили время от времени стихи, и среди них были пронзительные. Никакой категорич-

ности, никакого вещания: сомнение, вопрошание, грусть, проникновенное прощание с жизнью, – к счастью, преждевременное. Может быть, слишком преждевременное – ему было, слава Богу, еще жить и жить.

Хотел мне дать забвенье, боже,
И дал мне чувство рубежа
Преодоленного. Но все же
Томится и болит душа.

5. ПЯРНУ

9 мая 1980 г., созвонившись с Давидом, я повез ему в Пярну свою только что завершённую повесть «Два Ивана».

Разыскать дом на улице Тооминга удалось без труда. Я вошел без стука. Вся семья сидела за обеденным столом.

– Хоть поздно, но все-таки доехал, – сказала Галя.

Оказывается, Давид перепутал дни и они ждали меня еще накануне. Какая-то их знакомая, любительница готовить, даже приготовила для меня вчера специальный обед, и со вчерашнего же дня мне был заказан номер на отличной турбазе, в нескольких шагах от их дома.

Мы расцеловались. На столе была бутылка коньяка, я выставил еще одну – и все опасения, какой окажется встреча после столь долгого перерыва, сразу потеряли смысл. Как будто и не было никакого перерыва: попрощался, а теперь приехал. Пошел разговор, как в лучшие опалихинские времена, обо всем, о детях, обо всех знакомых, перемежавшийся чтением стихов.

Я вряд ли смогу воспроизвести разговоры этих трех дней в какой-либо временной последовательности – да и не было никакой последовательности. Мы после обеда гуляли с детьми к морю, катали мальчиков на каруселях. Дети выросли, я их едва узнал. Младший, Павлик, оказался, слава Богу, здоровым живым мальчишкой, открытым, расположенным. На другой день я с ним прошелся до самого конца полуторакилометрового мола и почувство-

вал, как ему не хватает полноценного товарищеского общения: быть все время только с болезненным Петей – не слишком просто и не слишком, наверно, благотворно для психики. Я спросил его, любит ли он Петю. «Не знаю», – ответил он. И после некоторого раздумья: «Когда болеет, люблю. Я ему даю все свои игрушки». Старшая, Варя, жила теперь одна в Москве со знакомыми, и этот отрыв от семьи, считали они, вроде бы пошел ей на пользу. Давид показывал забавный бланк сочиненного им типового письма Варвары родителям, ей там нужно было лишь вставлять: сколько она получила пятерок и четверок, какие видела фильмы (с вариантами в скобках: понравилось, не понравилось) – и т. п. Показал мне сочиненные ею стихи – они удивили меня не только незаурядным владением формой, но и неожиданно серьезным содержанием.

– Я тоже был поражен, – сказал Давид. – Я в 14 лет так не писал. Я не постыдился бы поставить под этими стихами свою подпись.

При этом они с Галей, разумеется, трезво сознавали: еще неизвестно, что из этого выйдет, и выйдет ли что-нибудь вообще. Обсудили общие проблемы, связанные с детьми, которым хотелось одеваться не хуже знакомых и иметь то же, что другие. Самойловы жили в Пярну (по эстонским стандартам) более чем скромно. Давид рассказывал: когда сюда впервые приехало Таллинское телевидение, режиссер тихонько спросил сопровождающего: а это действительно знаменитый писатель?

Когда я сказал Давиду, как многое в этом доме и в его здешнем образе жизни напоминает мне Опалиху, он ответил:

– В Опалихе я был для тамошнего начальства никто. А здесь я местная знаменитость. Я поэт, причем единственный в городе. Когда мне что-то надо, я могу сразу обращаться к начальству, и мне все сделают.

Его действительно здесь знали. Когда я заказывал телефонный разговор с Москвой, Давид напомнил: «Скажи, что говорят из квартиры Самойлова», – и действительно, соединили почти мгновенно. Так же сразу пришло по вызову и такси, что вообще не всегда бывает. Давид рассказывал, как один приехавший к

нему знакомый, будучи пьяным, попал здесь в милицию, но стоило ему сказать, что он приехал к Самойлову, как милиционер сразу доставил его по адресу. Он был в дружеских отношениях с администраторами гостиниц, в частности той турбазы, где устроил меня. Он был знаком даже со всеми бригадами проводников вагона СВ поезда № 34 «Таллин – Москва», где они обычно занимали двухместное купе. Тем более, что однажды он ехал в этом вагоне с местным начальством, проводники видели, что он пользуется почетом, – они такие вещи понимают.

– А кроме того Пярну – это город, где я, полуслепой старик, могу сам ходить в магазин, – добавил он, когда мы на другой день пошли с ним за покупками. Здесь такие походы совмещались с неспешной прогулкой. По пути мы раз-другой заглядывали в кафе или буфет, по-местному *einelaud*, и в каждом его тоже знали, без разговоров принесли по сто грамм коньяка, бутерброды с семгой. По словам Давида, он мог здесь сидеть за столиком и работать, к нему никого не подсадят, чтоб не мешали.

Выносливость его к выпивке меня опять поразила, как в лучшие времена: в первый день мы распили на троих три бутылки коньяка, не считая рюмочки в *einelaud*, а на другое утро Давид предложил опохмелиться, и потом мы пили еще дома и вечером в *einelaud*. Я поддерживал такой темп с трудом, а сам думал: неужели он может так каждый день?.. Впрочем, был праздник. На городском валу играл оркестр.

Но что все о быте! Главное были, конечно, стихи. Он читал их мне каждый раз за столом и во время прогулок вдоль моря, потом я несколько раз перечитывал машинопись у себя в комнате на турбазе. Это была уже сложившаяся книга «Залив». Некоторые стихи я прежде читал в печати («Хлеб» и др.), они не произвели на меня особого впечатления, показались несколько дидактичными, что ли. Сейчас я услышал другие – возникало чувство действительно *НОВОЙ* книги.

Тем более что иные стихи совсем по-особому воспринимались в этой обстановке, на морском берегу. «Деревья прянули от моря», – читал по пути Давид, показывая на группу прибрежных сосен, как бы сформированных ветром: они наклонились в сторону от

моря, будто действительно хотели бежать. «Чайка летит над своим отражением в гладкой воде...» Эти стихи, оказывается, были написаны перед отъездом в Ялту, где умер наш общий друг Исаак Крамов. «Там было все так неправдоподобно хорошо», – рассказывал Давид; но в стихах уже прозвучало: «Тихо, как перед сражением. Быть беде». («Вот и не верь после этого поэзии», – сказала Галя). Знакомым было еще одно стихотворение, которое Давид читал на похоронах Крамова («Мы не меняемся совсем»). Я был уверен, что они написаны на смерть Крамова. Оказывается, нет, они были посвящены ему ко дню рождения – а там уже прозвучало: «Живем взахлеб, живем вовсю / Не зная, где поставим точку...» Вспомнили по этому поводу предостережение Пастернака: не надо писать о смерти, своей и предстоящей чужой, потому что поэзия – вещая, она может накликать смерть.

В другой раз он мне читал несколько совсем новых стихотворений. Я сказал, что тут уже другая интонация, она не ложится в старую книгу, это начало новой. Галя была очень довольна: «Скажи, скажи ему. А то он твердит, что у него кризис, что он больше не может писать. Я тоже считаю, что это начинается новая книга».

Показал мне толстую красивую тетрадь, где теперь записывает стихи.

– Раньше я писал на отдельных клочках, иногда их куда-то засовывал, забывал, потом случайно находил. Теперь я все записываю подряд, и, когда открываю тетрадь, все хозяйство под рукой, вспоминаю, что было записано, иногда продолжаю...

Не помню, в какой связи зашел разговор о вдохновении.

– Признак вдохновения – когда сами собой идут рифмы, – сказал Давид. – У меня уже достаточный опыт, я рифму всегда найду. Но бывает, их нужно искать, вспоминать, – значит, не идет работа. А когда они сами идут, тянут за собой другие, а с ними новые повороты мысли – это и есть вдохновение.

Еще он читал новую для меня прозу. Это были главы «Дом» и «Квартира» – о детстве, семье, родителях. Впервые мне открылась очень еврейская атмосфера его детства: дед, который молился в талесе, дядя-нэпман и др. Стал говорить, что хочет написать об отце, но это очень сложно.

– Он был субъективно состоявшийся человек, хотя объективно не состоявшийся. Он много занимался мной. В частности, от него я впервые услышал библейские легенды. Он повлиял на мое понимание национальной проблемы. Он был очень еврейский человек. Он считал, что в этом государстве евреи не должны быть на первых ролях. Как, скажем, в Израиле не должны быть на первых ролях арабы. Он считал большой ошибкой участие евреев в гражданской войне, в ролях комиссаров и т. п. Когда живешь в стране среди другой нации, нельзя брать на себя расстрелы, приговоры и прочее. Он очень любил тип русского мужика, ценил этих людей, всегда умел найти с ними общий язык.

Уже позднее мне подумалось, что эта, несомненно, достойная позиция обозначает все же самоощущение человека, живущего как бы не совсем в своей стране. С этой темой был связан еще один эпизод, рассказанный Давидом, когда к нему пришли поздравить с праздником две местные дамы-учительницы. Сосед Самойловых, владевший верхней частью их дома, пришел к нему как-то с претензией: его жену, гулящую пьяную бабу, вызвали в отделение милиции и предъявили обвинение в туеядстве, сосед заподозрил, что это Давид написал на него заявление. Получив в ответ заверения, что это не так, заодно поинтересовался, сколько бы дал Давид, если бы ему продали и верхний этаж. Давид уловил тут нечто вроде попытки шантажа и прогнал его.

– Надо вообще пожаловаться на него, – сказала одна из дам. – Его давно пора выселять.

– Нет, я так не хочу, – ответил Давид. – Все-таки я живу среди эстонцев. Я не хочу, чтобы говорили: вот, приехал русский, выселяет эстонцев. Надо помнить, что ты живешь в чужой стране.

Вообще разговоров на национальную тему было немало. Он рассказывал о работе Ю. Абызова по этнопсихологии, и я по этому случаю изложил ему концепцию Л. Гумилева, тогда мало кому известную. «Но это же фашизм», – сразу же прокомментировал Давид. (Думаю, тут дело не в моем изложении, я излагал достаточно объективно.) Потом прочел свою поэму «Канделябры» – об иррациональном и злом националистическом шабаше. Я слушал ее единственный раз уже в состоянии некоторого подпития и потом

не перечитывал, но сохранившееся ощущение кажется мне как раз адекватным содержанию: ощущение хмельной, недоброй мути, без четких мыслей, с одним лишь откровенным стремлением – стремлением к власти. «Заенделилась енделя, заендилась ендова...»

– Они же, как Емельки Пугачевы, – пояснил Давид. – Им хочется бить, резать, что угодно, но только чтобы потом самим в цари...

А еще говорили о друзьях, о знакомых. Вспомнили Копелева, который все-таки собрался уезжать. Давид посвятил ему стихотворение «Нельзя не сменить часового». Заговорили о его жене Рае Орловой, которая написала в своих мемуарах, как ей теперь стыдно за некоторые свои прошлые поступки.

– Я с ней не согласен, – сказал Давид. – Почему стыдно? Разве она поступала против своей совести, считала, что поступает подло, и все-таки делала это? Нет, она была убеждена в том, что делала, считала, что это правильно. Я не считаю, что мы были тогда глупы. У нас были ложные идеи, но понятия были правильные.

Я попробовал задать ему вопрос, как он поступал, когда на собрании надо было голосовать за что-то или против кого-то, а это ведь нередко значило либо кого-то погубить, либо самому чем-то пожертвовать. Однако он не понял вопрос или уклонился от ответа. Тогда я выразился иначе: перед тобой до войны все-таки не вставало самого драматического выбора, судьба в этом смысле не предъявила тебе самых крайних испытаний. Тут он согласился: да, это досталось другому поколению...

Я вспоминал этот разговор, перечитывая некоторые стихи из книги «Залив»: «В тридцатые годы я любил тридцатые годы, в сороковые любил сороковые...» Это желание жить в ладу со временем, несмотря ни на что (или все же – какой ценой?), заслуживает особого размышления.

При этом ему самому как будто казалось, что он сформировался сразу и ему потом не пришлось в себе ничего преодолевать.

– Когда после революции оказалась уничтожена интеллектуальная элита общества, дворяне, духовенство, высшая интеллигенция, – повторил он в том же разговоре уже знакомую мне мысль, – их роль взяла на себя средняя интеллигенция, врачи, учителя.

И они сумели сохранить некоторые ценности, дать нам основные понятия. Я нашел свои старые дневники, это очень интересно. Я многое правильно понимал, многому знал цену.

Действительно, когда он читал свои воспоминания с цитатами из юношеских дневников, можно было лишь удивляться его ранней зрелости. Я познакомился с ним сравнительно поздно и не могу судить, насколько он в самом деле менялся или оставался неизменным. Многое, наверное, определялось еще и способностью быть «счастливым по природе при всяческой погоде», как выразился он в стихах. (А может, не просто способностью, но желанием – когда предпочитаешь что-то отстранять от себя, чтобы не смущало?..) У меня потом опять же будет еще возможность поразмышлять о том, что здесь, пожалуй, обозначена и некоторая граница, за которую он не хотел и не стремился заглядывать.

Помянули, между прочим, известного литератора Ф. С.:

– Вот у него понятий не было, – сказал Давид. – Он всегда жил идеями и потому мог менять их, как перчатки. Был убежденным партийцем, потом убежденным новомировцем, потом убежденным сторонником идей Солженицына, потом убежденным христианином. Потому что понятий на самом деле нет...

Было трогательно наблюдать его в домашней обстановке. Утром он вставал и готовил кашу для детей. «Когда готовишь манку, – объяснял он мне, – важно, как ее засыпать, чтобы не было комков». Потом варил кофе. Кофе то и дело переливалось из кофейника, потому что он по слепоте не всегда успевал заметить момент закипания. После обеда он обычно шел вздремнуть. В последний день моего пребывания там похолодало, он затопил печку, сел у дверцы; я заговорил с ним, он ответил не сразу, – оказывается, вздремнул сидя.

У него в ту пору не было передних верхних зубов. Забавно рассказывал, как пошел было к протезисту, но это оказалась женщина такой ослепительной красоты, что он не смог раскрыть перед ней рта. К усам все время прилипали крошки, он то и дело подкручивал их пальцами. На стене висела фотография, когда он был без усов, – по-моему, так все-таки было лучше.

Как-то днем постучался в дверь молодой человек – поэт из

Тарту, принес стихи. Давид как раз отдыхал, и Галя приняла стихи сама. «А то бы Дезик завел разговор на два часа», – пояснила она мне. По ее словам, к нему сюда едут отовсюду, без конца шлют стихи. Я мог сам убедиться, какая у Давида обширная переписка: в один из дней он получил добрый десяток писем и столько же отправил...

Перед прощанием Давид стал говорить мне, что напишет о моей повести Наровчатову (тогдашнему редактору «Нового мира»).

– Ты сначала прочти, – сказал я.

– Я, конечно, прочту, – ответил он, – но напишу все равно. Мне не надо ему писать специально, мы же с ним переписываемся регулярно. Просто упомяну в очередном письме, что прочел очень хорошую повесть.

6. «ДВА ИВАНА»

Я всякого ждал после этой встречи (Давид читал медленно и успел в промежутке сообщить мне, что первые страницы ему нравятся) – но не того письма, какое получил.

20.06.1980 г. (даты в большинстве случаев указываются по штемпелю на конверте, он как правило не датировал писем):

«Дорогой Марк!..

После всех юбилейных возлияний я засел за твою повесть и прочитал ее медленно и внимательно. Если говорить о слове и образности, она написана замечательно. Но чем дальше читаешь, тем больше нарастает сопротивление прочитанному и возникает ощущение однообразия. Ты столько ужаса, крови, вони, уродства, мучительства нагромоздил, что где-то они переступают порог восприятия. Возникает что-то вроде привычки к ужасам, равнодушие к ним. Может быть, ты этого и добивался. Тогда цель достигнута, но верная ли это цель?

И самое главное, конечно, это отсутствие любви и жалости, иначе откуда такое роскошество стиля и такая скрупулезность в

описании пыток и убийств.

Ты верно определил композицию вещи как поэтическую. Но поэтическая композиция не искупает отсутствия поэзии внутренней, противовеса апокалиптическому ужасу.

Не стану с тобой спорить, такова ли истинная история России, так ли было на самом деле. Кажется, и тебе это не важно. Ты рассматриваешь пытку, убийства, уродство и юродство как вечные категории нашей истории и без сомнения подставляешь Ивану или Никанору рассуждения 37-го года.

Аллюзионная история мне чужда. Она мало дает для познания прошлого и настоящего. На самом деле история уникальна, ничто не повторяется, все обосновано конкретной психологией масс и деятелей. И опричнина вовсе не 37-й год. А что было страшней, мы не знаем, ибо страдание тоже единично и конкретно. И когда оно таково, оно неминуемо приводит к жалости, к сопереживанию. А жалость – уже и способ понимания. В русской духовной традиции есть идея жалости к руке карающей. Это особенность русского христианского мышления, ставшего потом внерелигиозным мышлением русского интеллигента. Твоя повесть язычески-груба. В ней нет бога.

Таково мое главное впечатление.

И еще одно: несмотря на сугубо оригинальный твой авторский почерк, в способе восприятия есть что-то узнаваемое, слышанное и даже раздражающе-банальное.

Прости за все сказанные слова. Я думаю, что нам друг с другом не надо играть в комплименты. О качествах прозы ты сам хорошо знаешь. Но здесь оно превосходит качество мышления. А любоваться одним стилем я, например, не умею. Это, наверно, умеют пересытившиеся французы.

Отсутствие любви и жалости отметил не только я, но и Галка, и Юлик Ким, значит, это не только мое впечатление. С другой стороны, этого не вставишь и не исправишь. Это может быть только дано или не дано.

Вот теперь, кажется, изложил все основное.

А по деталям у меня замечаний нет.

Не обижайся. Пиши. Какие есть другие мнения?

Привет тебе и твоим от Галки.

Будь здоров.

Твой Дезик».

Сейчас-то мне просто переписывать эти строки – когда повесть моя напечатана, переведена на другие языки и читатель имеет возможность сам составить мнение о правоте или неправоте этой скорей инвективы, нежели критического отзыва. Тем более читатель нынешний, которого последующее развитие литературы – да, главное, не только литературы, а самой жизни – успело приучить к такой чернухе, к такому – действительному – живописанию ужасов и уродств, по сравнению с которым моя проза выглядит робким, стыдливым сентиментальничаньем. Один очень умный читатель упрекнул меня, как раз наоборот, в попытке оправдать в русской истории то, что в ней оправданию не подлежит. Тогда еще не начались дискуссии о чрезмерном якобы благонаравии русской литературы, предпочитавшей умалчивать о зле и жестокости реальной жизни и оставившей читателя беззащитным перед этой реальностью. Но надо представить себе самочувствие автора только что законченной вещи, еще не утвердившегося в себе, потому что он лучше других знает, сколь много на самом деле не удалось, – а его обвиняют не в частностях и не в литературных слабостях, но в грехах, по сути, личных, в отсутствии жалости и любви, ни более ни менее (не говорю уже об отсутствии «бога» – с маленькой буквы!) – когда ему приписывают идеи, прямо противоположные всему, что он хотел сказать, да еще так, казалось мне, бездоказательно, так безапелляционно! Приезжавшие из Пярну общие друзья уже говорили мне о «Двух Иванах» чуть ли не цитатами из этого письма – даже те, кто до этого повесть хвалили: я-то знал, как умел Давид внедрять свое мнение и чего стоил высказанный им будто бы интерес к «другим мнениям». Надо представить себе самочувствие непечатающегося писателя, знающего, что и эта его книга скорей всего останется никому не известной. А чего стоили хотя бы слова о «пересытившихся французах», – скорей всего, тут была опечатка, но уж я не отказал себе в удовольствии на ней поплясать.

Словом, я написал ему очень резкий ответ. Моя жена запретила мне его отправлять, и я ей благодарен за это. Копии некоторых отправленных писем у меня сохранились. Я воспроизведу эту переписку, опуская лишь не относящиеся к делу житейские подробности, приветы близким и т.п.: что ни говори, а она теперь уже факт недавней литературной истории – как все, относящееся к Самойлову. Даты своих писем восстанавливаю по дневнику.

«27.06. 1980.

Дорогой Давид!

Спасибо за откровенное письмо. Неприятие столь полное и безоговорочное в каком-то смысле упрощает разговор. Речь явно идет не столько о литературных оценках, сколько о взгляде на мир, на историю и современность, на литературу. И тут стоит объясниться.

Ты пишешь: «Не стану с тобой спорить, такова ли истинная история России, так ли было на самом деле?» Отчего же и не поспорить? Увы, история была не совсем такова. На самом деле все было страшней, грубей, кровавей. Я обошел хотя бы Новгородский погром, когда ежедневно пытали и убивали тысячами, младенцев привязывали к матерям и бросали в Волхов, и длилось это пять недель, а потом перешли к Пскову. Духу не хватило, но во время работы я не раз спрашивал себя: не от робости ли душевной все смягчаю, сглаживаю, поэтизирую?

Я слишком хорошо понимаю, как тянет отвернуться от страшных картин – и в жизни, и в искусстве; сам откладывал в сторону иные описания. По-человечески это более чем понятно и оправданно. Нам по природе свойственно щадить себя и отгораживаться от отрицательных эмоций. Но для писателя – честно ли это? нравственно ли? И когда дети у меня играют в казнь – можно ли не услышать здесь боли, стона и говорить о смаковании жестокостей?

Я заглянул в трагические времена, когда половина населения погибла от казней, голода, мора, войн, набегов, а для другой половины страх и смерть стали повседневным бытом. Это был непростой душевный труд, который много мне дал и в чем-то меня

изменил. После него невозможно стало, в частности, читать иную историческую беллетристику: режет ухо облегченность, условность, неподлинность. Я уже слишком знаю, что реальный Василий Блаженный ходил не в рубище с картинными заплатами, а нагой (таким его и рисовали на ранних иконах) и испражнялся среди площади, что реальные пустынноики годами не умывались и не меняли платья и т.п. Когда по-настоящему вживешься в эпоху, перестаешь зажимать нос и находишь в этой жизни свою (не нынешнюю) полноту, истину, поэзию.

Возьми хотя бы документальное описание Угличской драмы. Увидев мертвого сына, Мария Нагая схватила из поленницы полено и, простоволосая, стала бить им по голове мамку Василису Волохову. Прискакал пьяный Михайла Нагой, дьяк Битяговский, который незадолго перед тем урезал Нагим денежное содержание. Михайла натравил на Битяговского толпу. Попутно растерзали еще несколько человек, кинулись на подворье Битяговского, разбили там винные бочки, упились, с жены Битяговского сорвали одежду. Звонарь звонил, запершись на колокольне.

Таков пересказ – еще без множества сочных подробностей – известного эпизода:

Вдруг между их свиреп, от злости бледен
 Является Иуда Битяговский.
 «Вот, вот злодей!» – раздался общий вопль,
 И вмиг его не стало...

и т. п.

Это, впрочем, не Пушкин, это Пимен. Для меня существенно и полено, и простоволосая баба, и попутное пьянство: глубина грубой жизни. Все это отнюдь не детали и не стилистические роскошества, это плоть прозы, как и лес, озеро, дорога, колыбельная и молитва.

Мне жаль, что в твоём восприятии многое слишком свелось к расхожим схемам: языческая грубость – христианская жалость и т. п. Насчет «пересытившихся французов», которые якобы умеют любоваться одним стилем, – по мне это одно из общих мест, вро-

де деловитых англичан, грубых немцев и загадочной славянской души. Современных французов я просто не знаю; была старая французская традиция, сказавшаяся на русской исторической беллетристике: традиция исторического анекдота в духе Таллемана де Рео – занятные происшествия, адюльтеры, придворные интриги и т. п. Это по-своему интересно, но как раз мне не близко.

А что до русской духовной традиции – она бывает разная, как разным бывает и народ. Народ в истории, увы, не всегда безмолвствует, он еще оставляет исторические песни вроде приведенной мною. И народолюбивые историки разводят руками перед этим голосом, приравненным к гласу божьему: недаром ведь в народной памяти сложился светлый образ грозного царя. Ах, недаром!

Тут речь не о жалости к «руке карающей» (да и слово «карающей» в контексте этой темы вряд ли точно: карают за что-то, за вину). Тут устоявшаяся с татарских времен традиция холопского, рабского почтения ко всякой власти и силе, готовность заведомо признать ее правоту и с некоторым даже восторгом подставлять собственную спину под кнут (как делает у меня один персонаж, сам палач). Это до сих пор в нас не изжито. Я не принимаю упрека в сознательных аллюзиях (кстати, странно слышать о такой уж нелюбви к аллюзиям от автора любимого мною «Струфиана»). Дело в неизжитости русской истории, ее проблем, о которой я тебе однажды писал. Мысль о том, что «нам, русским, без палки нельзя», можно встретить и в современном разговоре, и в документе 400-летней давности.

Моя книга не в последнюю очередь о памяти. Наша память во многом выжжена, подменена, искажена не только пожарами и стараниями властителей, но и нашей собственной душевной самозащитой, стремлением себя щадить. Одна из задач литературы, мне кажется, – восстанавливать подлинность и интенсивность памяти, чувств вообще. Порой это бывает трудно и даже болезненно.

Можно, конечно, просто вынести все ранящее за скобки своего мировосприятия. Но, думаю, как раз это было бы не в духе русской совестливой традиции. Надеюсь, во всяком случае, что в

моем мировосприятии нет равнодушия, хотя мне отнюдь не удается жить и писать на уровне собственных требований к себе...

Хорошо, если бы ты нашел способ переслать мне рукопись. А пока всего тебе доброго.

Твой Марк».

«05.07.1980.

Дорогой Марк!

С большим интересом и даже сочувствием прочитал твое письмо. Я и не ожидал, что ты со мной согласишься. Но все же дискусию готов продолжить, ибо она касается вещей существенных.

Я умышленно писал тебе только о художественных недостатках «Двух Иванов», выводя их из недостатков авторской позиции – из отсутствия жалости, сочувствия и любви. Твое письмо косвенно подтверждает правильность моего ощущения: какая же может быть любовь к сплошному ужасу, убийству и грязи. Эта позиция для меня внутренне неприемлема. Любить Россию – не значит любить дыбу, кнут и блевотину. Есть в ней, в ее истории – я уверен, что есть! – и нечто достойное любви и восхищения, есть добрые, а порой и патетические, свойства народа, есть и бескорыстие, есть и идеализм, есть, наконец, культура, /к/ которой я принадлежу и которую люблю. И это не культура пытки и убийства, не бескультурье сранья посреди площади.

Чтобы так писать, как пишешь ты, нужно «не любить». Об этом-то я и вел речь.

И неправда, что Россия не ужаснулась Иваном. Ты не написал бы свою повесть, не имея свидетельств этого ужаса и осуждения. И само обилие этих свидетельств означает наличие народного мнения, наличие «другого взгляда» даже тогда, в страшные времена...

Любовь и жалость – это не от страха, не от «татарщины», а от сердца, у которого есть свои законы ощущения действительности.

Я видел войну, где погибло больше людей, чем в Иваново время. Видел, к примеру, как улыбающийся мальчик запихивает кишки в развороченный живот. Видел трупы, раскатанные танками в блин, на фронтовой дороге. Видел много ужасного и страшного.

И помню все это. И вовсе не отгоняю от себя эти воспоминания. («Поэт и старожил», где бессмысленно убивают человека.) Но, как свидетель смертоубийства, могу сказать, что помню не только это. Что не ужас, не страх перед смертью был главной нотой в моем самоощущении. А что-то другое.

Ибо довелось мне увидеть и праведников.

Тогда они были в обличье солдат. А в тобою описываемые времена – пустынноики.

Ты же в пустынноике видишь прежде всего несоблюдение гигиены, а не духовный подвиг. Можно не зажимать нос, но и не придавать слишком большого смысла своим обонятельным ощущениям. (У Достоевского тоже старец завонял после смерти.) Не думаю, чтобы вонь была плотью прозы. Плоть прозы – мысль.

У тебя в повести праведника нет. А на нем, а не на кнуте, стоит и стояла Россия. Ведь она своими силами вышла из времени Грозного и из разорения Смуты. И так откровенно и ясновидяще оценила происшедшее: Грозный и Смута. Это у тебя и не брезжит.

Ты пишешь историю власти и хочешь отождествить ее с историей нации, общества, культуры. Тут великий просчет в твоей исторической концепции и причина просчетов художественных.

Не думаю, что эпизод с Битяговским у Пушкина хуже и неправдивей, чем твои описания. В нем просто больше целомудрия писательского.

Отождествление власти, народа, общества и культуры смахивает на идеологию эмигрантства. Ты, наверное, не сочтешь этот термин отрицательным.

Эмигранту не надо жалеть и любить. Ему ведь не нужно думать, как жить у себя. Он должен думать, что у себя жить нельзя.

Тут мне Ахматова ближе, чем Горбаневская.

Я эмигрантства не осуждаю, но всегда был сторонником личной, а не коллективной ответственности. Но психология эта вообще мне чужда.

Ведь можно тратить силы двумя способами: один – избличение зла, другой – проповедь добра.

Твои слова о традиции холопства, о почтении к всякой власти (а не всякая – как с ней быть?), об оправдании власти звучат скры-

тым упреком мне. Не будем переходить на личности. Но мне эта традиция почитания власти чужда настолько же, насколько и традиция непочитания, ибо они легко переходят друг в друга...

Я уже писал, что ткань твоего повествования добротна, описания безупречны, слово точно. Но не радует это. Это все «гроб попавленный». У Достоевского порой написано «хуже», чем у тебя. Но про что бы ужасное ни написал Достоевский, в результате остается радость. Эта радость – элемент впечатления от художественности.

И даже, если предположить, что твои рассуждения сплошь верны, а мои сплошь неверны, все равно из твоих художественности не получится. И если не от недостатка таланта, то отчего же? Наверное от «нехудожественности» общей концепции.

Вот, собственно, те бараны, к которым мы должны возвратиться.

Взаимное изложение взглядов не приведет к улучшению «Двух Иванов» или (прости за остроту) даже одного из них.

Ты можешь использовать аргумент Слуцкого и сказать мне, что ты слышал и другие мнения о повести. Допускаю. Но могу ответить тебе так, как отвечал тому же Слуцкому: надо уметь выбирать мнения не по их приятности...

Надеюсь, ты не обидишься за это письмо, ибо какой толк писать друг другу не то, что думаешь...

Будь здоров

Твой Д.»

«10.07.1980.

Дорогой Давид!

Согласен с тобой: есть смысл продолжить спор, ибо речь действительно идет о вещах насущных. Только хорошо бы при этом не очень забывать сам предмет спора. Я принужден был отвечать главным образом на упрек в живописании жестокостей, и вот ты пишешь: «Твое письмо косвенно подтверждает правильность моего ощущения: какая же может быть любовь к сплошному ужасу, убийству и грязи». Ко мне лишь недавно вернулся экземпляр рукописи, я стал перечитывать главу за главой – да полноте, о моей ли работе идет речь? «Ты пишешь историю власти и хочешь

отождествить ее с историей нации, общества, культуры». Но в книге-то прямым текстом как раз обратное: глубинные слои жизни недоступны тем, кто считает себя властным над ней (это, кстати, сочла главной мыслью повести, если помнишь, Галка в своем первом отзыве). И т. д. В позиции автора, который начинает говорить о своей работе и себя цитировать, всегда есть что-то сомнительное. Раз уж повесть задержалась у тебя так надолго, попробуй ее просто перечесть. Впрочем, немного зная тебя, я сам отношусь к этому предложению с юмором.

Некоторые места твоего письма отчасти объясняют, как мне кажется, причину неточности или перекоса в твоём взгляде. Ты пишешь, например о «бескультурье сранья посреди площади». Тот и оно, что 400 лет назад такое поведение юрода имело как раз и культурный, и духовный смысл. Летопись пишет об этом так: «Душу свободную имея... не срамляясь человеческого срама». Мы сейчас больше, чем когда-либо прежде, учимся подходить к прошлому, вообще к не похожей на нашу жизни без предвзятости современных мерок: моральных, эстетических, гигиенических. XIX век больше был склонен свысока морализировать над былым «варварством», «дикостью», «суевериями», не чувствуя внутреннего смысла многих явлений. Поэтому и праведников не видели в их подлинном обличье, а подгоняли под доступный своему пониманию канон. Праведников вообще проще канонизировать посмертно; вблизи-то они обычно слишком оскорбляют и целомудренный вкус, и обоняние, и выглядят ненормальными – проще любить свое представление о них, чем их самих.

«Полюбите нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит», – справедливо заметил классик. Другой классик, которого ты почему-то решил противопоставить мне, приводит целую дискуссию на тему, можно ли считать праведником того, кто завонял после смерти. Впрочем, Зосима отнюдь не кажется мне самым убедительным образом у Достоевского. Для меня были немного в новинку твои восторги перед этим автором; когда-то я слышал от тебя другое. Наши мнения, конечно, уточняются, о классиках особенно. Давно ли Достоевский избавился от клички «жестокий талант»? (Надеюсь, не надо пояснять, что я не сравниваю себя с

ним.) Но действительно ли даже после чтения «Бобка» у тебя остается радость? Не знаю, не знаю, непременно ли только радость должна оставаться после чтения.

Что до эмигрантского отношения к России, то тут совсем уж парадокс. Многие из читавших рукопись сочли нужным предупредить меня, что, если ее напечатают, как раз эмигранты набросятся на книгу особенно остервенело. Думаю, это действительно так. Если хочешь, я могу даже заранее перечислить упреки, которые предъявили бы мне тамошние ревнители русского исторического благочестия. Но стоит ли? Тем более что публикация в ближайшее время мне явно не грозит. А напечатали бы – я послушал бы всякие мнения, с пользой и интересом. Ведь мнения говорят не только о книге, но и о состоянии умов. Выбирать же их не приходится, ни по приятности, ни по неприятности.

В одном из первоначальных вариантов беседы двух старцев произносились у меня примерно такие слова: дело не в правоте кого-либо из нас. Никто из нас не владеет истиной, но она присутствует, витает в воздухе, куда мы спорим о ней.

Надо только с уважением и всерьез относиться ко всякому искреннему серьезному поиску. Переход на личности тут действительно запрещен. Я не понимаю, каким образом ты мог услышать личный намек в моих словах о традиции холопства: мне это просто в голову не приходило. Тут остается лишь призвать на помощь чувство юмора, как пришлось это сделать мне, когда я читал твои слова о том, что не только в книге моей нет жалости и любви, но мне лично в этом отказано (очевидно, по природе?). «Этого не вставишь и не исправишь, это может быть только дано или не дано». А окажись на моем месте человек менее загрубелый, да прими такой приговор всерьез – ведь это повеситься в пору. Не будем говорить о любви, но много ли жалости, простой человеческой осторожности в таких размашистых высказываниях?

Ты прав, взаимное изложение взглядов не изменит моей книги. Но оно может не без пользы уточнить сами эти взгляды и мнения. Попробуй все-таки еще раз перечесать...

Будь здоров.

Твой Марк».

«30.07.1980.

Дорогой Марк!

Спор, к которому ты меня приглашал, свелся к довольно тугомотному тяганию. Да у нас, вроде, и нет принципиальных разногласий. Я говорю, что у автора, даже жестокой истории, должна быть любовь и жалость. Ты как будто с этим не споришь, вместе с тем ссылаешься на Достоевского, что он «жестокий писатель».

Я говорю, что Россия стоит на праведнике. И ты, как будто, с этим соглашаешься.

Спор сводится, следовательно, к вопросу оценки твоей повести. Есть ли в ней любовь и жалость. Есть ли в ней праведник. Ты утверждаешь, что есть и предостаточно. Я говорю, что маловато. Ты утверждаешь, что перечитал повесть сам и все это обнаружил, что ты своей вещью доволен. А я говорю, что судить о себе самом трудно. Что существует автор и читатель. И что автор должен прислушиваться к читательскому суду.

Ежели тебе этого суда не нужно, то остается тебе быть собственным читателем, еще раз перечитать свое произведение и остаться им довольным.

Ты меня упрекаешь в жестокости моего читательского суда, утверждая, что я тебе лично отказываю в любви и жалости. Ничего подобного. Давай не переходить на личности. А тебе, как писателю, я это утверждаю, да и многие согласны со мной, этого не хватает.

Вот и все.

В результате ты можешь согласиться со мной (хотя бы отчасти) и написать мне: я подумаю, постараюсь переделать. Или можешь не соглашаться со мной и написать: я очень огорчен. что тебе моя повесть не нравится, но я считаю, что она совершенна и в переделке не нуждается. Есть и третий вариант: я с тобой частично согласен, но столько вложил в это сил и надежд, что переделывать и касаться этого не могу.

Ты из этих вариантов выбрал второй. И тут мне возражать нечего. Я не обижаюсь на тебя за то, что ты отвергаешь мое читательское мнение. Ты же не обижайся, что я высказал его достаточно твердо и ясно.

Прибедняться нам обоим нечего. Мы оба не дураки. И каждый знает что почем.

А ссылка на то, что кому-то твоя вещь нравится, совершенно не к делу. Выбор читателей целиком зависит от тебя...

Будь здоров

Твой Д. Самойлов.

«2.08.1980.

Дорогой Давид!

Пожалуй, довольно о моей повести. Скажу только напоследок, что для меня дело отнюдь не сводилось к ее защите. Ты сам знаешь, как уязвим бывает автор только что законченной вещи, как он сам готов опередить и превзойти все возможные читательские упреки, ибо воплощение никогда не совпадает с замыслом. Задел меня за живое характер и тон – не упреков даже, а приговоров. Слишком много я сам об этих вещах думал, и возражения мои были конкретны. Ты на них, кстати, и не ответил.

Но главное, это не только наша с тобой ситуация. Вроде бы единомышленники, не дураки и в общем согласны, что хорошо, а что плохо. Смешно в самом деле спорить, что любовь, жалость или нравственность – это хорошо, а безнравственность и жестокость – плохо. Тут существует уже определенный джентльменский набор литературного благонравия, и ссылаться на него беспроигрышно. Да настоящий-то разговор отсюда только начинается: когда пытаешься уловить и выявить эти ценности в противоречивой, нестилизованной реальности. Мне кажется. литература сейчас во многом заново здесь кое-что осмысливает, и ничей опыт пока не кажется мне бесспорным.

Я уже писал тебе, что мнения иногда говорят не только о книге, но и о состоянии умов. Меня особенно утвердил в этом ответ знакомого историка на «Заметки» Лихачева, которые, помнится, тебя восхитили и о которых мы даже немного поспорили. Удивило почти дословное совпадение некоторых моментов нашего нынешнего спора. С разрешения автора я посылаю тебе эту работу; интересно услышать твое мнение. Я с ней согласен во всем, за исключением разве что некоторых частных. Думаю, и тебе бу-

дет интересно. Только большая просьба вернуть, не очень задерживая.

Пиши. Рад буду, если в Москве созвонимся.
Твой Марк».

«Знакомым историком» был Леонид Баткин, я послал Давиду его известную ныне работу «По поводу «Заметок о русском» Д. С. Лихачева». В ту пору, правда, автор не без основания предпочитал оставаться анонимным; я раскрыл его имя Давиду лишь в одном из последующих писем. Не так давно эта часть полемики – через меня с безымянным историком – была опубликована Баткиным в его книге «Пристрастия» (М., 1994); я воспроизведу лишь фрагменты нашей с Самойловым переписки.

«13.08.1980.

Дорогой Марк!

Жаль мне, конечно, Д. С. (т. е. Д. С. Лихачева. – М. Х.), на которого твой историк, как две капли воды похожий на тебя, столько нагромоздил обвинений. Он ему даже в праве называться «гражданин» отказывает. Выходит, что единственный гражданин – твой историк, ну там еще Радищев, Пушкин и Достоевский. Всего несколько человек за всю русскую историю среди дикой толпы матерящихся, пьяных и непотребных русских.

Жаль мне, конечно, Д. С., к которому твой историк пришел М. Алексеева, видно толком не прочитав, что М. А. глубоко чужд Лихачев, что он его «исправляет» и «дополняет». Пришел он к нему и «деревенщиков», что тоже из другой оперы. Т. е., ежели веришь в «русское», формулируешь идеал прошлого и при этом еще называешь себя гражданином современного государства, то ты и есть Михаил Алексеев.

Жаль мне бедного русского интеллигента и либерала Д. С., который с наилучшими намерениями творит худое дело фальсифицирования национального характера и национальной истории.

Но еще больше жаль мне твоего историка. Он, бедняга, все время старается работу сердца заменить работой ума, горестные заметы холодным наблюдением.

Поэтому задачи у него и у Д. С. разные, можно сказать, противоположные. Твой историк пытается доказать, что он Россию любит умом, беспощадностью, всей своей умственной правдой. А на деле доказывает, что Россию любить не стоит, что она чудовищна и непотребна, что такова ее история с давних времен.

Д. С. показывает, за что можно и нужно любить Россию, за что он ее сам любит, как гражданин. А любит он ее за культуру. И не за особую, «деревенскую», «уездную», а за культуру в высоком и всеобщем понимании. Потому он и обращается к понятию космополитизма и без всякого бранного оттенка.

Твой историк опять же путает историю власти с историей нации и культуры, с историей общества, породившего тех же Радищева, Герцена, Пушкина, Достоевского и, наконец, его же, историка. Или он из яйца вылупился? Или он гадкий утенок, а на деле – лебедь, воспаривший над бедным утиным стадом?

Как он неоригинален, твой историк, в своем зазнайстве перед Россией, в своей чувственной и обонятельной неприязни к толпе. В этом что-то инородческое, чужое.

Лихачев *любит*. А любить можно и просто, по велению сердца, иногда вопреки уму. И поэтому история России для него не «история вообще», а еще и родительское предание, еще и пейзаж и строение, еще и среда, еще и слово, и обращение.

Твой историк вставляет Россию в ход всеобщей истории и хочет ее судить по этим законам. Он доказывает, что Россия – худшее звено истории и что на пересечении идеала и действительности именно в ней возникали самые уродливые формы жизни.

А либерал Лихачев не судит, ибо судить не хочет. Он любит, а у любви свои законы.

И рядом с этими законами плоскими кажутся все аргументы твоего историка.

Вот, пожалуй, все, что хотелось написать по этому поводу...

Твой Д.»

Это письмо я показал Баткину, и он снял для себя копию, чтобы написать ответ. Копии моего собственного ответа у меня не сохранилось. О его содержании можно судить по следующему

письму Давида. Не помню, тогда или поздней я счел нужным ему сообщить имя Баткина: я испытывал определенную неловкость оттого, что один из участников выступал в этом споре, так сказать, с открытым забралом, другой оставался анонимным. О содержании и резком тоне ответного баткинского письма я, видимо, уже знал.

«2.10.1980.

Дорогой Марк!

Запоздало поздравляю тебя с днем рождения. Я в юбилейных датах туп.

Что же касается «инородческого», не вижу, на что здесь сердиться. Есть взгляд на историю нации и ее культуру «изнутри», а есть «извне». Взгляд извне дает право на «объективность» и «ума холодных наблюдений». Или на необъективность, но «внешнюю». К примеру, странно было бы, если бы татарский историк рассматривал Куликовскую битву как торжество справедливости, а не как избиение татар.

В споре самом и в его формулировках я не вижу ничего случайного и ничего специально «не от хорошей жизни». Спор как спор.

А «резковатое» письмо твоего историка прочитаю с интересом...

Моя книга «Избранное» вышла и, говорят, продается. Я ее еще не видел. Тираж всего 25 тыс. Значит, на черном рынке пойдет за двадцатку.

Как только получу заказанные экземпляры, пришлю тебе.

До встречи...

Твой Д.»

«7.10.1980.

Дорогой Давид!

Поздравляю с выходом книги. Я ждал ее давно и заинтересованно...

Мою рукопись по Москве читают, отзывы бывают занятные. Обычное удивление автора, когда в его работе находят вещи, о которых он сам не думал.

Меня, в частности, озадачивает упор на сугубо национальной

проблематике. Почему у Шекспира (надеюсь, ты не сочтешь за сравнение) нас меньше всего заботит отражение черт английского национального характера в образах Лира, Макбета, Ричарда или в ужасах междоусобной борьбы? Я остаюсь при чувстве, что здесь какой-то сомнительный сдвиг в умонастроениях.

Вот и в последнем письме ты находишь странным, «если бы татарский историк рассматривал Куликовскую битву как торжество справедливости, а не как избиение татар». Действительно ли ты думаешь, что для историка (то есть человека все же интеллигентного) было бы странно встать выше узконационального взгляда на события? Что истинно русский не мог сочувствовать борьбе поляков в 1830 и последующих годах? Или что француз никогда не увидит в победе вьетнамцев при Дьен Бьен Фу торжества справедливости, а лишь избиение своих соплеменников? Что взгляд историка определяет не страсть к поиску истины, а иррациональные пристрастия? Тогда почему бы в самом деле не спрашивать анкету: п.5 – татарин? – а! что вы можете сказать о *нашей* Куликовской битве!

Я все продолжаю надеяться, что тут какое-то недоразумение, издержка полемики, неточный выбор слов.

С этой надеждой и пересылаю тебе реплику твоего оппонента, с которой ты захотел познакомиться...

Пиши, мой милый. Сердечно тебя обнимаю.

Твой Марк».

«Реплика оппонента» была опубликована Л. Баткиным в той же упомянутой книге. Я не хотел этой публикации и говорил об этом Баткину, когда он со мной на сей счет советовался, но доводы приводил какие-то придуманные. Подлинной причины своего внутреннего сопротивления я назвать не мог: мне было больно за Давида, которого в полемике явно занесло куда-то, куда он сам, думаю, не хотел. Его позиция казалась мне слишком уязвимой, доводы – неубедительными, на удивление слабыми; я увы, не мог не быть в основном согласным с Баткиным. А он отвечал не в пример мне резко, не сдерживаясь – для него Давид не значил того, что для меня. Однако я не мог оспорить его права считать себя

косвенным адресатом одного из писем. Я мог только, помнится, сказать Баткину, что оппонента его теперь уже нет в живых и он не может больше ответить...

На самом деле Давид безответным отнюдь не остался:

«13.10.1980.

Дорогой Марк!

Скучный, скучный твой историк. И к тому же великий цеплятель за слова. Я ему «инородца», а он мне «выкреста», я ему «Континент», а он мне Бунина. А «Окаянные дни» забыл или не читал.

На этом спор кончается. Ведь речь шла о «Заметках» Лихачева. Он их критиковал, я их защищал. А что заметки могли понравиться М. Алексею, так что ж тут такого? Чехов, к примеру, Ермилову нравился.

Твой историк мне про логику твердит. А я ему про любовь. Он считает, что любовь это от «власти», мол, воспитана в нас рабская любовь. Петр, к примеру, воспитывал любовь к чужеземному, а не к своему. Да и вообще, Россия изменяется, как все на свете, и по одному времени нельзя судить о другом.

Все это прописные истины. И историк твой – сторонник свободного ума – только их и талдычит. Да еще себя ставит в ряд с Пушкиным, Герценом, Лермонтовым. Я на такое не претендую. Я говорю о собственном отношении и самочувствии в России. И историку его не навязываю. Удивляюсь только, зачем он занимается тем, что внушает ему такой страх и отвращение? Занялся бы историей Гренландии.

Ну, бөг с ним. Пусть живет.

Твое удивление по поводу восприятия «Двух Иванов» в национальном аспекте (я так понял?) мне кажется странным. Мы живем в эпоху, когда отсчет (для «среднего» человека, конечно) начинается с нации, а не с человечества. Был отсчет с человечества у нас в 20-е годы. Много ли он лучше оказался?..

По поводу твоих «Иванов» я писал Наровчатову, никак не высказывая свое мнение, так, вроде бы к слову. Можешь связаться с ним...

Будь здоров.

Твой Д.»

Грустно сейчас это перечитывать. Каждый волен, конечно, соглашаться с тем или другим в этом споре. Но мне позицию Давида и сейчас понять трудно. Как будто он однажды и навсегда сформулировал и утвердил для себя некую общую идейную конструкцию, где «идеал прошлого» существовал как бы обособленно от противоречивой действительности, а «история власти» – от «истории нации и культуры», где «работа сердца» противопоставлялась «работе ума» и заклинания о любви к родине словно бы могли заменить осмысление трагизма и проблематичности реальной российской истории, которую почему-то не следовало «вставлять в ход всеобщей истории» и «судить по общим законам»... И никакие доводы, никакие указания на конкретные факты и противоречия не могли убедить его эту конструкцию хоть как-то перепроверить: он логике противопоставлял все те же заклинания о любви. Чем дальше, тем все больше было вялого отругивания вместо аргументации. «Инородческое», «татарский историк»... грустно. Как будто он сам чувствовал, что его занесло. Но нельзя же было ждать, что при своих глазах он в самом деле возьмет на себя труд перечесть мою повесть...

А заключительные слова о письме Наровчатову – разве они малого стоят?

7. ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

В последние его годы мы виделись совсем редко. Понемногу переписывались. Получив вышедшую тем временем книгу «Залив», я стал перечитывать уже хорошо знакомые стихи – и не в первый раз стал ловить себя на том, что как бы спотыкаюсь на строках, которые прежде не вызвали у меня вопросов. Например, в стихотворении «Афанасий Фет»:

В его судьбе навек отделена
Божественная музыка поэта
От камергерских знаков Шеншина.

Он не хотел быть жертвою прогресса

И стать рабом восставшего раба.
И потому ему свирели леса
Милее, чем гражданская труба.

Не так это на самом деле просто, – думалось мне. Нелегкая жизнь Фета не так уж отделена от его поэзии, его гармоничность, светлое приятие мира выстраданы испытаниями, сомнениями, трудным опытом и размышлениями. Разве не сам Давид написал об этом когда-то в любимых мною стихах на смерть Ахматовой:

Ведь она за свое воплощенье
В снегиря царскосельского сада
Десять раз заплатила сполна.
Ведь за это пройти было надо
Все ступени рая и ада,
Чтоб себя превратить в певуна...

А впрочем, превратилась ли Ахматова в певуна? – тут же возникло новое сомнение. Скорбящей матерью, плакальщицей за всех – да, но садовым певуном?..

Я все чаще размышлял в ту пору о том, что есть солнечное приятие мира, прошедшее через сомнения, страдания, выдержавшее испытания абсурдом и жестокостью, – и есть желание ничего об этом трагизме не знать, просто отвернуться от него. Как-то я прочел слова немецкого философа К. Ясперса о Гете. Он видел ограниченность великого поэта в его безоговорочном приятии мира, в стремлении как угодно сохранить равновесие с самим собой. «Нам ведомы ситуации, – писал Ясперс, – в которых у нас уже не было желания читать Гете, в которых мы обращались к Шекспиру, к Библии, к Эсхилу, если вообще еще были в состоянии читать... Существуют границы человека, о которых Гете знает, но перед которыми отступает... Было бы неверно сказать, что Гете не чувствовал трагическое. Напротив. Но он ощущал опасность гибели, когда решался слишком близко подойти к этой границе. Он знает о пропасти, но сам не хочет крушения, хочет жизнеутверждения, хочет космоса».

Поздней я процитирую эти слова в своем эссе «Уроки счастья» – вовсе не думая о Самойлове. Ясперс, между прочим, продолжает свою мысль. По его словам, ограниченность Гете – оборотная сторона великого его достоинства: глубоко загнав внутрь свой «опыт трагического», он пришел на этой основе к «несравненно широкой человечности понимания», которая способна уравновесить, смягчить напряженно-тревожное и трагически-болезненное состояние душ и умов, характерное для Европы XX века.

«Без такой опоры и равновесия нам всем трудно было держаться», – напишу я в этом эссе.

Но все эти оговорки, все напряженные мысли как-то теряли значение, когда он, ненадолго приезжая в Москву, вдруг звонил, звал в гости или на вечер – и я оказывался вновь в атмосфере, близкой моему сердцу: звучали новые стихи, и не надо было думать об оценках, был голос Давида и хмель в голове, было присутствие поэзии, прекрасной поверх отдельных стихов или строк. Без него жизнь, оказывается, была совсем другая.

(Она и стала заметно другая теперь, без него.)

23.11.1987. Давид читал стихи из своей новой книги «Горсть». Он приехал продвигать двухтомник в Гослите, говорит, что его выдвинули на Государственную премию на будущий год, и есть шансы, что дадут. Это бы решило его финансовые проблемы и дало бы возможность года 2 – 3 спокойно работать над прозой, не отвлекаясь на переводы. Начал работать над пьесой по «Доктору Живаго». Говорит, что стихи из романа нравятся ему больше, чем ранние, кроме некоторых.

– Почему ты читаешь не все, некоторые стихи пропускаешь? – спросил я.

– Да они так себе.

– Зачем же ты пишешь стихи так себе? – сказал математик Ю.Л.

– Знаешь, мои так себе лучше, чем их хорошие. И потом, жить-то надо.

В какой-то момент я спросил:

– Скажи, тебе хорошо живется?

– Нет, – покачал он головой. – Сказать в двух словах причину: груз годов. Я ведь как всегда жил? Пил вино и баб ебал. Теперь все не так.

При этом он выглядел по-прежнему оживленным, остроумным. На вечерах замечательно отвечал на записки. Как-то его попросили прочитав «Сороковые, роковые», он отказался:

– Когда я читаю «Сороковые, роковые», мне кажется, что не я их написал. Как будто мне их в школе прочитали.

(В другой раз рассказал, как на одном из вечеров забыл свои стихи и какой-то мальчик из зала ему подсказывал – знал наизусть.)

На записку, есть ли у него увлечения помимо поэзии, ответил:

– А вот этого я вам не скажу. Когда был молодой, были, конечно, увлечения, а сейчас – что уж...

Потом на банкете за кулисами А. Городницкий поднял тост:

– У всех гениальных людей жены красивей их. Выпьем за Галину Ивановну.

– Это подкуп! – мгновенно откликнулся Давид. – Я красивей ее, но она гениальней.

Хорошо, не правда ли?..

Вообще его экспромты, юмористические стихи, письма, надписи на книгах (некоторые теперь собраны и изданы) – особый разговор. Мне кажется, немногие из профессионалов этого жанра могут с ним тут равняться. Я ценю эту область его творчества ничуть не меньше так называемых «серьезных» стихов – хоть и давались они ему как будто играючи, без усилия.

Я сделал вновь поэзию игрой
В моем кругу, –

сказал он сам. Его способность к рифмованным импровизациям вообще казалась мне, прозаику, непостижимой: лишь на секунду задумавшись, он сочинял стихотворную надпись на книге.

Приведу лишь один из таких экспромтов. Поздравляя меня в письме с очередным днем рождения, он сумел, по-моему, вирту-

озно зарифмовать мою не очень поддающуюся рифме фамилию,
да еще вместе с именем:

Пусть иные хари тонут
Уходя во мрак.
И да будет Харитонов
Марк!

Письма приходили время от времени. Приведу еще два. Когда у меня, наконец, – в пятьдесят один год – вышла первая книга, все повести в которой были для меня так или иначе связаны с именем Самойлова: и «Прохор Меньшутин», и «Этюд о масках», и «Два Ивана», и посвященный Самойлову «День в феврале», Давид откликнулся на нее письмом:

«10.03.1989.

Дорогой Марк!

Твою книжку я воспринял, как личную радость. Листал ее и убедился, что все хорошо помню.

Ты молодец. Не делал уступок. Выстоял. Ждал. Писателю нужно, кроме таланта, огромное терпение.

Ты свое время не упустил. Я ведь тоже поздно начал печататься. Первая книжка вышла, когда мне было уже тридцать восемь. Прозаики соответственно могут начинать и позже. Уверен, что книга твоя будет замечена лучшим читателем и высоко оценена.

Сейчас почти все пишут плохо. Ты один из немногих, кто пишет хорошо. Ты мастер.

Еще раз поздравляю тебя и Галю».

Ну как было не любить такого человека!

Вообще же это письмо оказалось одним из самых грустных – грусть была навеяна и собственным состоянием, и состоянием времени. Я процитирую его дальше:

«У меня особых новостей нет. Осенью написал две небольшие поэмы, которые пойдут в «Октябре» и в «Неве». Несколько новых

стихов отдал в «Знамя» и в «Даугаву». Что-то пишется. «Огоньковский» цикл ты, наверное, видел.

Сейчас сижу за огромным переводом. Болят глаза. С этим делом надо кончать.

Несмотря на тихую жизнь, не покидает чувство тревоги. События развиваются быстро и непредсказуемо. Но это ты и сам знаешь. Сейчас, как никогда, работает фактор времени. Если произойдет неожиданный (или возможный) слом, все пойдет прахом. И может настать эпоха жуткая. И все же что-то уже необратимо. К сожалению, в России все понимается после, потом. Россия кается и сожалеет. Но все это задним умом. Опять-таки надо ждать.

Семейство в порядке.

В апреле собираюсь в Дубулты. А в мае в Москву. Позвоню тебе, т. к. надеюсь побыть в Москве «тихо», без выступлений и суматошных дел. Повидаемся. Поговорим.

Посылаю тебе маленькую «Беатриче». Возможно, что почти все ты читал. Но в книжке это смотрится иначе.

Жду двухтомника и новой книги «Горсть».

Привет Гале. Привет от Гали.

Обнимаю тебя.

Твой Д.

10.03.89».

На этот раз он против обыкновения поставил дату.

Последнее письмо от него датировано 30 ноября 1989 г., но получил я его уже в декабре:

«Дорогой Марк!..

Веселого мало... Народное мнение, мне кажется, в главном сползает вправо, Процесс естественный при топтании на месте, непоследовательности властей и законодателей.

Прогнозы печальные. Оттого хочется жить сегодняшним днем, делать свое дело.

Стихи, как обычно, приходят не каждый день. Двухтомник дал мне возможность не заниматься текучкой. Надеюсь, наконец, за-

сестра за последовательное писание воспоминательной прозы, есть довольно много кусков. Их надо дописать, связать, свести воедино...»

Без малого через два месяца его не стало.

В его смерти есть что-то хрестоматийно-классическое – он умер на поэтическом вечере памяти Пастернака в Таллине. Это была смерть поэта – легкая смерть, какой, говорят, дано умирать праведникам. Передавали его последние слова, когда он ненадолго очнулся: «Ничего, ребята, все в порядке».

Его смерть навалилась на нас в ряду других, внезапных, одна за другой: смерть еще одного нашего друга Натана Эйдельмана, смерть А. Д. Сахарова. Что-то вдруг сразу и резко ухудшилось в этом мире. И словно опустело вокруг.

Потом были похороны в крематории. Я стоял у гроба, смотрел на лицо Давида с заострившимся, как это бывает у покойников, сразу каким-то очень еврейским носом, и мне хотелось прочесть изумительные его стихи, точно заранее для этого дня написанные:

Хочу, чтобы мои сыны
и их друзья
несли мой гроб
в прекрасный праздник погребенья...

Но не решился – и крематорская обстановка не располагала. А стихи звучали как бы сами собой, внутри:

И все ж хочу,
чтоб музыка лилась,
ведь только дважды дух ликует:
когда еще не существует нас,
когда уже не существует...

Дальше начиналась уже его посмертная жизнь – в стихах и прозе, которые по сей день продолжают доходить до нас впервые, не читанные прежде, как доходит не сразу, спустя срок, свет погасшей звезды.

Февраль – март 1995

СОДЕРЖАНИЕ

МУЗЫКА НАД НАМИ 5

СПОСОБ СУЩЕСТВОВАНИЯ

Я ГОЛОС ВАШ

КОЛЛЕКЦИЯ 9

ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ 10

УЗНАВАНИЕ 11

ОБ ИСПОВЕДИ 12

К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ИНСТРУМЕНТА 15

РОДСТВО

О РОДСТВЕ 16

ОТСТУПЛЕНИЕ НА ТЕМЫ ЭТНОСА 22

В СТОРОНУ МАМЫ 25

ИЗ РАССКАЗОВ ПАПЫ 29

РОДИВШИЙСЯ В ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОМ

ГОРОСКОП 35

ДОМ 37

ПЕЙЗАЖИ МОЕГО ДЕТСТВА 40

ПОКОЛЕНИЕ 43

АНКЕТА МАРСЕЛЯ ПРУСТА

ШТРИХИ К АНКЕТЕ 48

МОЯ ПРОВИНЦИЯ 51

ОПЫТ СМЕРТИ 52

ПРИСТРАСТΙΑ 56

«ЛОШАДЬ В ОДНОКОННОЙ УПРЯЖКЕ» 60

ЛЮБИМЫЙ ЦВЕТ 64

ЗАВИСТЬ 65

АПОФЕОЗ 66

УРОКИ СЧАСТЬЯ 67

ДЕВИЗ 77

ТРУД ДУШИ

- О РАЗНООБРАЗИИ 78
- О САМООСУЩЕСТВЛЕНИИ 79
- СТРАХ 79
- САМООЩУЩЕНИЕ 80
- ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДУШИ 80
- О ПОСТЕПЕННОСТИ 80
- О СКУКЕ 81
- О ПУТЕШЕСТВИЯХ 84
- СОН ПРИ СВЕТЕ СОЛНЦА 85

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СВОБОДЫ

- ГОЛОС И ХОР 90
- О ТОЛПЕ 91
- О НЕРАВЕНСТВЕ 93
- ЛИЦА 96
- ОПРЕДЕЛЕНИЯ СВОБОДЫ 98

КЕНТАВР

- ИНЬ И ЯНЬ 102
- КЕНТАВР 102
- О ПРОСТОТЕ 104
- О ДИЛЕТАНТИЗМЕ 105

ОБ ИСКУССТВЕ КАК СПОСОБЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ

- ОБ ИСКУССТВЕ КАК СПОСОБЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ 107
- УСЛОВНЫЕ ИГРЫ 110
- ПРОФЕССИОНАЛЫ 111
- ПЛАКАЛЬЩИЦЫ 112
- КОГДА ЧИТАТЕЛЯ НЕ ТОШНИТ 113
- ХИМЕРЫ 114
- МОНОЛОГ НЕЗНАКОМЦА 117
- О СТРИПТИЗЕ 118
- ЛЕВ ТОЛСТОЙ, ИЛИ ДИАЛЕКТИКА ЛЖИ 120
- ПОЭЗИЯ ВЫШЕ НРАВСТВЕННОСТИ 122
- СПОРТ 122
- НА ТЕМЫ ТОМАСА МАННА 123
- ТВОРЧЕСТВО КАК СЛУЖЕНИЕ ЖИЗНИ 138

ДРУГАЯ ПАМЯТЬ

- ФОТОГРАФИИ МЕСТ, ГДЕ МЫ БЫВАЛИ 139
- ОРФЕЙ 140
- «ЗАПОЛНЕНИЕ ЧАШИ» 141
- КИТАЙСКОЕ ИЗРЕЧЕНИЕ 143

УСПЕХ 143
ВМЕСТИЛИЩЕ 147

МГНОВЕНИЯ ЧУДА
ИЛЛЮЗИОН 148
ЗАВОРОЖЕННОСТЬ 151
ПОДЛИННИК И КОПИЯ 152

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОГОВОРКА 154
О БЕЗНАЛИЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 154
О НЕПОСРЕДСТВЕННОМ ЧУВСТВЕ 155
НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПЛАГИАТА 157
ПОЭЗИЯ И ЛИТЕРАТУРА 158
АПОЛОГИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 160

ЗАМЕТКИ ЧИТАТЕЛЯ
МИР АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА 167
ФОЛКНЕР И МЫ 177
ЧИТАЯ ХАРМСА 182

МОЙ ВЕК
РЕВОЛЮЦИЯ И ТАНАТОС 186
МОЙ ВЕК 187
О ФАТАЛИЗМЕ 191
МЕЧТА О ЧИСТОЙ СОВЕСТИ 192
МЕЖДУ БЕЗНАДЕЖНОСТЬЮ И НАДЕЖДой 194

«ДУША МОЯ, СКУДЕЛЬНИЦА»
Я ИХ ВИДЕЛ 203
НЕМАЯ АКТРИСА 210
БОРИС ПЕТРОВИЧ ЧЕРНЫШЕВ 216
УЧАСТЬ 223
ЗАЛОЖНИК ВЕЧНОСТИ 288
ПОСЛЕДНИЙ РАЗГОВОР 326
ПАМЯТИ НАТАНА ЭЙДЕЛЬМАНА 329
ТРИ ЕВРЕЯ 332
ИСТОРИЯ ОДНОЙ ВЛЮБЛЕННОСТИ 341

И з д а т е л ь с т в о
НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

В 1998 г. вышли:

Серия «**Научная библиотека**»

А. Строев

«ТЕ, КТО ПОПРАВЛЯЕТ ФОРТУНУ». Авантюристы Просвещения.

Книга посвящена знаменитым литераторам, побывавшим в XVIII в. в России: Казанове, Калиостро, д'Эону, Бернардену де Сен Пьеру, Чуди, Фужеру де Монброну, братьям Занновичам и др. Поскольку искатели приключений сознательно превращают свою жизнь в произведение искусства, их биографии рассматриваются как единый текст и сопоставляются с повествовательными моделями эпохи. Путешествуя в социальном, литературном и географическом пространстве, авантюрист соблазняет общество и преобразует мир, предлагая планы утопических государств.

Серия «**Россия в мемуарах**»

М. А. Дмитриев

ГЛАВЫ ИЗ ВОСПОМИНИЙ МОЕЙ ЖИЗНИ

Впервые публикуемая книга не уступает по своим литературным и познавательным достоинствам лучшим образцам русской мемуарной прозы. Пытливый и цепкий взор автора запечатлевает усадьбу сибирского помещика и московский благородный пансион при университете, а затем и сам университет 1810-х гг., московский театр 1820-х гг., суд и уголовные процессы того времени, литературную жизнь 1820–1840-х гг.

Серия «**Филологическое наследие**»

М. К. Азадовский и Ю. Г. Оксман

ПЕРЕПИСКА

В книге представлен сохранившийся корпус переписки двух выдающихся ученых-филологов, историков русской литературы и общественной мысли – Марка Константиновича Азадовского (1888–1954) и Юлиана Григорьевича Оксмана (1895–1970). Письма охватывают 1944–1954 гг. (от возвращения Оксмана с Колымы до смерти Азадовского), драматическое десятилетие советской истории, когда диктат сталинского режима более всего был направлен на идеологию и культуру (ждановские постановления по литературе и искусству, борьба с «низкопоклонством и космополитизмом»). Научная и литературная тематика тесно сплетена в письмах с обсуждением общественных проблем, трагических поворотов в судьбах русской интеллигенции. Письма снабжены обширным научным комментарием, являющимся уникальным путеводителем по истории отечественной науки послевоенных лет. Издание адресовано филологам, историкам, политологам, специалистам по истории науки и общественной мысли.

Марк Сергеевич Харитонов

СПОСОБ СУЩЕСТВОВАНИЯ

Редактор *Е. Шкловский*

Художник *Е. Поликашин*

Корректор *Е. Чеплакова*

Компьютерная верстка *Л. Ланцовой*

Изготовление цветоделенных фотоформ
ЗАО ЭДАС Пак

Адрес редакции:

129626, Москва, И-626, а/я 55
тел. (095) 976-47-88 факс (095) 977-08-28

ЛР № 061083 от 6.05.1997

Формат 60x90 1/16. Бумага офсетная № 1.

Офсетная печать. Усл. печ. л. 26.

Зак. № 4431.

Отпечатано с оригинал-макета

в ППО «Известия»

103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

ISBN 5-86793-038-6



9 785867 930387